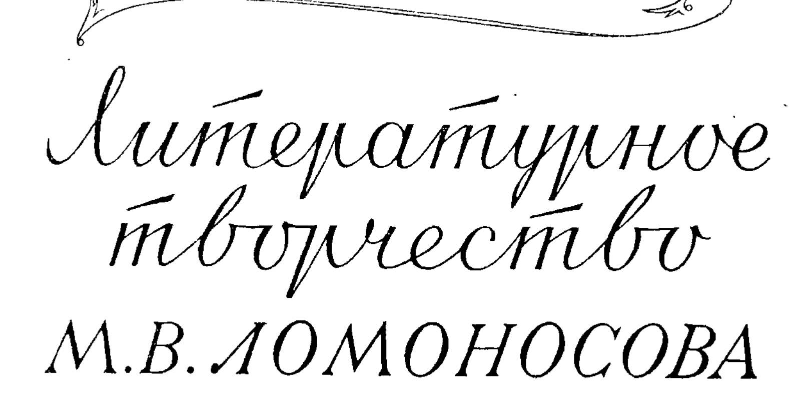
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

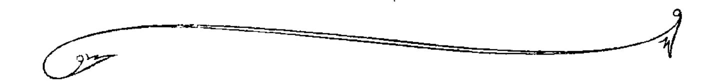


Глубокоуважаемому
Коллеге
д-ру Г. Грасхофу
с самыми дру-
жескими
чувствами

от Тыковой
[illegible]
1. VI. 62

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)





ИССЛЕДОВАНИЯ
и МАТЕРИАЛЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД
1 9 6 2

Под редакцией

членa-корреспондента АН СССР *П. Н. БЕРКОВА*

и кандидата филологических наук *И. З. СЕРМАНА*

ОТ РЕДАКЦИИ

В связи с 250-летием со дня рождения М. В. Ломоносова Группа XVIII века Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР сочла необходимым подготовить специальный сборник исследований и материалов, посвященный литературно-художественной деятельности родоначальника новой русской литературы.

Выпуск такого сборника крайне необходим, так как за последние два десятилетия изучение поэтического наследия Ломоносова велось без достаточной энергии и последовательности, тогда как исследование многообразной научной и общественной деятельности Ломоносова шло с очень большим размахом и внесло много нового в наше представление о его месте в развитии мировой науки.

Подготавливая данный сборник, редакция сборника и привлеченные ею участники стремились поставить наиболее существенные вопросы литературно-творческой деятельности Ломоносова, частью недостаточно разработанные в нашей науке, а частью и вовсе еще в ней не ставившиеся.

В исследованиях и материалах, включенных в данный сборник, освещается широкий круг вопросов, связанных с отношением Ломоносова к художественному наследию античности, к новым литературам Запада и Востока, к современной ему литературе Западной Европы (статьи П. Н. Беркова, А. И. Егунова, А. А. Морозова, М. М Дыхне). Значительная часть исследований нашего сборника по-новому, на широком историческом и историко-культурном фоне изучает литературно-критические взгляды и эстетические позиции Ломоносова, его поэтику и стиль, его роль в создании новой русской поэзии (статьи покойных Г. А. Гуковского и Л. Б. Модзалевского, а также И. З. Сермана и М. Я. Мельц). Новое освещение в сборнике получает особая проблема, ныне для нас очень актуальная, — посмертная судьба литературного наследия Ломоносова на родине и за рубежом (статьи Л. И. Кулаковой, Т. А. Быковой, Н. Д. Кочетковой, П. Р. Заборова). Редакция считает целесообразным познакомить своих читателей с переводом одного из лучших лирических стихотворений Ломоносова на немецкий язык, выполненным талантливой поэтессой Аннемари Рау, и с юбилейным стихотворением Я. М. Боровского на латинском языке (с русским стихотворным переводом).

Публикуя статью Л. Б. Модзалевского, редакция не считает предлагаемое в ней решение окончательным, так же как не может согласиться и с мнением Штамбока («Русская литература», 1961, № 2). В следующем выпуске сборника «XVIII век» мы предполагаем изложить нашу точку зрения и опубликовать статью Д. Д. Шамрая, занимающего ту же позицию, что и Л. Б. Модзалевский и А. Штамбок.

Группа XVIII века надеется, что выпуск настоящего сборника поможет не только разработке наиболее важных проблем литературного наследия Ломоносова, но будет иметь значение и для решения общих вопросов идейного и литературного развития России в XVIII столетии.

П. Н. БЕРКОВ

«ПИСЬМО К г. В...» М. В. ЛОМОНОСОВА

Напечатанное анонимно в январской книге «Ежемесячных сочинений, к пользе и увеселению служащих» за 1756 г., стр. 70—71, «Письмо к г. В...» не привлекало до сих пор внимания историков русской литературы. Ни в специальных исследованиях об этом журнале, ни в библиографических трудах, ни в работах, посвященных истории русской журналистики XVIII в. в целом, ни, наконец, в «Протоколах заседаний Конференции Академии наук с 1725 по 1803 года, т. II. 1744—1770» (СПб., 1899), где изредка упоминаются факты, относящиеся к изданию «Ежемесячных сочинений», мне не встретились указания на автора «Письма к г. В...» или хотя бы какие-нибудь догадки о нем. Между тем оно по своей тематике и художественной зрелости резко выделяется среди прочих стихотворений, печатавшихся в академическом журнале, не исключая из их числа и произведений А. П. Сумарокова, наиболее активного сотрудника «Ежемесячных сочинений» по отделу поэзии.

Письмо к г. В...

Блаженство наших дней, покой и мир любезный
Принудили меня совет вам дать полезный,
Чтоб время провождать в приятнейших трудах
И славу приобресть во всех земных странах.
К тому влечет тебя и склонность и природа:
Лишь парусы направь, способна есть погода,
Чтоб плыть тебе наук в пространный океан.
Какой среди его увидишь дом создан!
Какую в нем найдешь веселость и забавы,
Что могут средством быть почтения и славы!
Такие там себе богатства соберешь,
Что и чрез целый век твой их не проживешь.
Хотя бы превзошел ты тем Мафусаила,
Доброта та ж богатств и та же будет сила;
Не может у тебя похитить хитрый тать,
Не может ни вода, ни огнь, ни меч отнять.

О коль вы счастливы, блаженны, треблаженны,
Что драгоценным сим сокровищем снабденны!
Лобзаю с ревностью остатки ваших дел!
О естьли б мало вам подобия имел,
Подумал бы, что я сравню верьх гор с долиной
И что все учиню рукой моей единой,
Что ветры заключу, как Эоль, в темный ров,
Нептуну наложу казнь тягостных оков.
Почти приятель их труды своим читаньем
И истинну внемли с глубоким прилежаньем.
Подобно как пчела сбирает мед с цветов,
Так сладость мудрости сбери из их трудов
И облегчись принять приятнейшее бремя.
То требует твой род, то требует и время;
В такие мы живем златые времена,
Где не тревожит нас кровавая война,
Не слышим громких труб, к сражению зовущих,
Не зрим летящих бомб, сердца и ум мятущих,
Не устрашает нас оружный ярый треск,
Ниже сверкающих мечей грозящий блеск;
Везде знак радости и сладкого покою,
О коль блаженны мы Владычицей такою,
Что управляет толь премудро свой народ,
Где ни малейших нет мятежей и погод.
Щастливых царств пример есть наше государство.
Она примером глав, помазанных на царство.
Россия! Похвались монархиней своей,
Что Елисейских ты блаженнее полей.

Настойчивое прославление «блаженства наших дней», «покоя и любезного мира», призывы «плыть наук в пространный океан», напоминания о том, что приобретенных знаний «не может ... похитить хитрый тать, Не может ни вода, ни огнь, ни меч отнять», программная заключительная часть стихотворения, ставящая своею целью упрочить миролюбивую политику Елизаветы Петровны, — все это наводит на мысль о том, что обращение анонимного автора к какому-то неизвестному нам пока адресату является лишь формой пропаганды определенного круга идей, связанного обычно в нашем представлении с общественной и философской позицией Ломоносова. Сразу же бросается в глаза явственная сюжетная и идеологическая близость «Письма к г. В...» к оде 1747 г. («Царей и царств земных отрада») и другим недалеко от нее отстоящим по времени произведениям великого русского поэта. Однако это не простое ученическое или эпигонское повторение уже раньше и лучше сказанного, а новое,

красноречивое, убедительное развитие идей, важных и крайне актуальных накануне Семилетней войны (1756—1763).

Следует вспомнить, что как раз в то время, когда писалось и печаталось «Письмо к г. В...», т. е. в конце 1755—начале 1756 г., европейское, и в том числе и русское, общественное мнение было сильно встревожено дипломатическими шагами, предпринятыми крупнейшими европейскими правительствами для подготовки назревавшей войны. Пруссия, давно уже не имевшая дипломатических отношений с Россией, разорвала свой союз с Францией и 16 января 1756 г. заключила союз со своим прежним врагом, Англией. Это заставило колебавшуюся до того Францию припять предложение Австрии об оборонительном союзе, к которому в самом конце 1756 г. примкнула и Россия.[1]

Хотя все эти события произошли уже после появления в «Ежемесячных сочинениях» «Письма к г. В...», однако и в 1755 г. были у передовых русских людей сильные опасения того, что может прерваться мирный период, наступивший в стране после заключения Абоского мира со Швецией (1743) и едва не нарушенный предполагавшимся вступлением России в войну за Австрийское наследство. Как известно, ломоносовская ода 1747 г. была поэтическим документом, отражавшим антивоенную позицию патриотически настроенного передового русского общества как раз в самый ответственный момент войны за Австрийское наследство.

Совершенно аналогичную роль, по-видимому, должно было играть и «Письмо к г. В...».

Вопрос об авторе произведения, столь важного по своему политическому характеру и общественному назначению и столь непохожего на другие стихи в академическом журнале, не может быть безразличен для истории русской литературы.

Однако идеологическое и тематическое сходство данного «Письма» с одой 1747 г. недостаточно, чтобы признать анонимное стихотворение произведением Ломоносова. Ведь и какой-нибудь ученик его — Н. Поповский, И. Барков, А. Дубровский — или какое-либо неизвестное нам лицо, подражая одам и надписям Ломоносова, могло написать интересующее нас «Письмо».

Правда, блестящая фактура стиха, свободный, уверенный, в полном смысле слова мастерской язык данного произведения,

---

[1] Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 1956, гл. 4, «Внешняя политика. Россия в Семилетней войне (1756—1763)», стр. 321—322, 324—328; С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. V. Изд. «Общественная польза», стлб. 885—914; С. В. Ешевский. Очерк царствования Елизаветы Петровны. В кн.: Сочинения по русской истории. М., 1900, стр. 88—98; Автобиографическая записка графа Александра Романовича Воронцова. В кн.: Архив кн. Воронцова, кн. V. М., 1872, стр. 21—31.

совершенное отсутствие в нем этимологических и синтаксических архаизмов, без которых не обходилась тогда почти ни одна стихотворная публикация в «Ежемесячных сочинениях», также наводят на мысль об авторстве Ломоносова. Но и этого мало. Данная гипотеза уже давно приходила мне в голову, тем не менее я не считал приведенные выше соображения вполне убедительными доказательствами для того, чтобы приписать «Письмо к г. В...» Ломоносову.

Однако существуют материалы, позволяющие с большей степенью уверенности признать возможным авторство Ломоносова.

В статье Г. А. Гуковского «Русская литература в немецком журнале XVIII века» приведены сведения о помещенном в «Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit» («Новости из области изящной словесности») Готшеда отчете о январской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1756 г.[2] По ряду убедительных соображений Г. А. Гуковский пришел к заключению, что автором этого отчета был академик Я. Штелин. Предположение покойного исследователя подтверждается и тем, что рецензированную книжку «Ежемесячных сочинений» за январь 1756 г. послал Готшеду именно Штелин,[3] состоявший в переписке с «отцом немецкого классицизма».

В журнале Готшеда о «Письме к г. В...» сказано следующее: «Poetisches Sendschreiben an den Grafen W. über das Glück geruhiger Zeiten, und die erwünschte Regierung Ihrer russisch-kaiserlichen Majestät vom Rath L.» («Стихотворное послание к графу В. о счастии мирных лет и о всевожделенном царствовании е. и. в. — советника Л.»).[4]

Приведя данный отрывок, Г. А. Гуковский не нашел нужным расшифровать указание Штелина, что автором «Письма к г. В...» является «советник Л.», т. е. Ломоносов. Можно предположить, что не сделал этого исследователь потому, что он полностью принял на веру возражение издателя «Ежемесячных сочинений» Г.-Ф. Миллера,[5] присланное Готшеду в ответ на рецензию Ште-

---

[2] «XVIII век», сб. 3, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 396—397. В журнале Готшеда рецензия о «Ежемесячных сочинениях» помещена в № V (стр. 392—394).

[3] Karl Stählin. Aus den Papieren Jacob von Stählins. Königsberg, Leipzig und Berlin, 1926, стр. 386. В статье Г. А. Гуковского в ссылке неточно указана стр. 387.

[4] «Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit», 1756, № V, стр. 393.

[5] Там же, № XII, стр. 949—950. Г. А. Гуковский пишет: «Авторство Миллера... не вызывает сомнений: в конце статьи он прямо говорит о себе как о редакторе „Ежемесячных сочинений" от первого лица» («XVIII век», сб. 3, стр. 398). В фонде Г.-Ф. Миллера в Архиве АН СССР (ф. 21, оп. 2) хранится отпуск данного письма Миллера к Готшеду, отличающийся от текста, напечатанного в журнале, только тем, что весь он написан от первого лица.

лина и помещенное с небольшими переделками редактора в декабрьской книжке «Новостей из области изящной словесности» за 1756 г. под названием «Nachricht aus Petersburg» («Сообщение из Петербурга»). Вот что сообщал о «Письме к г. В...» Миллер: «I : — Стихотворное послание к графу В. советника Л. Оно и не к графу и не советника Л. Автор его — Адриан Дубровский, учитель в здешней гимназии. Послание адресовано г. В. Однако г. обозначает здесь не граф, а господин; В же означает Воронцова. Правда, вице-канцлер М. И. Воронцов, графское достоинство было даровано ему в 1744 г., теперь пожалован в графы, но его братья — нет, а у них есть сыновья, к одному из которых и обращено это послание».[6]

Для ясности дальнейшего изложения необходимо указать, что и в некоторых других местах сообщения Штелина о первой книжке «Ежемесячных сочинений» за 1756 г. Миллер обнаружил ряд мелких неточностей.[7] Это обстоятельство привело Г. А. Гуковского к выводу, что «поправки, внесенные здесь (т. е. в № XII журнала Готшеда, — *П. Б.*) к рецензии Штелина, вполне авторитетны»,[8] и поэтому на сведениях Штелина Г. А. Гуковский не считал нужным останавливаться. Это было целесообразно в отношении тех уточнений Миллера, где его правота несомненна (см. прим. 7). Однако признание сообщения Штелина об авторе «Письма к г. В...» ошибочным представляется мне слишком поспешным.

Перед нами две версии: Штелин утверждает, что автором является «советник Л.», т. е. Ломоносов, так как других «советников Л.» в то время в академических и вообще в литературных кругах не было; Миллер называет автором Адриана Дубровского. Казалось бы, положения эти взаимоисключают друг друга. На самом деле это вовсе не так: они вполне примиримы.

Штелин, как известно, был одним из немногих академиков-немцев, находившихся в дружеских отношениях с Ломоносовым (кроме него, Ломоносов дружил еще с Г.-В. Рихманом); можно даже сказать больше: Штелин был в самых дружеских отноше-

---

[6] «Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit», 1756, № XII, стр. 949—950; «XVIII век», сб. 3, стр. 398.

[7] Например, у Штелина вместо полностью указанной в «Ежемесячных сочинениях» фамилии Александра Демидова как автора «Речи, говоренной в Геттингенском университете», приведена почему-то одна буква «Д»; притчи Сумарокова названы «эзоповские притчи полковника Сумарокова» (Миллер отметил, что басни не Эзопа, а бригадира Сумарокова, очевидно, не поняв, что Штелин характеризовал жанр басен, а не указывал источник); «Показания некоторых заблуждений» Штелин приписал профессору С. (вероятно, академику Струбе де Пирмонт, тогда как, по свидетельству Миллера, это перевод статьи Д. Унцера из «Гамбургского магазина». Подробнее см. в цитированной статье Г. А. Гуковского, стр. 397—398).

[8] «XVIII век», сб. 3, стр. 398.

ниях с Ломоносовым, оставил о нем воспоминания и известен был среди своих современников как сторонник Ломоносова. До сих пор, насколько мне известно, ни одно из биографических показаний Штелина о Ломоносове не опровергнуто и даже не ставилось под сомнение. Это дает нам основание верить и данному его сообщению: можно не сомневаться, что авторство Ломоносова было известно Штелину непосредственно от самого поэта.

Но прав (по-своему) был и Миллер. Дело в том, что Ломоносов, ожидавший, что редактирование возникших по его инициативе «Ежемесячных сочинений» будет поручено ему, занял отрицательную позицию по отношению к новому академическому журналу, после того как во главе последнего был поставлен постоянный антагонист поэта, Г.-Ф. Миллер. Официально участия в «Ежемесячных сочинениях», в особенности на первых порах их существования, Ломоносов не принимал; за его подписью в академическом органе были напечатаны только два стихотворения в самом конце существования «Ежемесячных сочинений»: «Его сиятельству графу Г. Г. Орлову на благополучное возвращение ее величества из Лифляндии поздравительное письмо» и «На Сарское село августа 24 дня 1764 г.».[9]

Однако на самом деле Ломоносов в «Ежемесячных сочинениях» печатался анонимно, передавая свои произведения для сохранения анонимности не непосредственно редактору, а через других лиц. Так обстояло дело с появившимся в первой книжке «Ежемесячных сочинений» стихотворением «Правда ненависть раждает»;[10] так было с рассуждением «О качествах стихотворца»;[11] так, наконец, поступил он и с «Письмом к г. В...», передав его в журнал через своего ученика Адриана Дубровского, которого Миллер, вполне естественно, счел автором полученного произведения.

За подписью А. Дубровского в академическом журнале было напечатано десять произведений: 1) басня «Смерть и Дровосек»;[12] 2) стихотворение «На ослепление страстями»;[13] 3) басня

[9] «Ежемесячные сочинения», 1764, сентябрь, стр. 235—238, 239.

[10] Л. Б. Модзалевский. Литературная полемика Ломоносова и Тредиаковского в «Ежемесячных сочинениях» 1755 года. «XVIII век», сб. 4, Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 45—65. Редакция т. 8 академического «Полного собрания сочинений» Ломоносова поместила стихотворение «Правда ненависть раждает» в раздел «Стихотворений, приписываемых Ломоносову» (стр. 825), сопроводив его растянутым и неубедительным комментарием (стр. 1197—1202).

[11] Подробнее об этом см. в кн.: П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. Л., 1936, стр. 156—178.

[12] «Ежемесячные сочинения», 1755, июль, стр. 95.

[13] «Ежемесячные сочинения», 1755, август, стр. 127—140. Ср.: А. И. Дуденкова. Поэма А. Дубровского «На ослепление страстями». «XVIII век», сб. 3, стр. 463—470.

«Ворон, хотящий Орлу последовать»;[14] 4) басня «Лев и Комар»;[15] 5) три эпитафии на скупого;[16] 6) три Муретовы эпиграммы с переводами (I. «У древних баснь сия за правду утвердилась»; II «Двоякий пламень зжет внутрь стихотворцев кровь»; III. «Как солнце при дожже свой лучь от нас скрывает»);[17] 7) «О славе. Разговор с китайцем. Переводил из Волтера А. Д.»;[18] 8) «Загадки» (I. «Не создал тот меня, кто создал все от века»; II. «Ни рта, ни языка, ни горла не имею»; III. «Есть братьев у меня великое число»);[19] 9) «Овидиева елегия» («Обратно потекут к своим вершинам реки»);[20] 10) «Овеновы епиграммы» («Пророки, стихотворцы»; «Смерть»; «Муж с женою»; «Человек»; «На плешивого»; «Муж»; «Прелюбодей»; «Задача о рогах»).[21]

Из этого перечня видно, что А. Дубровский в «Ежемесячных сочинениях» печатал за своей подписью басни, сатирические эпитафии, загадки, переводы в прозе и стихах (эпиграммы), т. е., с тогдашней точки зрения (и не только с тогдашней), произведения мелких литературных жанров. Лишь одно значительное по объему и серьезное по содержанию сочинение было помещено им в журнале — дидактическое стихотворение или «поэма», как ее называет А. И. Дуденкова, «На ослепление страстями». Поэтому совершенно непонятно, почему вдруг — если он действительно был автором, а не подставным лицом — А. Дубровскому понадобилось при публикации «Письма к г. В. . .» соблюсти анонимность.

---

[14] Там же, октябрь, стр. 382.
[15] Там же, стр. 383.
[16] Там же, декабрь, стр. 566.
[17] Там же, 1756, июль, стр. 31—32.
[18] Там же, сентябрь, стр. 303—307.
[19] Там же, октябрь, стр. 379—380.
[20] Там же, стр. 380—381.
[21] Там же, декабрь, стр. 585—587. А. Н. Неустроев в своих известных библиографических трудах по истории русской журналистики XVIII в. («Историческое розыскание», стр. 55; «Указатель», стр. 201) считает, что предшествующие «Овеновым епиграммам» анонимные «Загадки» («На месте я одном», «Что лучшего ни есть»; см.: «Ежемесячные сочинения», 1756, декабрь, стр. 584—585) также принадлежат А. Дубровскому. Это вполне возможно: по языку и стилю эти «Загадки» близки к «Загадкам» Дубровского, помещенным в октябрьской книжке журнала. Однако в «Ежемесячных сочинениях» они помещены под номером VII, а «Овеновы епиграммы» — под номером VIII, и только последние подписаны инициалами «А. Д.». Обычно же под разными номерами в журналах XVIII в., и именно начиная с «Ежемесячных сочинений», печатались произведения разных авторов. Не исключена, впрочем, возможность, что как раз здесь имела место ошибка редактора, разделившего цифрой VIII произведения А. Дубровского.

Могут сказать: «Почему ему понадобилась анонимность, мы сейчас, за недостатком сведений, не знаем; однако свидетельство Миллера о том, что Дубровский — автор „Письма“, у нас есть. И этого совершенно достаточно».

В ответ на это возможное возражение следует указать, что, кроме «поэмы» «На ослеплении страстями», вопрос об авторстве которой тоже не так прост, как может показаться на первый взгляд (об этом см. ниже), все стихотворные произведения, напечатанные в «Ежемесячных сочинениях» за подписью А. Дубровского, поражают своей литературной слабостью: в баснях «Ворон, хотящий Орлу последовать» и «Лев и Комар» не соблюдено чередование стихов с мужской и женской рифмами; то же встречается и в третьей «Загадке» («Есть братьев у меня великое число»); часто встречаются у него стихи, в которых не совпадают логическое и метрическое ударения, например в переводе «Овидиевой елегии»:

Какой тебе был труд хотя умильным взором
Мою скорбь облегчить иль сладким разговором —

или в басне «Ворон, хотящий Орлу последовать»:

О как воспитан ты среди зеленых трав!
Какой кус для меня!..

Несовпадения логического и метрического ударений встречаются изредка и у других поэтов того времени, например у Ломоносова, Н. Поповского:

[Оно ‹стекло› вход жидких тел от скважин отвращает.
(«Письмо о пользе стекла», стих 69).

[...Зев волчия алчбы, Тигр ярый — похищенье...
(«Надпись к иллуминации ноября 25 дня 1753 г.», стих 18).

[...Петр шествовал во град, Елисавета — в мир...
(«Надпись к иллуминации декабря 18 дня 1753 г.», стих 14).

Однако подобные несовпадения у Ломоносова никогда не имеют такого какофонического характера, как у А. Дубровского. Негладких, вымученных стихов в произведениях Дубровского, пожалуй, больше, чем гладких и изящных. Для образца приведу начало басни «Ворон, хотящий Орлу последовать», кстати сказать, по-видимому, направленной против Сумарокова как соперника Ломоносова:

Как Ворон на лету голодный усмотрел,
Ягненка что унес у пастуха Орел,
Такое ж учинить он дело не сумнился,
Хоть меньше сил имел, но жадностью сравнился.
...Казался равен быть Орлу и в самом деле,
Но сколь пред сыром был баран ему тяжеле.

Если сопоставить эти и им подобные тяжелые, ученические, топорные вирши Дубровского с плавными, «текущими», как говорили в XVIII в., стихами «Письма к г. В...», сразу же станет очевидной разница в степени поэтической одаренности и художественного мастерства двух авторов. Только совершая насилие над эстетическим вкусом, можно признать оба стихотворения произведениями одного поэта.

Выше я отметил, что «поэма» «На ослепление страстями» своей обработанностью отличается от прочих стихотворных произведений А. Дубровского. Это как будто говорит в пользу предположения о принадлежности ему «Письма к г. В...» и ослабляет значение отмеченных мною технических недочетов в других его стихотворениях. Соображения эти имели бы силу, если бы у меня не было некоторых сомнений, — не скажу: в авторстве Дубровского, но в том, что «поэма» напечатана в том виде, в каком она вышла из-под пера ее автора. Основания для сомнения таковы: в то время как басни «Дровосек и Смерть», «Ворон, хотящий Орлу последовать» и «Лев и Комар» представлены были в «Ежемесячные сочинения в автографах Дубровского, «поэма» «На ослепление страстями», рукопись которой сохранилась, писана неизвестной рукой и только имеет поправки Дубровского. Таким образом, обычного «неотразимого» аргумента большей части «атрибуторов» — автографа автора — мы здесь не имеем. Внушает полное недоверие зачеркнутое первоначальное заглавие «поэмы» — «Стихи на ослепление страстьми Андреяна Дубровского»; очень часто, даже чаще всего подобные зачеркнутые заглавия, содержащие фамилию якобы действительного автора, делались (и делаются) для того, чтобы устранить у издателей подозрения в принадлежности передаваемого им произведения другому лицу. Я не имею сейчас оснований приписывать Ломоносову «поэму» «На ослепление страстями», но полагаю, что она, по-видимому, была отредактирована учителем А. Дубровского.

Возвращаясь к «Письму к г. В...», замечу, что адресатом данного произведения был, по всей видимости, покровитель и друг А. Н. Радищева, Александр Романович Воронцов (1741—1805), ставший графом с 1760 г., когда его отцу и дяде Илариону было даровано графское достоинство австрийским императором Францем I. Совет Ломоносова продолжить образование за границей был принят Воронцовыми, но реализован не сразу. Возможно, что

причиной этого был, с одной стороны, юный возраст А. Р. Воронцова, а с другой — начавшаяся в конце 1756 г. Семилетняя война. Лишь в 1758 г. А. Р. Воронцов был отправлен отцом во Францию, в Страсбург, где он учился в военном училище, а затем, после краткого пребывания в Петербурге, жил в Париже и Мадриде.[22] Перед своим отъездом во Францию А. Р. Воронцов сотрудничал в «Ежемесячных сочинениях»: в февральской книжке за 1756 г. помещен его перевод «Рассуждение о приятностях сообщества» (стр. 153—179), в апрельской — перевод из Вольтера «Мемнон, желающий быть совершенно разумным» (стр. 330—338), в июльской — перевод «Разговор между Рассуждением и Воображением» (стр. 89—95), наконец, в августовской — «Содержание письма другому в ответ, может ли честь сравниться славою» (стр. 204—206) и «Мысли» (стр. 206—211). Кроме произведений, подписанных в «Ежемесячных сочинениях» полной фамилией или инициалами «А. В.», А. Р. Воронцову, по-видимому, принадлежит еще перевод вольтеровского «Микромегаса» (1756, январь, стр. 31—61).

Итак, «Письмо к г. В...», по моему мнению, является произведением Ломоносова, а не А. Дубровского и при этом одним из значительных в идейном и художественном отношениях. Однако пока не будут обнаружены дополнительные и — желательно — документальные доказательства, в будущих полных собраниях сочинений Ломоносова это произведение должно печатать в разделе «приписываемых стихотворений». Вопрос же о «поэме» «На ослеплении страстями» должен быть исследован особо.

---

[22] Архив кн. Воронцова, кн. V, стр. 3.

П. Н. БЕРКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛОМОНОСОВА

Изучение жизни и творчества Ломоносова насчитывает почти два века, литература о нем чрезвычайно велика, и тем не менее мы знаем его мало и плохо. Особенно плохо знаем мы его как поэта. Еще при жизни Ломоносова сложилась легенда о полной зависимости его от немецкой поэзии начала XVIII в., и эта ошибочная точка зрения, с незначительными изменениями, продолжает скрыто или явно существовать и сейчас. Правда, в последнее время делаются попытки рассматривать поэтическое творчество Ломоносова в исторически-органической связи с русской литературной традицией XVII—начала XVIII в., с одной стороны, и с латинской поэзией — античной и новоевропейской (включая сюда и русскую), с другой. Однако для всестороннего и глубокого уразумения литературной позиции Ломоносова этого еще далеко не достаточно: литературная осведомленность великого поэта, т. е. круг литератур и писателей, с которыми он был знаком и которые в той или иной форме привлекали его внимание, была, как выясняется сейчас, значительно шире, чем обычно принято думать, и вовсе не ограничивалась античностью, немецкой и французской поэзией XVII—начала XVIII в. и русским силлабическим стихотворством того же периода.

Расширение наших знаний о литературной осведомленности Ломоносова имеет большое историко-литературное и теоретическое значение: мы получаем более полное и точное представление о том, что он регулярно знакомился с тогдашними источниками литературной информации, следил за новыми трудами, которые оповещали современных ему читателей о произведениях малоизвестных и совсем неизвестных литератур, что его внимание привлекали переиздания сочинений классических авторов античных и европейских, что, следовательно, поэзия не в меньшей мере, чем наука, составляла предмет его постоянных и усердных занятий. Сейчас, когда Ломоносов-ученый, Ломоносов-физик и химик почти полностью заслонил Ломоносова-поэта, этот, хотя не новый, но очень своевременный вывод должен сыграть свою важную положительную роль.

Новые данные, кроме того, раскрывают нам Ломоносова-читателя в таких аспектах, которые если и не меняют в корне пред-

ставления о нем как о поэте, то значительно его дополняют. Тем самым они приближают нас к правильному пониманию проблемы литературного направления Ломоносова, а также помогают если не проследить до конца эволюцию его творчества, то во всяком случае констатировать рост его литературной осведомленности, помогают объяснить некоторые черты его поздней литературной манеры.

Оставаясь в заколдованном круге традиционных сведений о литературной образованности Ломоносова, мы оказываемся не в состоянии ответить на многие вопросы, выдвигаемые при изучении его творчества современными требованиями советской литературной науки. Нами не может быть решен один из существеннейших вопросов изучения Ломоносова-поэта, Ломоносова-философа: вопрос о характере его просветительства. Конечно, мы не сможем, даже при наличии новых фактов, сразу ответить на все эти вопросы и удовлетворить всем этим требованиям. На первых порах мы должны удовольствоваться тем, что в науку о Ломоносове вводится ряд неизвестных и ценных материалов и делается попытка осветить их значение для изучения его поэтического творчества. Надо надеяться, что дальнейшими совместными усилиями советских литературоведов проблемы эти будут решены полностью.

Сейчас же мы обратимся к этим новым материалам.

I

При изучении творчества любого писателя большое значение имеет установление круга его литературной образованности, его литературной осведомленности. Часто материалы, раскрывающие исследователю литературные интересы того или иного писателя, позволяют увидеть полемику там, где раньше ее не замечали, показывают приоритет данного автора в разработке какой-либо темы, о котором до того времени не предполагали, наводят на мысль о возможных источниках произведения, по традиции считающегося вполне оригинальным.

Однако общее понятие «литературной осведомленности» писателя следует рассматривать в известной дифференцированности; надо отличать то, что он в той или иной форме называет или упоминает в своем творчестве, от того, что в силу разных причин не нашло отражения в его художественных и иных произведениях, но что несомненно было ему знакомо, так как об этом свидетельствуют документальные данные.

Понимая всю условность предлагаемых ниже обозначений и сознавая, что у нас нет точных, абсолютных критериев для определения того, в какую группу следует иногда отнести отдельные

факты, я считаю возможным называть первую группу материалов «литературной начитанностью» писателя, вторую — его «литературными интересами».

Вопрос о «литературной образованности» Ломоносова специально не рассматривался. При характеристике его «литературной осведомленности» — в тех немногих случаях, когда исследователи мимоходом уделяют внимание этой проблеме — в первую очередь исходят из материалов, которые заключаются в его художественных и научных (притом не только филологических) произведениях, а затем из данных, сохранившихся в его письмах и служебных документах, в различных специальных отзывах о переводах, выполненных другими лицами, а также в попутных замечаниях и упоминаниях в разных черновых бумагах поэта.

Однако есть ряд источников, содержащих в высшей степени важные, существеннейшие сведения по интересующему нас вопросу, но, к сожалению, либо не перепечатанных в академических изданиях произведений Ломоносова, либо не опубликованных вовсе и поэтому не привлекавших к себе должного внимания. Известные давно, они не подвергались историко-литературному анализу, не ставились в связь с занимающей нас проблемой, никак вообще не осмыслялись и оставались в течение почти столетия «сырым», необработанным материалом.

Речь идет о нескольких библиографических списках, составленных Ломоносовым в разное время и содержащих то более подробные, то краткие заглавия книг и журналов. Для каких целей были сделаны им эти записи, какое отношение имеют они к литературным и научным занятиям Ломоносова — эти вопросы никто не ставил.[1]

Между тем эти библиографические перечни — вместе с отчетами Ломоносова о покупке книг в Марбурге, а также с материалами о книгах, которые он брал в Академической библиотеке, покупал в Академической книжной лавке и давал для изготовления переплетов в Академическую типографию, — представляют источник, исключительно богатый и важный.

Поэтому, прежде чем мы обратимся к непосредственной теме настоящей работы, нам необходимо предварительно заняться рассмотрением источников для нее.

Около ста лет назад, во время Ломоносовского юбилея 1865 г. и вскоре после него, разными авторами был опубликован ряд ма-

---

[1] Впрочем, следует указать, что некоторые из этих списков были использованы А. С. Будиловичем для приложения, озаглавленного «Круг научных средств, или каталог Ломоносовской библиотеки» и помещенного в книге «Ломоносов как писатель» (СПб., 1871, стр. 247—276). По такому же принципу построена работа покойного Г. М. Коровина «Библиотека Ломоносова» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1961).

териалов из фондов Архива Академии наук XVIII в. Среди этих материалов было несколько перечней книг, принадлежавших Ломоносову или по каким-то причинам библиографически описанных им. В хронологической последовательности это были:

1) «Реестр книгам приобретенным по сегодняшний день», датированный 15 октября 1738 г.; [2]

2) четыре недатированных перечня, из которых два были использованы А. С. Будиловичем для книги «Ломоносов как писатель», не будучи перепечатаны в форме документа,[3] и два опубликованы П. П. Пекарским в его «Истории императорской Академии наук в Петербурге»; [4]

3) три счета Академической книжной лавки и счет Академической типографии, представленные после смерти Ломоносова в Канцелярию Академии наук, за приобретенные книги и за изготовление переплетов.[5]

Вместе с известными уже упоминаниями «древних» (античных) и «новых» (европейских) писателей в произведениях Ломоносова эти библиографические записи дают нам возможность представить себе по-новому литературную осведомленность поэта и хотя бы приблизительно определить широту его литературных интересов.

Дошедшие до нас библиографические материалы фрагментарны, случайны, охватывают далеко не весь жизненный и творческий путь Ломоносова и поэтому во многом оставляют нас неудовлетворенными, но и то, что удается извлечь из этих книжных перечней, содержит много неожиданного, полно захватывающего интереса и открывает аспекты в толковании его поэтической позиции.

Наиболее важными для нас источниками являются четыре недатированных списка иностранных книг, писанные рукой Ломоносова и упомянутые выше (пункт 2). Два из них, как уже указано, до сих пор полностью не опубликованы.[6] Все четыре списка хранятся в Архиве Академии наук СССР и находятся на

---

[2] «Register Über die biß Dato angeschaffene Bücher»; см.: А. А. Куник. Сборник материалов для истории императорской Академии наук в XVIII веке, ч. 1. СПб., 1865, стр. 130—132.

[3] А. С. Будилович. Ломоносов как писатель. СПб., 1871, стр. 247—276 (ссылки на рукопись № 58).

[4] П. П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, стр. 950—953. В дальнейшем цитируются первый и второй «перечни Пекарского».

[5] П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 741—744; В. И. Ламанский. Ломоносов и Петербургская Академия наук. М., 1865, стр. 139—141, 144—146, 148—153.

[6] Они напечатаны в приложениях к книге Г. М. Коровина «Библиотека Ломоносова».

разных местах одного и того же тома переплетенных рукописей Ломоносова.

Как будет показано ниже, реальная хронология этих списков иная, чем та, которая получается, если отправляться от случайного местонахождения их в томе ломоносовских рукописей. Однако нам приходится пока считаться с этим фактом, и мы обозначаем каждый из интересующих нас перечней так: 1) первый архивный список (шифр: ф. 20, оп. 1, № 3, л. 279); 2) второй архивный список (шифр: ф. 20, оп. 1, № 3, лл. 297—301); 3) первый «перечень Пекарского» (третий архивный список) (шифр: ф. 20, оп. 1, № 3, лл. 344—347); 4) второй «перечень Пекарского» (четвертый архивный список) (шифр: ф. 20, оп. 1, № 3, лл. 348—349).

Первый архивный список состоит из тринадцати книжных названий, расположенных в алфавитном порядке. В отличие от следующего перечня, в котором описания сделаны в соответствии с принятыми в середине XVIII в. библиографическими правилами, в первом архивном списке приводится либо название книги («Bibliotheca poetarum Polonorum»), либо фамилия автора с названием произведения («Oweni epigrammata»), либо, наконец, только имя автора («Tacitus»). Никаких выходных данных (места и года издания) нет. Включенные в этот перечень книги имеют разную датировку, устанавливаемую по библиографическим источникам, — от XVI в. до 1760 или 1761 г.[7] Следовательно, он был составлен в начале 1760-х годов.

Второй архивный список начинается с записи № 15 («Memorie di varia eruditione della Societa Colombaria Fiorentina vol. I in 4. 2. Alph. Florentz ad insigne Apollinis»); это означает, что первый лист его утрачен. Здесь книги описаны более подробно, чем в первом архивном списке, но опять-таки без дат. По библиографическим пособиям устанавливается, что в этом списке нет ни одной книги, вышедшей позднее 1750 г. То обстоятельство, что первый архивный список состоит из тринадцати номеров, а второй начинается с пятнадцатого (который, при желании, можно признать «ошибочно пятнадцатым, а на самом деле четырнадцатым»), все же не позволяет считать их единым документом, случайно переплетенным в разных местах: и по бумаге, и по почерку, и по разной датировке входящих в них книг, и по разному принципу оформления (алфавитному в первом и бессистемному

---

[7] Упомянутая в списке под № 12 книга И. Э. Шуберта «Compendium theologiae dogmaticae» («Сокращенный курс догматического богословия») в немецких библиографиях XVIII—XIX в. указывается и под 1760, и под 1761 г. В Ленинграде ее нет. В Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина имеется издание 1760 г.

во втором) видно, что это совсем разные документы. Кончается он записью под № 72, и если отбросить четырнадцать не дошедших до нас записей, находившихся на утраченном листе, и прибавить одиннадцать повторяющихся, в нем оказывается 69 записей.

Если рассмотреть первый «перечень Пекарского» (третий архивный список) с учетом наблюдений, сделанных над первыми двумя, то следует признать, что он был составлен не ранее 1763 или 1764 г. — в нем упомянуто издание «Connaissance de temps. A(nno) 1759, 60, 61, 62, 63» (№ 69). Значит, первый вывод, который можно сделать, это то, что первый «перечень Пекарского» хронологически идет вслед за первым архивным списком. Вместе с тем здесь встречаются книги, изданные значительно раньше. До № 73 невозможно установить какую-либо последовательность в записях — нет ни систематической, ни хронологической, никакой другой. С № 73 по № 85 и с № 86 по № 110 идет — дважды — строгий арфавитный порядок (по первому слову заглавия). С № 111 и до № 128 опять нет никакой систематичности записей.

При сравнении первого «перечня Пекарского» со вторым «перечнем Пекарского» обнаруживается, что последний также построен в двойном алфавитном порядке (первые шесть номеров — один алфавит, и остальные тринадцать — другой) и что первые шесть номеров этого перечня являются повторением №№ 73, 74, 77, 78, 80 и 84 первого «перечня Пекарского», двенадцать повторяют №№ 86, 88, 90, 92—95, 101, 105, 106, 108, 109, и только десятый по счету в этом списке внесен в качестве нового, отсутствующего в первом «перечне Пекарского».

Датировать второй «перечень Пекарского» относительно легко: так как он повторяет (с пропусками) №№ 73—109 первого «перечня Пекарского», а № 69 в этом последнем учитывает журнал «Connaissance de temps» за 1763 г., значит, второй «перечень Пекарского» был составлен не ранее 1763 или 1764 г. Как будет видно из дальнейшего, этот логический вывод точно подтверждается документальными данными.

Таким образом, хронологическая последовательность четырех архивных библиографических списков такова: второй архивный список — начало 1750-х годов; первый архивный список — начало 1760-х годов; первый и второй «перечни Пекарского» — 1763—1764 гг.

При изучении всех этих четырех списков обращает на себя внимание, что первый из них (второй архивный список) оформлен в библиографическом отношении наиболее подробно; второй по времени составления (первый архивный список) и второй «перечень Пекарского» составлены наименее подробно, но в алфавитном порядке; первый «перечень Пекарского» занимает сред-

нее место: в отдельных случаях записи сделаны подробно, в других — кратко а в середине его есть часть записей, выдержанная в алфавитном порядке.

В наиболее подробном списке начала 1750-х годов записи сделаны так, как требовала библиографическая практика середины XVIII в.: сперва идет название произведения, затем указываются фамилия автора, место издания, фамилия издателя или типографа, формат и объем книги (редко — в листах, а чаще всего — в количестве «алфавитов», т. е. печатных тетрадей, имеющих внизу обозначения по буквам алфавита; «алфавит» — 23 тетради). Впрочем, не всегда эта последовательность элементов библиографического описания у Ломоносова сохраняется. Как будет видно из дальнейшего, причина подобных нарушений принятого порядка описания зависела в таких случаях не от пего, а от библиографических источников, которыми он пользовался.

В нескольких случаях вслед за описанием книги на том или ином иностранном языке во втором архивном списке и в первом «перечне Пекарского» находятся приписки на русском языке, имеющие характер критических аннотаций. Например: Reflexions et remarques sur la manière d'ecrire des lettres sur les regles particulieres du stile et sur la versification françoises tirées des meilleurs auteurs per Isac de Colom du Clos, Cöttingen in 8 bey Vandenhoeck весьма хороша и надобна»;[8] или: «Satyres de M. le Prince Cantemir avec l'histoire de sa vie traduites en François 1749 London bey Nourse В Гентингских № 59»; или: «Essai sur l'homme par M. Pope. Lausanne in gross 4°. Очень хоро‹ша› с аглинским подлинником и с виньетами» («перечень Пекарского», № 49).

Приведенные примеры показывают, что, делая эти библиографические записи, Ломоносов пользовался какими-то источниками. Нет сомнения, что это были рецензии в научных журналах; на это указывает аннотация при «Сатирах» Кантемира, которая точно расшифровывается нами ниже.

Как уже указывалось, при рассмотрении второго архивного списка мною было сделано наблюдение, что в нем перечислены книги, вышедшие только в 1748—1750 гг. Это побудило меня обратиться к печатным «Материалам для истории императорской Академии наук» за соответствующий период, в предположении, что здесь могут быть найдены объяснения того, как и почему возникли эти записи. Действительно, в т. IX «Материалов», охватывающем документы за 1748 и первые пять месяцев 1749 г., мною были обнаружены данные, разъясняющие суть дела.

[8] Орфография Ломоносова соблюдается в неприкосновенности. Как выясняется дальше, это аккуратное воспроизведение орфографии источника.

12 января 1749 г. И. Д. Шумахер, в то время правитель Канцелярии Академии, обратился с предписанием к профессору Штрубе де Пирмонту, «яко конференцсекретарю», о том, чтобы академики в соответствии с 24-м пунктом академического регламента 1747 г. представляли свои «примечания» на нововышедшие за границей книги по их специальности для последующей публикации этих рецензий в печати. В конце предписания говорилось: «А какие господам академикам на нынешний 749 год потребны из Библиотеки или из Книжной лавки для чтения книги, о том собрать от них реэстры и подать в Канцелярию».[9]

20 января того же года в заседании Конференции, на котором присутствовал и Ломоносов, Штрубе де Пирмонт довел это распоряжение Канцелярии до сведения академиков. Последние заявили, что, насколько им известно, ни в Библиотеке Академии наук, ни в ее Книжной лавке нет никаких новых книг по их специальности, вышедших в предшествующем году; поэтому, для того чтобы можно было исполнить предписание Канцелярии, они просят сообщить им о недавно изданных за рубежом книгах, находящихся в Академической книжной лавке, если таковые есть, а впредь такие книги незамедлительно должны быть выписываемы и каталог их должен быть сообщен академикам с теми книгами, о которых шла речь выше.[10]

Исполняя постановление Конференции академиков, Штрубе де Пирмонт через несколько дней (26 января 1749 г.) подал в Академическую канцелярию репорт, в котором не совсем точно изложил принятое решение: «На помянутый указ, объявленный мною всему собранию академиков, господа присутствующие ответствовали, что в прошлом 1748 году никакие до их наук касающиеся книги, сколько они о том известны, в Библиотеку не внесены и ныне в Книжной лавке не имеются. А дабы впредь исполнение по вышеписанному указу чинено было, то оные господа желают, чтобы новоизданные в чужих государствах книги, которые в Книжной лавке не находятся, им объявлены были и впредь без укоснения выписываны и каталоги бы оных

---

[9] Материалы для истории императорской Академии наук, т. IX. 1748—1749 (январь—май). СПб., 1897, стр. 652.

[10] Протоколы заседаний Конференции императорской Академии наук с 1725 по 1803 год, т. II. 1744—1770. СПб., 1899, стр. 190: «Ad quod decretum respondendum censuerant, anno praeterlapso nullos novos, quod sciant, suae professionis libros neque in bibliothecam Acad. fuisse perlatos, neque existisse in bibliopolio: ut ergo decreto huis satisfieri possit, omnes optare, ut si qui libri in exteris regionibus recens editi in bibliopolio Acad. exstent, id ipsis indicetur, iidemque in posterum absque mora provideantur, et eorum catalogus cum illis communicetur».

им сообщались».[11] «Таким образом помянутые господа академики, — заканчивает своей репорт конференц-секретарь, — по академическому регламенту с охотою исполнять будут».[12]

Так как каталога академический магазин не имел и не мог представить академикам списков вышедших в 1748 г. книг, И. Д. Шумахер на следующий же день (27 января 1749 г.) в ответ на репорт Штрубе де Пирмоита предписал объявить академикам, «дабы каждый из них подал в Канцелярию реэстр книгам, какие кто в лейпцигских Ученых ведомостях, в геттингских, в гамбургских Свободных рассуждениях и в гамбургском Корреспонденте в 1746-м, 747-м и 748-м годах к своей науке за потребные признали и почитают, после чего в книжной лавке велено будет немедленно оные на первых кораблях сего лета из-за моря выписывать».[13]

В дальнейшей документации «Материалов для истории императорской Академии наук» сохранилось письмо санкт-петербургского почт-директора И. Аша от 16 июля 1749 г., являющееся ответом на недошедшее до нас письмо И. Д. Шумахера от 6 июля того же года; из письма Аша явствует, что Академия препроводила ему реестр иностранных книг для выписки их из разных чужестранных земель, а именно из Италии, Франции, Англии, Голландии и пр.[14] Нет сомнения, что посланный Ашу реестр и представлял сводку заявок, поданных академиками.

Однако было бы неверно предполагать, что дошедший до нас второй архивный список и есть тот самый, который был подан Ломоносовым в мае—июне 1749 г. в Канцелярию Академии для отсылки почт-директору Ашу. Так как письмо последнему было датировано 6 июля 1749 г., а во втором архивном перечне Ломоносова находится ряд книг, вышедших во второй половине 1749 и в 1750 г., то это обстоятельство исключает возможность признать их тождество. Напротив, можно с полной уверенностью предположить, что второй архивный перечень был составлен Ломоносовым в 1750 г. как продолжение аналогичного списка предшествующего года, т. е. что это был список книг, выписать которые для Библиотеки Академии наук предлагал Ломоносов в 1750—1751 гг.

Кроме того, первый архивный список и второй «перечень Пекарского» оформлены в алфавитном порядке, очевидно, в соот-

---

[11] Материалы..., т. IX, стр. 657. Возможно, здесь допущена опечатка: «...книги, которые в Книжной лавке ни находятся...».

[12] Там же.

[13] Там же, стр. 659.

[14] Там же, т. X. (Июнь 1759—1750). СПб., 1900, стр. 45. Германия здесь не названа, так как с нею почтамт был хорошо связан и выписка книг оттуда не представляла трудности.

ветствии с чьими-то требованиями. Так как мы теперь знаем, что речь идет о выписке книг из-за границы для Библиотеки Академии наук, то мы можем предположить, что алфавитный порядок в библиографических списках, очевидно, соблюдался для облегчения работы при составлении сводной заявки всех академиков. Так как во втором архивном списке и в первом «перечне Пекарского» не соблюден алфавитный порядок, мы имеем все основания считать их предварительными библиографическими материалами Ломоносова, из которых он потом отбирал меньшее количество названий для включения в окончательный заказ на иностранные книги.

Следовательно, все эти четыре списка содержат книги, которые почему-либо заинтересовали Ломоносова, которые он либо считал нужным выписать из-за границы, либо действительно выписал, — эти книжные перечни характеризуют круг научных и литературных интересов Ломоносова.

Рассуждая по аналогии, можно было бы предположить, что не только второй архивный, но и остальные библиографические списки, сделанные Ломоносовым, были изготовлены им в тех же целях, т. е. как материал для общеакадемической выписки иностранных книг. Однако такое предположение опровергается следующими данными.

В числе документов, представленных Академической книжной лавкой в Канцелярию Академии наук после смерти Ломоносова, есть один, датированный 10 апреля 1765 г. и озаглавленный (по-немецки): «Покойный статский советник Ломоносов получил из Академической книжной лавки следующие книги».[15] Другой счет с датой 23 марта 1766 г. не имеет названия и начинается словами: «г-н статский советник Ломоносов получил», вслед за чем идет счет (начиная с мая 1754 по апрель 1765 г.) книгам, также полученным Ломоносовым из той же Академической книжной лавки.[16] Возникает вопрос, почему эти счета составлены раздельно, а не объединены в один, раз оба они выданы Академической книжной лавкой. Не является ли это следствием того, что перед нами — счета разных категорий покупок Ломоносова?

Разница между первым и вторым счетами состоит в том, что в первый вошли в основном книги недорогие, от 5 и 12 коп. до 4 руб. (самая дорогая), тогда как во втором — книги преимущественно дорогие (шесть книг по 4 р. 25 к., две — по 6 руб. и т. д.).

Особенно интересно во втором счете то, что семь последних книг в нем представляют собой названия, вошедшие во второй (а, следовательно, и в первый) «перечень Пекарского». Так как

---

[15] П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова, стр. 742.
[16] Там же, стр. 741—742.

в счете эти книги указаны под апрелем 1765 г. (без точной даты), можно предположить, что они были получены не Ломоносовым (который, как известно, умер 4 апреля 1765 г., а до этого был болен и, конечно, в Книжную лавку не ходил), а для него. Следовательно, весь этот счет, в отличие от первого, являлся счетом не на книги, купленные Ломоносовым в Академической книжной лавке, а на книги, выписанные для него из-за границы: последний заказ пришел уже после смерти поэта.

По-видимому, первый «перечень Пекарского» представлял сводку разновременных «дезидерат» Ломоносова, сделанную в 1763—1764 гг.; на основании последней он составил заказ из девятнадцати книг (второй «перечень Пекарского»), и второй счет Академической книжной лавки подтвердил получение семи заказанных поэтом книг.

Так как второй счет начинается в мае 1754 г. с бухгалтерского переноса в 73 р. 94 коп., надо заключить, что Ломоносов и до этой даты выписывал через Академическую книжную лавку книги из-за границы. Можно с полной уверенностью предположить, что среди книг более ранней выписки были одиннадцать томов «Sammlung der Reisen» («Собраний разных путешествий»), так как тома XII—XVII этого издания он получил по второму счету; вероятно, так же получил он и две первые части «Химический разысканий» Потта, третья часть которых значится в счете.

Второй счет Академической книжной лавки дает ключ к решению вопроса о том, что представляет собой первый архивный список, оформленный в алфавитном порядке. Ни одной книги, перечисленной в нем, не содержится в счете Академической книжной лавки. Следовательно, это не был список книг, выписанных в 1761—1762 гг. Ломоносовым для себя. Есть основания считать, что это была копия заявки на выписку книг для Библиотеки Академии наук, оставленная Ломоносовым с целью последующей проверки исполнения его заказа.

Итак, перед нами два перечня книг, составленных Ломоносовым для выписки в Библиотеку Академии наук (второй и первый архивные списки), и два (точнее — один), выписанных им для себя.

II

В ответе Шумахера на репорт Штрубе де Пирмонта перечислялись те немецкие журналы, из которых предлагалось академикам черпать сведения о потребных им книгах. Все это были, по-видимому, издания, поступавшие в Библиотеку Академии наук, а именно: «Лейпцигские ученые ведомости» — «Leipziger gelehrte Zeitungen» (1715—1784), «Геттингенские ученые ведомости» —

«Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen» (1739—1752), «Гамбургские свободные рассуждения» — «Freye Urtheile und Nachrichten zum Aufnehmen der Wissenschaften und Historie überhaupt» (1744—1759), «Гамбургский корреспондент» — «Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten» (1731—1832). Однако в настоящее время в Академической библиотеке двух последних журналов нет.

Бо́льшая часть научных журналов первой половины XVIII в., в частности «Лейпцигские ученые ведомости» и «Геттингенские ученые ведомости», не печатали статей на какие-либо научные темы.[17] Свою задачу они видели в возможно полном, скором и объективном сообщении читателям сведений о нововышедшей литературе — книжной и журнальной — по всем специальностям. Имея обширный круг сотрудников в разных городах разных стран, издатели названных журналов печатали корреспонденции-рецензии почти всегда информационного характера. В некоторых журналах в конце каждого года давалась обобщающая статья, представляющая систематизированный обзор научной деятельности в международном масштабе, с ссылками на рассмотренные в журнале книги (ссылки на соответствующие страницы делались на полях статьи);[18] кроме того, прилагались реестры авторов и анонимно изданных книг. Все это очень облегчало знакомство читателей с новой литературой.

Таким образом, читатели получали обильную информацию о нововышедших книгах по литературе и наукам на всех западноевропейских языках, включая, конечно, и международный научный язык — латынь. Иногда в журналах встречаются рецензии на одну и ту же книгу, иногда — и чаще всего — разные журналы давали отзывы о разных книгах. В итоге получалась достаточно полная, почти исчерпывающая библиография научной литературы за ряд лет. Особо важное значение имело то, что это была не просто регистрирующая библиография, из которой читатель мог узнать только название книги, имя ее автора и ее выходные данные, а информационно-аннотированная, отчасти даже критическая, умело раскрывавшая содержание рецензируемых книг и обычно дававшая им объективную, авторитетную оценку. Все отзывы, за редчайшими исключениями, печатались анонимно, и поэтому характеристика рецензируемого издания воспринималась читателями журнала не как частное мнение того или иного сотрудника, а как взвешенное и продуманное суждение редакции

[17] Исключение составлял парижский «Journal des Sçavans», или, как он потом назывался, «Journal des Savants».

[18] При переплетении годового комплекта журнала эта статья помещалась в начале книги; обычно она называлась «Предисловие» к такому-то году.

в целом. Это придавало рецензиям таких журналов, как парижский «Дневник ученых», «Лейпцигские ученые ведомости» и «Геттингенские ученые ведомости», а отчасти и других, значение непререкаемого, окончательного приговора над книгой и писателем.[19]

Ломоносов, еще со студенческих лет знакомый с немецкими и французскими научными журналами, привык с доверием относиться к подобным рецензиям.

Несколько позднее, в рассуждении «О качествах стихотворца» (1755) Ломоносов высказал свое мнение о значении критических рецензий. Отметив, что в новейшие времена чрезвычайно умножилось количество писателей и книг, которые могут принести вред, Ломоносов продолжает: «Опасность сия отвергается одним тем только способом, когда помогать нам будут особливые писатели, которые различать станут добрых авторов от худых и покажут путь к забвению одних, а к припамятованию других». Ломоносов считает, что «разбор писателей есть наилучший и безопаснейший способ быть ученым человеком и он потребен для всякой особно в свете науки и для всякого склонность имеющего человека к наукам».

Насколько близка была Ломоносову мысль о важности журнальной научно-информационной и критической библиографии видно из другой его статьи, написанной в том же 1755 г. В «Рассуждении об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенном для поддержания свободы философии» Ломоносов с удовлетворением отмечает, что для противостояния субъективным, непродуманным и ошибочным суждениям отдельных писателей «образовались общества ученых и были учреждены своего рода трибуналы для оценки сочинений и воздаяния должного каждому автору согласно строжайшим правилам естественного права». «Вот откуда, — продолжает Ломоносов, — произошли как академии, так — равным образом — и объединения, ведающие изданием журналов». Охарактеризовав значение

---

[19] Однако это общее положение не исключало того, что авторы некоторых рецензий вносили в свою информацию личный момент. Больше всего бросается в глаза такой тенденциозный характер в рецензиях из Петербурга. Так, например, в «Геттингенских ученых ведомостях» (1750, 18 июня, № 63) была помещена подробная корреспонденция из Петербурга, содержавшая рецензию на сборник речей академиков, произнесенных на торжественном заседании Академии 26 ноября 1748 г.; в то время как пересказу и оценке речи академика Г. В. Рихмана о законах испарения воды уделено две с половиной страницы, о «Слове похвальном императрице Елисавете Петровне» Ломоносова сказано только то, что здесь эта речь, произнесенная по-русски, напечатана в латинском переводе. Но бывали случаи, когда в петербургских рецензиях подробно и объективно излагалось содержание и речей Ломоносова (см.: Лейпцигские ученые ведомости, 1758, 7 декабря, № XCVIII, стр. 873—877; 18 декабря, № CI, стр. 897—898).

академий как учреждений, подвергающих намеченные к печати труды предварительному внимательному и строгому разбору, предупреждающему заблуждения и сознательные искажения истины, Ломоносов пишет: «Что же касается журналов, то их обязанность состоит в том, чтобы давать ясные и верные краткие изложения содержания появляющихся сочинений, иногда с добавлением справедливого суждения либо по существу дела, либо о некоторых подробностях выполнения. Цель и польза извлечений состоит в том, чтобы быстрее распространять в республике наук сведения о книгах». Далее Ломоносов с огорчением констатирует, что появилось много журналистов, недостаточно подготовленных для критической деятельности, но подстрекаемых голодом и рассуждающих и судящих о том, чего они совсем не понимают. Огорчает его также и то, что число журналов увеличилось до чрезвычайности. «Поэтому, — заключает Ломоносов, — здравомыслящие читатели охотно пользуются теми из журналов, которые признаны лучшими, и оставляют без внимания все жалкие компиляции, в которых только списывается и часто коверкается то, что уже сказано другими, или такие, вся заслуга которых в том, чтобы неумеренно и без всякой сдержки изливать желчь и яд».[20]

Имея столь высокое теоретическое представление о значении журнальных рецензий, Ломоносов и на практике отдавал должное отзывам о научной литературе, помещавшимся в таких органах, как «Лейпцигские ученые ведомости» и «Геттингенские ученые ведомости». Эти авторитетные издания были для Ломоносова источниками постоянной библиографической информации, из них он черпал данные для последующего, более подробного знакомства с заинтересовавшей его литературой.

Впрочем, по-видимому, источники его библиографической информации не оставались на протяжении всего времени неизменными. Так, в первом «перечне Пекарского» тридцать восемь названий подряд (73—110) взяты из какого-то французского источника, вероятно из «Journal des Savants».

Просмотр всех дошедших до нас библиографических списков, писанных рукой Ломоносова, показывает, что он в одинаковой мере отмечал книги на латинском, немецком, французском, английском, итальянском и польском языках. Обращает на себя внимание то, что и в первом и во втором «перечнях Пекарского» указаны «Испанская грамматика» и «Испанский секретарь» Собрино. Это дает основание предположить, что в начале 1760-х годов Ломоносов имел намерение изучать испанский язык.

---

[20] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 3, изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 217—219. Французский текст: там же, стр. 202—204.

Может быть, в связи с этим находится предшествующий первому «перечню Пекарского» список грамматик и других пособий для изучения языков: здесь, после португальской грамматики, названа «ишпанская», затем — лексикон и прибавлено «Еropeja».[21]

Внимательное изучение библиографических материалов Ломоносова несомненно очень расширит представления о нем во многих отношениях. Мы ограничимся сейчас только разделом литературным.

III

Мы, к сожалению, не знаем и едва ли когда-нибудь узнаем, какие книги по литературе были затребованы Ломоносовым в первую академическую выписку 1749 г. Зато, благодаря сохранившемуся второму архивному списку, нам известно, что среди 69 названий, перечисленных в нем, около пятнадцати может быть отнесено к разделу литературы и истории литературы.

Вполне естественно, что среди выписанных Ломоносовым в этот раз книг оказались произведения античных авторов, столь уважавшихся и ревностно изучавшихся им. Это были «Сочинения Биона Смирнского и Мосха Сиракузского».[22] Несомненно, Ломоносов обратил внимание на эту книгу, прочитав рецензию на нее в «Лейпцигских ведомостях» за 1750 г., № 55. Приведя по принятому обычаю библиографическое описание книги Биона и Мосха, рецензент затем писал: «Мы не сомневаемся в том, что издание сохранившихся текстов этих двух древнегреческих поэтов будет иметь успех у любителей и знатоков. Правда, издатель не сравнивал вошедшие в книгу произведения с их текстами по разным рукописям, чтобы где-нибудь выцарапать (auszujagen) какое-нибудь разночтение или отметить какие-либо незначительные расхождения; вместо этого он придерживался лучших из старых изданий, чтобы выпустить в свет свое как можно более полным и точным по сравнению с любым предшествующим». Рассказав далее о печатных изданиях произведений Биона и Мосха, начиная с издания Анри Этьена (1566), рецензент сообщает о том, какое из них было положено Джоном Хескином в основу своей публикации. Затем рецензент отмечает, что издатель внес собственные конъектуры в ряд мест, которые, по его мнению, требовали исправления, и подробно обосновал все эти поправки в примечаниях. Далее в рецензии говорится о том, что Хескин, помимо того что перевел с французского примечания, сделанные при издании Лонгпьера, прибавил и свои собственные. В конце

[21] Ср.: Ю. М. Лотман. К вопросу о том, какими языками владел М. В. Ломоносов. «XVIII век», сб. 3, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 460.

[22] Byonis Smyrnaei, et Moschi Syracusani, quae supersunt. Notis Joh. Heskin, ex aede Christi. Oxoniae, 1750.

рецензент указывает, что Хескин не счел нужным сделать новый перевод этих идиллий, ограничившись лишь исправлением многих мест старого.[23]

Таким образом, Ломоносов счел нужным выписать новейшее издание двух античных идилликов, и как раз не римлян, а греков. Это еще раз подтверждает оспариваемое мнение о том, что поэт владел древнегреческим языком.

К тому же разделу античной литературы относится и другая книга, включенная Ломоносовым во второй архивный список под № 53, — «О композиции и литературной манере древних, в частности Платона» Джемса Джедса.[24] Об этом издании Ломоносов прочел рецензию в тех же «Лейпцигских ученых ведомостях»; она сформулирована так толково, что при чтении ее сразу становится понятно, что побудило Ломоносова выписать книгу Джедса: «Хотя этот труд, написанный с большим знанием древнегреческих авторов и присущих им особенностей, появился в свет только после смерти сочинителя и в конце книги даже заметно, что он не отделал ее (daβ er nicht die letzte Hand daran gelegt), — пишет рецензент, — однако труд этот заслуживает полного внимания всех любителей изящной литературы и тех, кто хочет овладеть точным, украшенным и благозвучным стилем». Джедс — рассказывает дальше рецензент — с молодых лет пристрастился к чтению греческих авторов и продолжал увлекаться ими и тогда, когда его профессиональные занятия (адвокатура) требовали другого. Восхищаясь творениями древних, Джедс стремился выяснить, сколько заботы проявляли они, для того чтобы их произведения оказывали на читателей такое сильное впечатление. Кажется, свою книгу он написал только для того, чтобы обратить внимание других на этот вопрос.

Далее рецензент излагает построение труда Джедса. «Это сочинение, — пишет он, — состоит из шестнадцати глав; первые две посвящены общим понятиям композиции (или расположения), литературной манеры и ее правилам. Он указывает, что здесь речь идет о правильной расстановке слов, о должном благозвучии в разных частях и членах периода и об умелом сочетании отдельных понятий в периоды. Нужно обращать внимание на выбор слов, на то, как располагать и изменять их, не упуская при этом из поля зрения порядок периодов». «Все люди от при-

---

[23] «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 9. Julii, № LV, стр. 481—482.

[24] An Essay on the Composition and Manner of Writing of the Antients, particularly Plato. By the late James Geddes, Esq. Advocate, at Robert Foulis. Glasgow, 1750. Ломоносов записал название этой книги по-немецки: «Versuch über die Zusammensetzung und Art zu schreiben der Alten durch Geddes in 8, Glasgow».

роды, — продолжает рецензент, — находят удовольствие в благозвучии, и поэтому писатель и оратор должны с этим считаться и изучать то, что к этому вопросу относится. Потребные правила могут быть почерпнуты из греческих образцов. Затем сочинитель разделяет расположение литературной манеры на высокое, на украшенное и на среднее, по его мнению, самое трудное. Он показывает, как стихотворная речь переходит в прозаическую и как поэзия применяется также при исторических, философских и иных представлениях. В них надо главным образом подражать природе; и так как Гомер в данном случае является совершеннейшим учителем, его и избрали лучшие греческие писатели себе в образец. Г-н Джедс говорит об этом в третьей и четвертой главах своей книги, рассматривая литературную манеру Ксенофонта и Геродота и показывая примеры их подражаний Гомеру. В шестой главе он обнаруживает воздействие Пиндара на Фукидида. Последующие главы до пятнадцатой посвящены Платону; его литературную манеру лучше всего можно вскрыть, если определить то, что он считал конечной целью красноречия. Г-н Джедс так и поступает и показывает, что Платон ставил задачей красноречия не простое удовольствие слушателей, но содействие их благу и блаженству. Он приводит также способы, с помощью которых, по мнению Платона, можно достичь желаемого, — это как раз те правила, которые уже сформулировал Аристотель».

Затем рецензент продолжает: «Г-н Джедс показывает, как построены диалоги Платона, в которых он оспаривает что-либо. Автор утверждает, что во всех диалогах Платона есть бо́льшая связанность, чем это принято думать; для доказательства этого он анализирует каждый диалог. Предлагаемое Варбуртоном деление последних на эксотерические и эсотерические он подвергает рассмотрению и отказывается признать правильным. Отсюда он делает заключение, что Платон не верит в загробные награды и наказания. Затем Джедс устанавливает, как и в чем Платон подражает Гомеру. В двух последних главах говорится о том, что Платон в свою очередь стал образцом, а Демосфен и Лонгин подражали ему».[25]

Совершенно ясно, что книга Джедса заинтересовала Ломоносова своим содержанием, очень близким к его собственным литературным взглядам, выраженным в «Кратком руководстве к красноречию» (1748) и позднейшем «Предисловии о пользе книг церьковных в российском языке», где изложена теория трех штилей.

---

[25] «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 18. Junii, № XLIX, стр. 434—436.

Вместе с тем не следует думать, что интерес Ломоносова к новым книгам по античной литературе имел исключительно «утилитарный» характер, т. е. был продиктован соображениями о конкретной пользе этих изданий в качестве поддержки его собственных взглядов. Иногда мы встречаемся с названиями книг и рецензиями на них, которые показывают, что Ломоносова могло привлечь новое, неизвестное ему, фактическое содержание того или иного труда, что его «интерес» имел в подобных случаях познавательный характер. Так, по-видимому, обстояло дело с занесенной во второй архивный список под № 48 книгой «Заметки о достойном памяти открытии древнего города Геркуланума» (1750),[26] в которой были впервые изложены сведения о раскопках, производившихся в 1748 г. в деревне Резина, вблизи Неаполя. Может быть, помимо историко-бытового и археологического материала, находящегося в «Заметках», Ломоносова привлекли содержащиеся в конце рецензии указания на обнаруженные этрусские надписи; приведенный рецензентом этрусский текст с его латинской дешифровкой мог заинтересовать Ломоносова со стороны истории латинского языка.[27]

Однако, как велик ни был интерес Ломоносова к античности, к «древним», не меньшее внимание уделял он «новым», т. е. европейской культуре со времени Возрождения. При этом можно заметить, что, несмотря на то, что он превосходно владел немецким и хорошо французским языком, он, пожалуй, больше книг выписывал на итальянском языке. По крайней мере в начале 1750-х годов: из четырнадцати книг второго архивного списка, посвященных литературе и истории культуры, четыре итальянских.

Отмеченное нами обстоятельство не случайно: итальянская поэзия в первой половине XVIII в. занимала в Европе едва ли не первое место, итальянский язык был более распространен при европейских дворах в то время, пожалуй, чем французский, придворная итальянская опера считалась тогда чем-то абсолютно необходимым для полноты политического престижа даже небольших государств.[28] Чисто внешним показателем высокого положения итальянской литературы в то время является то, что в упомянутых выше годовых обзорах («Предисловиях») в «Лейпцигских ученых ведомостях», как и в «Геттингенских», итальянская поэзия всегда рассматривалась первой среди прочих.

---

[26] Notizie del memorabile scoprimento dell' antica Citta Ercolano, vicina a Napoli. Firenze, Stamperia reale, 1750.

[27] «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 28. Septembris, № LXXVIII, стр. 682—684.

[28] M. Landau. Die italienische Literatur am oesterreichischen Hofe. Wien, 1879.

Этим положением итальянского языка и литературы, очевидно, надо объяснить тот факт, что Ломоносов еще в Марбурге купил популярную грамматику Венерони и по ней изучил итальянский язык. В дальнейшем, по приезде в Россию, он продолжал следить за итальянской литературой и наукой.

На первом месте среди книг по итальянской литературе должно поставить «Стихотворения» Франчески Петрарки.[29] Об этом новом издании Ломоносов узнал из коротенькой рецензии, помещенной в «Геттингенских ученых ведомостях» за 1750 г. Что именно этот журнал был источником его информации в данном случае, видно из того, что в своей записи во втором архивном списке (№ 46) Ломоносов точно повторяет название книги, приведенное в «Геттингенских ученых ведомостях»; в «Лейпцигских ученых ведомостях» рецензии на «Стихотворения» Петрарки не было; а доказательством того, что сведения о данной книге были почерпнуты Ломоносовым из немецкого источника, является пометка издателя: «bey Pagani». Вот эта небольшая рецензия:

«Книгопродавец Пагани продает „Стихотворения Мессира Франческо Петрарки, проверенные и исправленные по лучшим рукописям и сопровожденные разночтениями и новой биографией автора. 1748. 348 стр., в 8 долю, не считая предисловия и биографии, занимающих 53 стр.“. Этим изданием мы обязаны трудолюбию г. Луиджи Бандини. В написанной им новой биографии Петрарки находится много сведений, которые мы напрасно стали бы искать в других местах. В ряде случаев издатель исправил текст и присоединил разночтения по нескольким старым рукописям».[30]

Имя Петрарки ни разу не встречается в произведениях, письмах и бумагах Ломоносова. Выписка им этой книги свидетельствует о том, что, по всей вероятности, имя великого гуманиста был ранее известно Ломоносову и что он желал подробнее познакомиться с творчеством и биографией Петрарки.

Под № 43 во втором архивном списке Ломоносов сделал следующую запись: «Tyrrhi Creopolitae de Jesu infante odae Anacreonticae cum italis interpretationibus aliorum Arcadum. Romae, bey Pagliarini, in groß 8» («Анакреонтические оды о младенце Иисусе Тирра Креополитянина, с итальянскими комментариями других аркадцев. Рим, Пальярини, в большую 8 долю»). Сведения об этой книге Ломоносов нашел в рецензии, помещенной

[29] Le stesse rime di Mess. Franc. Petrarca, riscontrate e corrette sopra ottimi testi a penna coll'aggiunta delle varie Lezzioni, e d'una nuova vita dell'autore. Fizenze, Pagani, 1748.

[30] «Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 7. April, 34. Stück, стр. 272.

в № 22 «Лейпцигских ученых ведомостей» за 1748 г. Копируя название данного издания, он опустил после имени Тирры Креополитянина буквы «P. A.» («Pastoris Arcadi» — «аркадского пастушка») и фразу, идущую после основного описания: «Accedunt diversi generis Carmine ejusdem Auctoris» («С прибавлением стихотворений того же автора в разных жанрах»).

В лице Тирра Креополитянина мы встречаемся с автором, совершенно забытым и едва ли широко известным при жизни за пределами Италии.[31] Настоящее его имя было Джузеппе Карпани (1683—1765); он был иезуитом и состоял членом «Аркадской академии» («Accademia degli Arcadi»). Это литературное общество, основанное в 1690 г. адвокатом Дж.-В. Гравиной и писателем Дж.-М. Крешимбени, ставило своею целью противодействовать пользовавшемуся большим успехом в тогдашней итальянской литературе прециозно-барочному стилю, так называемому «маринизму», или «маньеризму». Стремясь возвратиться к античной простоте и изяществу стиля, Гравина и Крешимбени избрали, однако, для своего общества формы совершенно барочные: они и их единомышленники назвали себя «аркадскими пастухами», каждый выбрал себе греческое пастушеское имя, первое время их собрания происходили в садах или в сельских местностях. В противоположность аристократическому характеру маринизма и литературных академий, пропагандировавших это направление, аркадцы с самого начала подчеркивали свой демократизм, выразившийся прежде всего в отсутствии громоздкого правления: во главе их был один только «страж», носивший латинское название «кустода» и избиравшийся на «олимпиаду» (четыре года). Крешимбени до конца дней постоянно переизбирался «кустодом». Постепенно «Аркадская академия» утрачивала свой первоначальный характер и становилась уже не литературным, а научным обществом.

В первые десятилетия своей деятельности аркадцы сыграли положительную роль в итальянской и отчасти европейской литературе, пропагандируя «обращение к природе» и отказ от вычурности и любви к эффектам, столь характерных для маньеризма. Нередко они сознательно обращались к сюжетам, обработанным самим Марини или его последователями. Так, «анакреонтические оды о младенце Иисусе» Тирра Креополитянина написаны на ту же тему, что и поэма Марини «Избиение невинных вифлеемских младенцев». Делалось это с целью показать, что простота стиля, отказ от знаменитых «кончетти» (замысловатых и неожиданных образов, сравнений и эпитетов) может вести к созданию подлинно поэтических произведений.

[31] О нем см.: Biographie universelle ancienne et moderne, t. VII. Paris, 1813, стр. 181.

Однако «пасторальность» возобладала в «Аркадской академии» и явилась причиной упадка литературного влияния этого общества. Произошло это вскоре после смерти Крешимбени, в начале 1730-х годов.

Что же могло остановить внимание Ломоносова на книге Тирра Креополитянина, одно заглавие которой показывает, что ее тематика далека от его литературных интересов? Мы знаем, что Ломоносов относился отрицательно к итальянскому маньеризму и в своем «Кратком руководстве к красноречию» (1748 г.) рекомендовал учащимся не следовать «нынешним италианским авторам, которые, силясь писать всегда витиевато и не пропустить ни единой строки без острой мысли, нередко завираются» (§ 130). Какие же причины заставили Ломоносова через два-три года после выхода в свет его руководства по риторике, содержащего только что цитированную точку зрения, выписать из-за границы «анакреонтические оды о младенце Иисусе» «аркадского пастуха» Тирра Креополитянина? Ответ — скорее всего вероятный, а не безусловный — мы находим в рецензии на эту книгу в «Лейпцигских ученых ведомостях».

Рецензия эта оформлена в качестве корреспонденции из Рима и звучит следующим образом: «В издательстве Пальярини вышли в свет „Анакреонтические оды о младенце Иисусе Тирра Креополитянина, а[ркадского] п[астуха], с итальянскими комментариями других аркадцев. С прибавлением стихотворений того же автора в разных жанрах, в 8 долю, 174 стр.“. Под именем Тирра Креополитянина скрывается о. Джузеппе Карпани, иезуит, взявший этот псевдоним в обществе аркадских пастухов, в котором он прочитал бóльшую часть публикуемых стихотворений. Вообще же он известен своими шестью трагедиями на латинском языке, которые около четырех лет назад были напечатаны в Риме и имели большой успех, о чем мы упоминали в нашем журнале. В посвящении о. Франциску делла Нунциата автор объясняет, чтó заставило его воспеть именно детство Христа. В двадцати восьми песнях поэмы встречаются отличные мысли и изысканные выражения, столь уместные в анакреонтических песнях; они написаны ни слишком низким, ни слишком возвышенным стилем, и как раз это заставило аркадских пастухов на несколько ладов перевести их на итальянский язык. Вслед за этими песнопениями идут три небольших стихотворения: „Согласие поэзии и законов“, „По вине некоторых поэтов не ценят поэзии“ и „Пророчество Альбунеи, тибуртинской Сивиллы“. Сборник завершают пятьдесят четыре эпиграммы, среди которых вы не встретите ни безделушек, ни натянутых острот, но только подлинно остроумные мысли и благородные идеи. В первую очередь из их числа должна быть названа особенно удачная эпиграмма на мир, которым на-

слаждается Португалия в современных общих политических беспокойствах».[32]

Вряд ли мы ошибемся, если выскажем предположение, что книга Тирра Креополитянина обратила на себя внимание Ломоносова главным образом эпиграммой «на мир, которым наслаждается Португалия в современных общих политических беспокойствах». Тема мира занимала такое большое место в философском и литературном сознании Ломоносова, что он, конечно, не мог пройти мимо ее разработки другим поэтом. Тем более что в авторитетном журнале этому произведению была дана высокая оценка.

Обратил Ломоносов внимание еще на одно издание аналогичного итальянского литературно-научного общества: второй архивный список начинается с записи № 15: «Memorie di varia erudizione della Societa Colombaria Fiorentina. Vol. I. in 4, 2. Alph. Florentz, ad insigne Apollinis» («Памятные записки по разным наукам Флорентинского голубиного общества. Т. I. В 4 долю, 2 алфавита, Флоренция, в типографии Под знаком Аполлона»).

Рецензия на этот журнал, помещенная все в тех же «Лейпцигских ученых ведомостях» за 1748 г., после обязательного библиографического описания излагает сведения о происхождении и содержании «Памятных записок». Их издатель, А.-Ф. Гори, сообщает, что этот сборник выпускает в свет общество, организовавшееся в 1735 г. и принявшее название «Голубиного»; на печати этого общества изображены два целующихся голубя, а под ними подпись: «Mutuis officiis» («Взаимными услугами»). Члены «Голубиного общества» занимаются изящной литературой, археологией, историей и естествознанием. И доклады, и их обсуждения тщательно записываются и печатаются в сопровождении рисунков и чертежей. Крупнейшие итальянские ученые считают для себя большой честью попасть в это общество. Далее следует перечень статей, помещенных в первом томе «Памятных записок»: Дж.-Б. Пассери — «Объяснение некоторых этрусских древностей из собрания Корацци» и «Об оссилегиях у древних», Л.-А. Муратори — «О рабах и вольноотпущенниках у римлян», М. Гварпаччи — «Известие о законах двенадцати таблиц и о римских законах вообще», анонимного автора — «Апология Тита Ливия в связи с приводимыми им чудесными знамениями», Дж.-Д. Бертольти — «Мысли по поводу медной монограммы Христа», «мелкие статьи о великолепном естественно-историческом кабинете г. Байу и о его испытаниях природы», «Извлечение из двенадцатой части ежегодника этого общества»,

---

[32] «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1748, 14. Merz, № XXII, стр. 193—194.

Д.-М. Манни — «Новые предложения о том, как сохранять старинные рукописи от гибели», «Древние надписи, недавно открытые в Неаполитанском королевстве». Всему этому предпослано обстоятельное «Известие о возникновении и развитии данного общества».[33]

И здесь нам не менее трудно ответить на вопрос, какие побуждения заставили Ломоносова включить эту книгу в составленный им список. Этрусские ли древности, о которых сообщалось в одной из первых статей «Памятных записок»; исследование ли о рабах и вольноотпущенниках в древнем Риме — тема, близкая Ломоносову, выходцу из народа; общий ли интерес его к итальянской науке и литературе, — мы можем только гадать и едва ли будем иметь возможность сказать, что догадки наши безусловно правильны.

В том же втором архивном списке Ломоносов отметил «Нравственные стихотворения» Ф. фон Гагедорна,[34] о которых он читал похвальные рецензии в «Лейпцигских»[35] и «Геттингенских ученых ведомостях»,[36] а также книгу «Lieder. Berlin. 8. 5 Bogen». Ни в одном из журналов за 1750 г., библиографией которых пользовался Ломоносов, нет упоминания об анонимном издании «Песен» в Берлине (это название занесено под № 67 среди более чем полутора десятка книг, рецензии на которые были помещены в 1750 г.).[37]

Отметил также Ломоносов немецкий перевод известного «Опыта истории литературы, наук и искусств» Жувенель де Карланка (Juvenel de Carlencas), сделанный профессором И.-Э. Каппом. Рецензии на новое французское издание этого труда с попутными упоминаниями перевода Каппа Ломоносов мог прочитать в «Лейпцигских ученых ведомостях» за 1750 г. (12 октября, № XXXII, стр. 722—723) и в «Геттингенских ученых ведомостях» за тот же год (ноябрьское приложение, № 116, стр. 921—922).

Выше в качестве примера ломоносовской библиографической записи с русской аннотацией была приведена книга «Reflexions et remarques sur la manière d'ecrire des lettres». Обстоятельная и

---

[33] Там же, 1748, 12. December, N. S., стр. 882—883.

[34] Friedrich von Hagedorn Moralische Gedichte, in 8. 1750, Hamburg, bey Bohn.

[35] «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 12. October, № LXXXII, стр. 723—725.

[36] «Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 7. May, 47. Stück, стр. 375—376.

[37] Г. М. Коровин в «Библиотеке Ломоносова» расшифровывает эту запись как «Versuch in scherzhaften Liedern» Глейма (Берлин, 1745). Думаю, что это предположение едва ли правильно: каким образом могла попасть эта книга в число изданий 1750 г.?

очень лестная рецензия на этот труд была прочтена Ломоносовым в «Геттингенских ученых ведомостях» (1749, № 49, стр. 281—283); заглавие книги, с ошибками против французской орфографии, имевшимися в немецком журнале, Ломоносов точно воспроизвел в своей записи.

В том же журале Ломоносов познакомился с рецензией на французский перевод «Сатир князя Кантемира с его биографией». Первая часть рецензии пересказывает историю рода Кантемиров, включая биографию Антиоха Кантемира. Заключительная часть ее представляет собственно отзыв о «Сатирах»: «Цель автора состоит в том, чтобы искоренить предрассудки равнодушного и закоснелого народа (einer kaltblütigen und hartnäckigen Nation). Тонкие черты остроумия как такового не могут повлиять на такой народ. Ставя своей целью его исправление, автор должен был с силой нападать на свой народ, должен был быть и поучителен и язвителен. В его сатирах заметно стремление быть скорее основательным, чем блестящим. Сатиры эти, написанные русскими стихами, были переведены на французский язык прозой одним из лучших друзей покойного князя; им же написана и биография последнего».[38]

Можно предположить, что от внимания Ломоносова не ускользнула коротенькая рецензия на второе издание французского перевода «Сатир» Кантемира, помещенная в парижском «Journal des Savants» (1750, t. CLIII, juillet, стр. 246): «Только что вышло в свет новое издание «Сатир» князя Кантемира; в этом издании устранено несколько небрежностей, вкравшихся в прошлогоднее, сделано несколько дополнений, в частности напечатана пиндарическая ода в честь князя Кантемира на итальянском языке».

Не следует забывать, что переводы «Сатир» Кантемира на французский язык были в то время фактом очень важным и сложным. Это было первое выступление новой русской поэзии перед европейским читателем. С одной стороны, этот факт не мог не быть приятен Ломоносову; но, с другой стороны, речь шла о сатирах, о произведениях, в которых бичевались отрицательные стороны жизни русского общества, и это могло быть поводом к разного рода неблагоприятным суждениям. Частично подобный подход проявился в рецензии «Геттингенских ученых ведомостей», где о русском народе говорится недоброжелательно. Наконец, в-третьих, напомним, что «Сатиры» Кантемира и в оригинале, доступном ему по рукописным копиям, интересовали Ломоносова и что ему важно было знать, в каком виде вышли они за границей.

[38] «Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1749, 19. Junius, 59. Stück, стр. 466—467.

Особенно заслуживают внимания во втором архивном списке две книги, отмеченные Ломоносовым №№ 59 и 60: «Poemata didascalica nunc primum vel edita vel collecta» («Поучительные поэмы, впервые издаваемые или собранные») и «Disputatio de primordiis et incrementis Poeseos Svecanae» («Рассуждение о происхождении и развитии шведской поэзии»), автором которой Ломоносов считал Хюдрена (Hydreen).

О первой из этих книг Ломоносов прочел очень одобрительный отзыв в «Лейпцигских ученых ведомостях». Ввиду важности этой рецензии приведем ее полностью: «Петр Эгидий Лемерсье издал в свет „Poemata didascalica, nunc primum vel edita, vel collecta. Tomi III in groß 12, 2 Alphabet". Так как дидактические стихотворения, содержащиеся в данном сборнике, частью из-за своего небольшого объема стали библиографической редкостью, частью так хороши и глубокомысленны, что их с несомненной пользой можно рекомендовать для чтения юношества, следует всячески похвалить тщательность, с которой ученый осуществил это новое и аккуратное (saubere) издание. В первой части напечатаны поэма Франсуа Удэна о снах, Пьера Пти о чае, также Масье и Теллона о кофе, — все они превосходны и за свой литературный стиль заслуживают похвалы. Во второй части помещены поэмы Иеронима Виды о шелковичных червях и об игре в шахматы, затем о. Ночети поэтическое описание радуги и северного сияния, хорошо известные знатокам и любителям латинской поэзии по неоднократным переизданиям.[39] В третьей части прежде всего должно отметить поэму Рапэна „О садах" в четырех книгах, Сцеволы Саммартана „О воспитании детей" в трех книгах, разные стихотворения Ф. Удэна и его же рассуждение о виргилиевском „Комаре". Последнее рассуждение было уже напечатано в „Продолжении памятных записок г-на Салангра"; однако оно вполне заслуживает того, чтобы ему уделить здесь место среди других поэтических творений автора для подтверждения его прекрасного художественного вкуса».[40]

Можно не сомневаться, что эта антология новолатинской дидактической поэзии заинтересовала Ломоносова не стихотворениями о шелкопрядах, кофе и чае, а также не поэмами о воспитании детей, об игре в шахматы и о садах, равно как и не рассуждением о вергилиевском «Комаре». С полной уверенностью можно считать, что автора «Вечернего размышления о божием величестве по случаю большого северного сияния» по вполне по-

---

[39] Указанные поэмы Карло Ночети были в 1747 г. изданы в Риме известным астрономом Босковичем, снабдившим их своими примечаниями.

[40] «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 26, Jenner, № VIII, стр. 65—66.

нятным причинам заинтриговали поэмы Ночети о радуге и северном сиянии, столь расхваленные в немецком журнале.

Сборник «Поучительные поэмы» заслуживает несколько большего внимания, чем ряд других книг, заинтересовавших Ломоносова и рассмотренных нами выше. Дело в том, что этому собранию дидактических латинских поэм, как мы увидим ниже, приписывается роль если не источника ломоносовского «Письма о пользе стекла» (1752 г.), то уж во всяком случае в определенном отношении примера при создании этого произведения.

«Поучительные поэмы» вышли в свет без указания составителя сборника. Первый том открывается обращением типографа к читателю; здесь жанр дидактической поэмы характеризуется как «некое лакомство муз» (musarum quasi cupedia), особенно подходящее для юношеского чтения. Типограф утверждает, что сборник составлен им самим. Поэтому, как мы видели, рецензент «Лейпцигских ученых ведомостей» называет П.-Э. Лемерсье не только владельцем типографии, в которой печатались «Поучительные поэмы», но и составителем сборника. На самом деле это было не так.

Антология была составлена некиим иезуитом Франсуа Удэном (Oudin, 1673—1752). Автор статьи о нем в «Biographie universelle ancienne et moderne» (Фуассэ), перечислив лучшие стихотворные произведения Удэна — поэмы о снах, об огне и др., пишет: «Сочинитель перепечатал их вместе с отобранными им произведениями других поэтов в „Поучительных поэмах“; действительным издателем этой антологии был он, хотя и выпустил ее под именем Оливе, чтобы не оскорбить самолюбия некоторых своих коллег, которых не считал достойными включения в свой сборник».[41]

Фуассэ в данном случае ошибся: ни на титульном листе любого из трех томов «Поучительных поэм», ни в обращениях типографа к читателю, ни где-либо в ином месте сборника имя Оливе как составителя не указано; не фигурирует он и как автор. По-видимому, анонимный характер антологии Удэна подал современникам повод к различным догадкам о ее составителе. Имя же Оливе имело в данном случае тем большее основание, что этот известный грамматик, член Французской академии, за одиннадцать лет до того издал сборник «Стихотворения поэтов, членов Французской академии, которые писали по-латыни и по-гречески» (Poetarum ex Academia Gallica qui latine aut graece scripserunt carmina. Paris, 1738); этот сборник был затем переиздан в Гааге в 1740 г. и в Лейдене в 1743г. — на этот раз под

[41] Biographie universelle ancienne et moderne, t. XXXII. Paris, 1822, стр. 260.

заглавием «Пять избранных новейших латинских и греческих поэтов, членов Парижской академии» (Recentiores poetae latini et graeci ex Academia Parisiensi selecti quinque. Lugnduni Batavorum, 1743). Поэтому не только современники, но и потомки колебались при определении составителя «Поучительных поэм». Например, другой сотрудник «Biographie universelle» — Вормс в статье об Оливе приписывает составление этого сборника последнему, впрочем, с ссылкой на статью об Удэне.[42]

По-видимому, все же Ф. Удэн имел какие-то основания не выступать открыто в роли редактора «Поучительных поэм»: он убедил типографа Лемерсье фигурировать, как мы видели, в качестве составителя сборника.

В антологию Удэна вошли только те дидактические поэмы, которые были написаны в новое время, в основном в XVII—XVIII вв.; произведения этого жанра, дошедшие к нам из античности, Удэном не были включены («О природе вещей» Лукреция, «Георгики» Вергилия, «Искусство поэзии» Горация, «Астрономика» Манилия и т. д., не говоря уже о пародийных «дидактических поэмах», как «Искусство любви» и «Лекарства от любви» Овидия). Однако и из новолатинских поэтов-дидактиков Удэн взял не всех; например, он не включил Понтана, автора «Урании» (1480 г.), Полициана с его «Введениями» (1482—1485 гг.), Марулле (Михаила Тарханиота), прославившегося в основном любовной лирикой, но написавшего также шестнадцать «Гимнов о природе» (1497 г.), обращенных к планетам, солнцу, луне, звездам, океану, земле и т. д.[43]

В состав сборника «Поучительные поэмы» Удэн ввел произведения новолатинских поэтов — преимущественно французов — конца XVII и первой половины XVIII в.; главное исключение в хронологическом отношении было сделано им для итальянского ученого-поэта Марка Иеронима Виды (1480—1566); его стихотворная «Поэтика» в XVI—XVIII в. ценилась очень высоко и неоднократно переводилась на европейские языки. Ю.-Ц. Скалигер, выдающийся франко-итальянский гуманист-филолог XVI в., сам автор «Поэтики», считал, что Вида «достоин тем большей славы по сравнению с Горацием, чем более искусно толкует он об искусстве поэзии». Заодно с «Поэтикой» Виды были перепечатаны и его поэмы «Шелкопряд» и «Шахматы».[44] Другое исклю-

---

[42] Там же, t. XXXI. Paris, 1822, стр. 583.

[43] P. van Tieghem. La littérature latine de la Renaissance. Étude d'histoire littéraire européenne. Paris, 1944, стр. 132—133.

[44] Еще два исключения — в плане национальном — сделаны для португальца Гульельма Вескамбеса, автора поэмы «Апельсины» («Mala aurea»), напечатанной во Франции (в Перпиньяне в 1696 г.), и для итальянца Карло Ночети, автора поэм о радуге и северном сиянии.

чение в хронологическом отношении было сделано для поэмы Сцеволы Саммартана (Севиль де Сен-Март, 1536—1623) «Педотрофия, или о воспитании детей» (1575 г.).

Характеризуя состав антологии Удэна, В. Л. Ченакал в комментариях к «Письму о пользе стекла» в последнем «Полном собрании сочинений» Ломоносова писал: «Тематика этих дидактических поэм до крайности пестра. Наряду с торжественными стихотворными трактатами на такие широкие, но мало связанные с тогдашней современностью сюжеты, как музыка, живопись, ораторское искусство, мы встречаем пространные рассуждения о том, как писать письма, как вести разговор в светском обществе и даже как шутить. Тут же весьма изящные поэмы о таких сравнительно недавно утвердившихся в быту предметах, как чай, кофе, арабские бобы [45] и дегтярная вода, которой пользовались медики для лечения воспалительных процессов. Есть поэма и о канарейках. Но такова только половина собранных Удэном произведений. Другая половина несравненно значительнее: она посвящена чрезвычайно актуальным в условиях той эпохи техническим, естествоведческим и философским проблемам. Это поэма о барометре, с часовом механизме, о порохе, об огне, о золоте, о магните, о кометах, о землетрясениях, о радуге, о северных сияниях и т. п. и, наконец, обширная поэма под заглавием „Вселенная Декарта“. Полезно отметить, — продолжает В. Л. Ченакал, — что некоторые из этих поэм написаны, как и „Письмо о пользе стекла“, в форме дружеских посланий, адресатами которых были в большинстве случаев видные ученые той поры».[46]

Не со всем сказанным В. Л. Ченакалом можно в этой характеристике сборника согласиться. Так, например, неясно, почему такие «сюжеты», как музыка, живопись и ораторское искусство, признаны «мало связанными с тогдашней современностью». Непонятно, почему поэмы, посвященные этим «сюжетам», определены как «торжественные стихотворные трактаты». Тон этих поэм не более торжествен, чем тон помещенных там же поэм о ручном гномоне, апельсинах или о болотах.

Охарактеризовав антологию Удэна, В. Л. Ченакал обратился к вопросу об отношении Ломоносова к «Поучительным поэмам»: «Ломоносову, — пишет он, — был бесспорно известен сборник Удэна: он собственной рукой и притом дважды внес его заглавие в составленные им списки книг (Архив АН СССР, ф. 20, оп. 1, № 3, лл. 279 и 300 об.). В одном случае это заглавие помечено

[45] Перечисляя в отдельности кофе и арабские бобы, В. Л. Ченакал допустил ошибку: «арабские бобы» — первоначальное название кофе в европейских языках.

[46] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 8, Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, примечания, стр. 1005—1006.

условным значком, который позволяет думать, что данное издание обратило на себя особое внимание Ломоносова».[47]

На основании сказанного В. Л. Ченакал делает вывод: «Если „Письмо о пользе стекла", сочиненное приблизительно через три года после выхода в свет рассмотренного нами латинского сборника, оказалось написано в форме стихотворного послания, то тут сыграло, может быть, некоторую роль знакомство с опубликованными Удэном поэмами. Можно констатировать, что Ломоносов шел и в этом случае в ногу с самыми передовыми литературными деятелями Западной Европы».

Из слов В. Л. Ченакала можно заключить, что, во-первых, он относит знакомство Ломоносова с «Поучительными поэмами» ко времени до написания «Письма о пользе стекла», во-вторых, видит возможное влияние сборника Удэна только в том, что Ломоносов придал своему произведению форму послания, и, наконец, в-третьих, считает участников рассматриваемой антологии «самыми передовыми литературными деятелями Западной Европы».

Ни с одним из этих положений В. Л. Ченакала нельзя согласиться и вот почему.

Название сборника «Поучительные поэмы» встречается в книжных перечнях Ломоносова действительно дважды: в первый раз во втором архивном списке, который, как было доказано, относится ко времени не ранее конца 1750 г. и не позднее начала 1751 г.; вторично антология Удэна была включена Ломоносовым в первый архивный список, который был составлен не ранее 1760—1761 гг. Иными словами, до этого времени Ломоносов со сборником «Поучительные поэмы» не был знаком и поэтому и включил его в число книг, которые необходимо выписать из-за границы. Особая отметка, о которой упоминает В. Л. Ченакал, находится именно здесь.

Следовательно, ставить «Письмо о пользе стекла» в непосредственную связь с «Поучительными поэмами» нельзя; единственное, что мы безусловно знаем, — это то, что Ломоносову была известна приведенная выше рецензия на антологию, изданную П.-Э. Лемерсье, в «Лейпцигских ученых ведомостях». Мы можем еще предположить, что Ломоносов мог обратить внимание на простое упоминание «Поучительных поэм» в парижском «Journal des Savants» за ноябрь 1749 г., в разделе «Литературные новости» (стр. 400); но это сомнительно. Допустить, что Ломоносов знал «Поучительные поэмы» по экземпляру, принадлежавшему кому-либо из его знакомых, было бы неверно: тогда Ломоносов не стал бы включать сборник Удэна в список заказываемых книг.

---

[47] Там же, стр. 1006.

Далее. Нужно ли было Ломоносову знакомиться с «Поучительными поэмами», чтобы его «Письмо о пользе стекла» «оказалось, — по словам В. Л. Ченакала, — написано в форме стихотворного послания»? Ведь всякий школьник, учившийся в XVIII в. латыни, знал, что горациевская дидактическая поэма «Об искусстве поэзии», одно из основных произведений при прохождении курса пиитики, имела подзаголовок «Послание к Пизонам». Жанр «дружеского послания» был известен уже в древности, содержание его могло быть самым различным, но самая «адресованность» жанра оставалась неизменной. Ломоносову не нужно было ждать «Поучительных поэм», изданных Лемерсье, чтобы написать строку «Неправо о вещах те думают, Шувалов». Его литературная образованность была достаточно велика, чтобы не нуждаться «и в этом случае», как говорит В. Л. Ченакал, в примере кого-либо из своих современников или ближайших предшественников.

И, наконец, третье. Можно ли называть участников сборника «Поучительные поэмы» «самыми передовыми литературными деятелями Западной Европы» ломоносовского времени, как делает В. Л. Ченакал? Дав им подобную характеристику, автор комментария к «Письму о пользе стекла» через несколько строк уже называет западноевропейских латинских поэтов «только дилетантами в науке», ограничивающимися «изложением чужих сведений и идей». Еще дальше В. Л. Ченакал утверждает, что «хвала величию научной мысли носит в западной поэзии несколько (?!) отвлеченный характер», в то время как Ломоносов стоял за приложение науки к жизни. Мы не станем входить в рассмотрение противоречий в суждениях В. Л. Ченакала, отметим только, что среди двадцати четырех новолатинских поэтов, произведения которых вошли в состав антологии Удэна, было семнадцать иезуитов, в том числе и составитель сборника — Ф. Удэн.

Дает ли нам это обстоятельство основание соглашаться с мнением В. Л. Ченакала о том, что участники «Поучительных поэм» были «самыми передовыми литературными деятелями Западной Европы» первой половины XVIII в.? Сомневаюсь. Достаточно, по-моему, познакомиться с отрывками из «Оды Жозефу Оливе» («Josepho Oliveto Ode») Удэна, чтобы определить научную позицию составителя сборника и понять принципы отбора литературного материала, применявшиеся им:

«Закрой, наконец, книги! Скажи, зачем ты утомляешь непрестанными занятиями и — жестокий — лишаешь краткого сна всегда упорно устремленные и слишком усталые глаза? . . Пусть возбужденный ум, преданный истине, не надеется, идя по безоблачному небу, один проникнуть в сущность вещей . . . Ведь

сам бог набросил на вещи темное облако: он не позволил всем знать все и никогда не обнаружит всего. Многое, о чем мы напрасно хлопочем, само откроется счастливым душам наших потомков; многое из того, что стало известно нам, не знало время наших отцов. Поэтому, если угодно, отбрось свои заботы о таком труде, не думай, что, если ты чего-либо не знаешь, это преступление, которое должно быть искуплено жестокой смертью. Старайся по возможности сном удваивать долгие дни: никогда ты не узнаешь всего того, что должно знать, и оставишь многое, что должно прочесть».[48]

С этим почти равнодушным отношением Удэна к познанию мира, к научной любознательности, к чтению книг полезно сравнить высказывания Ломоносова на ту же тему в «Письме о пользе стекла»:

По долговременном теченьи наших дней
Тупеет зрение ослабленных очей.
Померкшее того не представляет чувство,
Что кажет в тонкостях натура и искусство.
Велика сердцу скорбь лишиться чтенья книг;
Скучнее вечной тьмы, тяжелее вериг!
Тогда противен день, веселие досада.
Одно лишь нам стекло в сей бедности отрада.
Оно способствием искусныя руки
Подать нам зрение умеет чрез очки!
Не дар ли мы в стекле божественный имеем?
Что честь достойную воздать ему коснеем?

---

[48] Claude jam iibros: age, pertinaci
Fixa quid semper studio fatigas,
Et brevi durus nimis aegra fraudas
Lumina somno?...
Sed nec innubi licet orta coelo
Ipsa mens, veri studiosa, cunctas
Una per rerum penetrare partes
Speret eundo?...
Quin et obscuram deus ipse nubem
Objicit rebus: neque cuncta cunctis
Scire permittit, neque cuncta quovis
Tempore profert.
Multa quae frustra petimus, beatis
Ipsa se pandent animis nepotum:
Multa quae nobis patuere, patrum
Nesciit aetas.
Proinde tu tanti cupidas laboris
Mitte sis curas: fuge suspicari,
Si quid ignores, scelus esse dira
Morte piandum.
Quamlibet longos geminare tendas
Noctibus soles; neque tu, sciendum
Quidquid est, disces; neque non legenda
Plura relinques.

Еще прямее ответом па стихотворение Удэна является запись Ломоносова в одном из его черновиков, представляющая, впрочем, старинную — доломоносовского времени — пословицу:

Кто хочет много знать,
Тот должен мало спать.

Приведенными материалами достаточно ясно определяется различие между научной позицией Ломоносова и позицией тех, кого В. Л. Ченакал называет «самыми передовыми литературными деятелями Западной Европы», с которыми якобы Ломоносов «шел в ногу».

Возвратимся, однако, к вопросу о том, был ли Ломоносов знаком непосредственно с «Поучительными поэмами» во время своей работы над «Письмом о пользе стекла» или только знал о существовании этого сборника. Выше были приведены данные, основанные на датировке обоих архивных списков, в которых Ломоносов упоминал антологию Удэна, и высказано мнение, что «Поучительные поэмы» стали ему доступны лишь в начале 1760-х годов. Допустим, однако, что они были в руках Ломоносова, как утверждает В. Л. Ченакал, до начала или во время работы над «Письмом о пользе стекла». Как было отмечено самим В. Л. Ченакалом при характеристике антологии Удэна, среди «Поучительных поэм» имелась одна, посвященная барометру. Действительно, в т. III «Поучительных поэм» напечатано «Стихотворение Барометр» («Barometrum Carmen»), сочиненное иезуитом Л. Тома («auctore Lupo Thomas, S. J.»). Это довольно длинное произведение (453 стиха), в котором сперва подробно говорится о свойствах ртути, затем об изготовлении стеклянных трубок для барометра и самого барометра; подробно излагается опыт Торичелли, и характеризуется роль и значение барометра в жизни.

Казалось бы, в работе над «Письмом о пользе стекла», характеризуя применение и пользу барометра, Ломоносов мог так или иначе учесть ответ своего французского предшественника. Однако сопоставление соответствующих стихов из «Письма о пользе стекла» (стихи 354—366) показывает, что, кроме совпадений, неизбежных по самому характеру одного и того же материала, трактовка вопроса у русского поэта совершенно иная. Во-первых, у Ломоносова барометру уделено всего тринадцать стихов вместо 450 с лишним у Тома; сжато, кратко и конкретно определяет Ломоносов случаи в жизни, в которых ощущается помощь барометра. Есть это и у Тома, но менее выразительно, более растянуто и многоречиво. Однако главного нет у Тома, того, что́ представляло самое существенное для Ломоносова, — указания

на практическое значение барометра для крестьянского труда и для купеческих заморских плаваний:

> Коль могут счастливы селяне быть оттоле,
> Когда не будет зной, ни дождь опасен в поле!
> Какой способности ждать должно кораблям,
> Узнав, когда шуметь или молчать волнам,
> И плавать по морю безбедно и спокойно.
> Велико дело в сем и гор златых достойно!

Эти стихи, представляющие развитие образов, впервые употребленных Ломоносовым в оде на взятие Хотина (1739 г.) (стихи 254—257) и более подробно примененных в оде 1750 г. (стихи 211—220: «Наука легких метеоров»), показывают коренное различие между позицией иезуита Тома и Ломоносова и подтверждают полную самостоятельность русского поэта.[49]

Рассмотрение сборника «Поучительные поэмы» и отношения к нему Ломоносова заняло у нас много времени и места и, возможно, заставило читателя упустить из вида вторую книгу, отмеченную нами выше в списке под № 60, — «Рассуждение о происхождении и развитии шведской поэзии».

С этой книгой Ломоносов познакомился благодаря подробной рецензии на нее, помещенной в одном из февральских номеров «Геттингенских ученых ведомостей» за 1750 г. Для того чтобы стало ясно, почему эта книга привлекла внимание Ломоносова, необходимо привести и данную рецензию полностью. Прислана она была из Упсалы:

«Еще в декабре 1748 г. под председательством г-на П. Хюдрена состоялась защита диссертации г-ном Акселем Аксельсоном на тему «О происхождении и развитии шведской поэзии». Г-н А. высказывает сожаление по поводу того, что иноземцы составили себе неблагоприятное представление о шведской поэзии. Он указывает, что уже в глубокой древности скальды были в большом почтении и как в мирное, так и в военное время являлись важнейшими советниками и приближенными королей. Они обучали королевских сыновей, и среди последних Регнер Лодброк и Гаральд Хоодрад сами были поэтами; многие скальды происходили из самых знатных шведских семейств. Он прослеживает затем в хронологической последовательности развитие шведской поэзии в языческие времена, потом в период от принятия христианства по 1650 г. и, наконец, в новейшее время. Сам Один был великий поэт и впоследствии стал богом-патроном скальдов, но, по мнению г-на А., он не был самым древним поэтом, и Волюспа была сочинена во времена осады Трои. Впрочем, он признает, что это

[49] Сборник «Поучительные поэмы» был переиздан в Париже в 1813 г. с прибавлением дополнительного четвертого тома. Этого издания мне в Ленинграде найти не удалось.

последнее мнение, высказанное Рюдбеком, как и точное определение времени жизни старинных поэтов, очень трудно доказать. Многие произведения погибли, другие сохранились благодаря исландцам, которые уже с XII в. стали создавать поэтические сборники. Важнейшими составителями сборников были Сомунд Сигфюссон Аре и Фроде, но и из этого их сборника бо́льшая часть утрачена. Вместе с другими г-н А. полагает, что стихотворения из этих сборников и из сборника Снорро Стюрлесона ярко освещают историю, этику и мифологию северных народов. Они применяли стихи весьма различного характера. Они рифмовали или согласовывали друг с другом стихи не только по последним, но очень часто и по первым буквам, иногда в одном и том же стихе первое и последнее слово должно было быть одно и то же, иногда все стихи данного стихотворения начинались одной и той же буквой. Однако важнейшее свойство их стихотворства состояло все же в возвышенных благозвучных словах, сравнениях и фигурах, и поэтические произведения шведов, по мнению г-на А., нисколько не уступали в этом отношении никакому народу в свете. Еще долго после принятия христианства продолжали существовать скальды, но постепенно выдвигались вперед монахи, которые ввели свою манеру стихотворства вместе с рифмой. Последнее замечание очень важно, так как из него следует, что у северных народов не было рифмы и что она, в результате поисков, обнаруживается все-таки у немцев. Во времена короля Магнуса Смека начали вести государственную летопись, которую продолжали до царствования Густава I. Стихи этих времен наивны и не обработаны, рифмы не точны, и поэты не заботились о разнообразии последних. Сколько-нибудь похожая буква уже являлась подходящей рифмой, ударение и долгота слога также не принимались во внимание. Наконец, братья Олай и Лаврентий Петри занялись упорядочением шведской поэзии. Король Карл IX собственноручно писал летопись о событиях своего царствования во вкусе рифмованных хроник. Популярности шведской поэзии много способствовал своими комедиями и трагедиями Мессениус. Во времена Христины Шведской Шернхьельм поднял поэтическое искусство на значительную высоту, он был зачинателем зрелого периода шведской поэзии и, живя почти одновременно с немецким поэтом Опицом, сыграл роль последнего в Швеции. Из-за недостатка места мы не можем перечислить всех остальных многочисленных шведских поэтов, отметим только, что их во всяком случае порядочное количество и что г-н А. считает нескольких из них достаточно сильными, чтобы выдержать сравнение с иностранными поэтами».[50]

[50] «Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1750, 9. Februarius, 14. Stück, стр. 109—111.

В книге А. Аксельсона Ломоносову многое могло показаться интересным в качестве близкой параллели к истории русской поэзии. И здесь имелся период языческий, затем средневековый — монашеский с летописями, поэзией, похожей на силлабическое наше стихотворство, наконец, новый период, в котором роль Шернхьельма очень напоминала его собственную роль.

С поэзией древних скандинавов Ломоносов был достаточно хорошо знаком: в своих возражениях на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского» и в «Древней российской истории» он цитирует книгу Снорри Стюрлесона «Истории о северных королях», известную ему в латинском переводе И. Перингшельда по стокгольмскому изданию, которое он брал из Библиотеки Академии наук.[51] Известна была ему также «Сага об Олафе Трюгвасоне» («Historia Olai, Trygwae filii, in Norrigia») по латинскому переводу Я. Реенхьельма (Упсала, 1691).[52]

Древнейшие скандинавские предания, как, впрочем, и русские народные сказки, Ломоносов рассматривал с позиций литературной науки своего времени лишь как ненадежный исторический источник. Для него сказания, приведенные Снорри Стюрлесоном, не более чем «нелепые сказки о богатырях и колдунах»; они — «из таких басней, какова у нас о Бове-королевиче».[53]

Тем не менее книга Аксельсона вызвала интерес Ломоносова; очевидно, он надеялся в ней найти такие же полезные для себя материалы, какие были им извлечены из фактической части «Историй о северных королях» Снорри Стюрлесона.

Может возникнуть вопрос, почему Ломоносов отметил в своем перечне книгу А. Аксельсона как принадлежащую Хюдрену. Здесь не было ошибки. В европейской науке XVII—первой половины XVIII в. было принято цитировать диссертации под фамилиями не их авторов, а председателей заседаний, на которых происходила защита. С середины XVIII в. этот обычай стал нарушаться. В указателе к «Геттингенским ученым ведомостям» за 1750 г. «Рассуждение о происхождении и развитии шведской поэзии» отмечено как книга Аксия Аксельсона (стр. 2 непумерованная «Указателя»). Ломоносов же записал это произведение согласно обычным для его студенческих лет правилам. Эта форма записи свидетельствует о том, что поэт делал свои библиографические заметки непосредственно по тексту рецензий.

[51] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 6, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 558.

[52] Е. Б. Рысс и Г. М. Коровин. Ломоносов — читатель Библиотеки Петербургской Академии наук. «Труды Библиотеки Академии наук и Фундаментальной библиотеки общественных наук Академии наук СССР», т. III, М.—Л., 1958, стр. 295.

[53] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 6, стр. 39.

Книгой Аксельсона оканчивается подлежавшая нашему рассмотрению литературная часть второго архивного списка, датируемого началом 1751 г. Мы обратимся теперь к более позднему первому архивному списку, который, как было указано выше, должен быть отнесен к 1761—1762 гг.

IV

Из тринадцати книг этого списка только четыре относятся к области художественной литературы и истории литературы. Это «Библиотека польских поэтов» («Bibliotheca poetarum Polonorum»), «Извлечение из пословиц» Эразма Роттердамского («Erasmi Proverbiorum epitome»), «Эпиграммы» Дж. Оуэна («Oweni Epigrammata») и уже известные нам по предшествующему списку «Поучительные поэмы» («Poemata didascalica»).

Так как изданий «Эпиграмм» Оуэна и «Извлечения из пословиц» Эразма, близких по времени к дате составления первого архивного списка, нет, приходится предположить, что Ломоносов в данном случае отправлялся не от журнальной библиографии, как было сделано им при оформлении предшествующего перечня, а от каких-то других источников или, скорее всего, делал записи для заказа в общей форме, имея в виду не какое-либо определенное издание Эразма или Оуэна, а любое, которое академическому книжному комиссионеру удастся достать.

Полное название первой книги в этом списке таково: «Библиотека польских поэтов, писавших на своем родном языке» («Bibliotheca poetarum polonorum, qui patrio sermone scripserunt»). (Бреславль, 1755). Это алфавитный перечень польских писателей с краткими биографическими данными с перечислением названий их произведений. Автором этой книги, изданной анонимно, является известный польский ученый и общественный деятель Иосиф Андрей Залуский (1702—1774); на стр. 93 «Библиотеки польских поэтов» находится его имя, вслед за чем сказано: «который это пишу» («qui haec scribo»).

Включение Ломоносовым «Библиотеки польских поэтов» в число заказываемых книг следует поставить в связь с его записями в близком по времени первом «перечне Пекарского», где находятся имена польских писателей Кохановского и Стрыйковского. Отношение Ломоносова к польскому языку и польской литературе более подробно освещено в моей работе «Русско-польские литературные связи в XVIII веке» (М., 1958, стр. 23—24). Здесь мною высказано предположение, что фамилию Кохановский надо связывать с именем Яна, а не Петра Кохановского.

Неясно, почему в начале 60-х годов Ломоносову понадобились «Эпиграммы» Оуэна. Имя этого прославленного новолатинского

поэта-англичанина безусловно было известно Ломоносову ранее, хотя оно ни разу не упоминается в его произведениях и прочих материалах. Доказательством этого можно считать то, что в 1756 г. в «Ежемесячных сочинениях» (декабрь, стр. 585—587) было помещено восемь эпиграмм Оуэна с параллельными стихотворными переводами ученика Ломоносова Адриана Дубровского. Можно не сомневаться, что познакомил Дубровского с творчеством Оуэна именно Ломоносов на своих лекциях по стихосложению.

Джон Оуэн, или в латинизированной форме Аудоэнус (Audoënus, 1560?—1622), был одним из наиболее популярных новолатинских поэтов XVII—XVIII вв. Его остроумные и резкие нападки на католическую церковь доставили ему широкую известность, еще более распространившуюся после того, как его «Эпиграммы» были включены Ватиканом в «Индекс запрещенных книг».

Эпиграмма, известная в европейских литературах со времен античности (Марциал) и вновь вошедшая в моду в эпоху Ренессанса, приобрела у Дж. Оуэна типичные черты барочного жанра: это было уже не остроумие, а остроумничанье, не игра мысли, а трудолюбивое обыгрывание чужих мыслей, крылатых слов, известных афоризмов, привычных образов. На первых порах эпиграммы Оуэна кажутся забавными и привлекают своей замысловатой остротой и живостью, но вскоре они утомляют и приедаются, как беседа с человеком, который серьезно говорить не умеет или не желает и только острит. К Оуэну вполне подходит характеристика, данная Ломоносовым «новым» итальянским поэтам, которые «силятся не пропустить ни единой строки без острой мысли». И сам Оуэн признает, что некоторые его эпиграммы имеют вымученный характер. В эпиграмме «О себе самом. Поэту Сэм. Дэниэлю» он писал:

Коль эпиграммы мои неудачны, чему удивляться:
Ногти грызу я писав, темя с досады скребу.[54]

Тем не менее некоторые его произведения не лишены занятности. Вот несколько примеров из «Эпиграмм» Дж. Оуэна.

Ты, кто читаешь меня! Если все, что здесь есть, ты похвалишь,
В глупости я упрекну; в зависти — коль ничего.
(Coll. I, lib. I, 2)

Златой век

Если золота власть неизвестна была первым людям,
То почему этот век звали тогда золотым?
(Coll. I, lib. II, 53).

[54] Этот и все последующие переводы мои.

Патриоту

«Сладко и доблестно пасть за отчизну», — сказал нам Гораций.
Жить для отчизны своей сладостней, думаю я.
(Coll. I, lib. I).

Джону Хоскину, юрисконсульту, остроумнейшему поэту, о своей книге

Книга моя — это мир; и стихи в ней, мой Хоскин, – то люди.
В ней, как и в мире, мой друг, мало хороших найдешь.
(Coll. I, lib. I, 3).

К читателю, о самом себе

Может быть, краткость мою ты таланта сочтешь недостатком.
Можешь поверить мне, друг: кратко писать нелегко.
Нет, не похож я на тех, кто много и глупо болтает:
Речь моя, может, глупа, но уж зато коротка.
(Coll. I, lib. I, 158).

К читателям

Знаю, не всякому я читателю буду по вкусу;
Но и читатели мне будут по вкусу не все.
(Coll. III, lib. III, 124).

Отмеченная нами выше склонность Оуэна использовать популярные цитаты с тем, чтобы придать им новый и неожиданный поворот, привела к тому, что традиция стала приписывать ему знаменитое изречение «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» («Времена меняются, и мы изменяемся с ними»); произошло это потому, что в четвертом сборнике эпиграмм Оуэна (Coll. I, 58) находится эпиграмма:

O Tempora!

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis:
Quomodo? sit semper tempore pejor homo.

(«Времена меняются, и мы изменяемся с ними. Каким образом? Со временем человек становится все хуже»). На самом деле это изречение встречается в сборниках 1566 г.[55] и 1577 г.[56] Одно время автором этого стиха ошибочно считался Овидий.

[55] М. И. Михельсон. Русская речь и русская мысль, т. I, буква «Д», № 362.

[56] Dictionary of National Biography, v. XIV, стр. 1315.

Оуэна переводили на английский,[57] французский,[58] немецкий,[59] испанский,[60] польский, украинский[61] и другие языки. Был Оуэн известен и русским читателям. Кроме упоминавшихся выше переводов А. Дубровского (1756),[62] существуют анонимные переводы в журналах «Ни то ни сё» (1769, стр. 71 — «Знай себя», coll. I, lib. I, 8) и «Муза» (1796, ч. III, стр. 153 — «Что значит умереть?», coll. I, lib. I, 101; «Пустота», coll. II, lib. I, 5).

Среди неопубликованных эпиграмм наиболее значительного ученика Ломоносова — Н. Н. Поповского есть несколько, напоминающих эпиграммы Оуэна («На Калигулу», «На атеиста» и др.), но это не переводы, а скорее подражания английскому поэту.

Западноевропейские историки новолатинской литературы тщательно отмечают, что «Эпиграммы» Оуэна были переведены пять раз на английский язык, трижды на французский и по разу на немецкий и испанский[63] (эти сведения не точны — см. выше). Д. И. Чижевский сообщил сведения о переводах Оуэна на славянские языки: чешский, польский, украинский.

Однако едва ли в какой-либо другой литературе выпадал на долю Оуэна такой успех, как в русской. Правда, это был успех его произведений, а не его самого; правда, отдельного издания хотя бы избранных эпиграмм Оуэна у нас не было. Зато несколько его произведений в известном уже нам переводе А. Дубровского попали в одну из самых популярных русских книг конца XVIII—начала XIX в.

В знаменитом «Письмовнике» Н. Г. Курганова (1769 г.) были анонимно перепечатаны эпиграммы Оуэна «Пророки, поэты», «Смерть» и некоторые другие как в переводе А. Дубровского, так и, по-видимому, в переводе самого Курганова. «Письмовник» выдержал одиннадцать изданий — последнее вышло в 1837 г.

---

[57] Там же; Biographie universelle ancienne et moderne, t. XXXII, стр. 312.

[58] Catalogue général des livres impromés de la Bibliothèque Nationale, t. 128. Paris, 1934, стлб. 722—723; Biographie universelle ancienne et moderne, t. XXXII, стр. 312.

[59] E. Urban. Owenus und die deutschen Epigrammatiker des XVII Jahrhunderts. Berlin, 1900.

[60] Catalogue général des livres impromés de la Bibliothèque Nationale, t. 128, стлб. 723.

[61] D. Čiževskij. Aus zwei Welten. 's-Gravenhage, 1956, стр. 172—178: «John Owen and Ivan Velyčkovskyj».

[62] Им были переведены эпиграммы «Prophetae, poetae» (coll. I, lib. I, 31), «Mors» (I, 101), «In calvum» (I, 106), «Maritus, moechus» (I, 38), «Conjuges» (III, 124), «Homo» (III, 192), «De cornibus problema» — «Cornutus» (coll. II, 53). Эпиграмму «Maritus, moechus» А. Дубровский разделил на две.

[63] P. van Tieghem. La littérature latine de la Renaissance, стр. 139. Здесь имеются в виду отдельные издания.

Курганов перевел также одно из стихотворных посвящений Оуэну, которыми, по тогдашнему обычаю, друзья приветствовали поэта еще до выхода его книги в свет. Такие стихотворения печатались в самом начале книги; Курганов выбрал первое из них. Подписанное инициалами «D. Du. Tr. Med.»,[64] оно звучит по-латыни так:

Clericus es? legito haec; Laïcus? legito ista libenter;
Crede mihi, invenies hic quod uterque voles.

(Клирик ты? Это прочти. Мирянин? Прочти тем охотней.
Верьте мне: тот и другой, что им по вкусу, найдут).

Курганов перевел это двустишие довольно топорно, но тем не менее поместил его в качестве эпиграфа к своему «Письмовнику»:

Духовный ли, мирской ли ты? Прилежно се читай:
Все найдет здесь тот и другой; но разуметь смекай.

Не следует забывать, что Курганов был учеником Ломоносова,[65] и поэтому вполне возможно, что последний обратил также внимание составителя «Письмовника» на эпиграммы Оуэна.

В связи с интересом, проявленным Ломоносовым к «Эпиграммам» Дж. Оуэна, мне хочется высказать одно предположение.

В т. 3 «Полного собрания сочинений» Ломоносова напечатаны 127 заметок к теории света и электричества. Составление их комментатор (В. Л. Ченакал) вполне убедительно относит к апрелю—маю 1756 г., т. е. ко времени, когда (или около которого) ученик Ломоносова А. Дубровский перевел восемь эпиграмм Оуэна. Среди 127 заметок Ломоносова есть одна, не относящаяся непосредственно к теме работы и представляющая гекзаметрический моностих:

Si vir es atque vires, cape vires etcape vi res.[66]

Я. М. Боровский перевел этот стих так: «Если ты муж и процветаешь, то собери силы и силою бери вещи».[67] К последней фразе дано примечание: «В переводе оставлена без передачи стихотворная форма оригинала (гексаметр) и содержащийся в нем сложный каламбур (четырехкратное употребление сочета-

---

[64] А. И. Кирпичников в статье «Курганов и его „Письмовник"» указывает, что в первом издании эпиграф был выставлен латинский и после него находится фамилия автора: D. Collis, вероятно д-р Коллинз (А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы, изд. 2-е, т. I. М., 1903, стр. 54).

[65] М. В. Ломоносов, Сочинения, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 386 (второй пагинации). Правильнее было бы сказать — работал совместно с Ломоносовым и под его руководством (см. там же, стр. 255).

[66] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 3, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 238.

[67] Там же, стр. 239.

ния vires в различных смыслах)».[68] Точнее было бы сказать: разные комбинации из букв, образующих слово «vires». (Vir es — «ты — муж»; vires — «ты процветаешь», «находишься в расцвете сил»; vires — «силы»; vi res — «вещи силою»).

Первый вопрос, который встает перед нами: принадлежит ли это произведение Ломоносову? Не запись ли это какого-нибудь моностиха, встреченного им в процессе чтения и поразившего его своим содержанием и «остротою»? Очень уж напоминает эта игра слов излюбленные приемы Дж. Оуэна. Например:

Erasmus

Quaeritur unde tibi sit nomen Erasmus?
Eras mus.

Resp<onsum>

Si sum Mus ego, te judice, Summus ero.
(Coll. IV, lib. III, 34).

Эразмус

Спрашивается, почему ты носишь имя Эразмус?
Ты был мышью.

Ответ

Если я — мышь, то суди сам, я буду великим.

Суть этой в дословном переводе бессмысленной эпиграммы заключается в том, что имя Эразма Роттердамского (Erasmus), будучи разделено на две части, может быть переведено как «ты был мышь» («eras mus»), а слово «великий» — «summus», разделенное пополам, означает «я (есмь) мышь» («sum mus»).

Таких эпиграмм, в которых используются разные значения одних и тех же слов (главным образом имен) то при помощи разделения их на два слова, то путем перестановки букв (анаграммы Гален — ангел), то посредством замены в них одних букв другими (Mors — Mars, смерть — Марс; librorum — librarum, книг — фунтов стерлингов) и т. д., у Дж. Оуэна очень много.

Однако моностиха, находящегося в 127 заметках Ломоносова к теории света и электричества, в «Эпиграммах» Оуэна нет.[69]

---

[68] Там же.

[69] По крайней мере в том издании из собрания Библиотеки АН СССР, которым я пользовался: Epigrammatum Joan. Oweni Cambro-Britanni Oxoniensis Editio Postrema correctissima et Posthumis quibusdam adaucta. Wratislaviae, Jesaiae Fallgibeli, 1705. Здесь же и другой титульный лист: Joannis Oweni Epigrammata. Vratislawia, Mioh. Hubert, 1742, 240 стр.

Поэтому можно предположить, что либо моностих «Si vir es...» взят Ломоносовым из другого источника, либо принадлежит ему. В просмотренных мною работах о новолатинской поэзии (Маницнус, Ван Тигем) и статьях о моностихах мне не удалось обнаружить данной эпиграммы. Поэтому я склонен считать этот моностих произведением Ломоносова.

Если это предположение не ошибочно, то тогда надо отметить, что моностих «Si vir es...» — единственное латинское стихотворение Ломоносова, дошедшее до нас. И тогда надо подчеркнуть, что это не подражание неглубокому остроумничанью Дж. Оуэна, а настоящее соревнование с английским эпиграмматистом, состязание, из которого Ломоносов вышел победителем, создав произведение, содержащее высокую идею, полное подлинного мужества, воли к борьбе и победе:

Если ты — человек и сил пребываешь в расцвете,
Силы свои собери, силой свой подвиг сверши.

И все же вопрос о том, почему Ломоносов включал «эпиграммы» Оуэна в перечень книг, намеченных к выписке в начале 1760-х годов, остается нерешенным.

Оставляя в стороне «Извлечения из пословиц» Эразма Роттердамского и «Поучительные поэмы», отметим в первом архивном списке еще только одну книгу, притом не литературного и не литературоведческого характера, а языковедческого. Это старинный лексикон Джорджа Хикса (George Hickes, 1642—1715) «Грамматико-критический и археологический словарь древних северных языков» («Linguarum veterum septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archeologicus») (Оксфорд, Шельдон, 1705). Выписка этого словаря в начале 1760-х годов совпадает с явно повысившимся в это время у Ломоносова интересом к исследованию языков вообще, а также, возможно, связана с его прежними чтениями Снори Стюрлесона, занятиями древней русской историей и вниманием к книге А. Аксельсона о шведской поэзии.

V

Вслед за первым архивным списком, содержащим книги 1760—1761 гг., идет в хронологическом порядке первый «перечень Пекарского». Выше было указано, что второй «перечень Пекарского» является лишь извлечением из первого, расположенным в алфавитном порядке, и поэтому он представляет для нас интерес только относительный: из него мы узнаем, какие книги особенно привлекали Ломоносова. Основное же внимание следует уделить первому «перечню Пекарского».

В обширном первом «перечне Пекарского» среди ста двадцати восьми библиографических записей 1763 г. лишь немногим более двадцати относятся к художественной литературе и литературоведению. Как было уже указано выше, на этот раз Ломоносов пользовался преимущественно французскими библиографическими пособиями, скорее всего рецензиями и «литературными новостями» в «Journal des Savants», хотя тут же встречаются ссылки на немецкие и английские источники. Так, например: «Boscowich, Romae in 4°, bey Komarek» (№ 35), «The art of making common salt, bey Will. Browning. London» (№ 33) или «Theophrasts History of Stones by Joh. Hill. London» (№ 61). Этот признак «bey» (немецк.) и «by» (английск.), впрочем, не всегда может считаться безошибочным: № 60 записан с помощью немецкой и английской библиографической практики — «General natüral History by Joh. Hill. London, gedruckt by Osborn». Как по этой, так и по ряду других записей можно заключить, что, библиографически оформляя свои научные дезидерата, Ломоносов придерживался в основном немецких правил, учитывая, что выписка книг для Библиотеки Академии наук производилась через немецких комиссионеров.

Из книг по художественной литературе и литературоведению в первом «перечне Пекарского» больше всего указано античных авторов (Пиндар, Анакреон, Теофраст, Оцелл Лукан, Тацит, Цельз, Ювенал, Сенека), далее идут писатели французские (Мольер, Расин, Вольтер, Лафонтен, П. Бейль — «Критический словарь», «Коломбиада» г-жи дю Боккаж и др.); из польской литературы названы Стриковский (Стрыйковский) и Кохановский, из немецкой — Галлер (№№ 16 и 62) и Лейбниц («Теодицея»). Из англичан упомянут один только А. Поп («Опыт о человеке»).

Самым неожиданным в этом перечне представляется нам интерес, обнаруженный Ломоносовым к арабской литературе, казалось бы, столь далекой от круга его научных и литературных занятий. Под № 53 записано: «Historiae Egypti compendium Abdállatifi, editum von Thomas Hunt.», далее следует ломоносовская аннотация по-русски: «О! по латине и по арабски».

Эта запись крайне интересна. Дело в том, что «История Египта» арабского врача Абдаллатифа (1161—1231) очень высоко ценилась востоковедами XVII—начала XIX в. Его считали одним из самых великих историков Востока. «Точность его описаний и тщательность в устранении ошибок своих предшественников, — писал об Абдаллатифе французский ориенталист Жуардэн, — обнаруживают в нем человека в такой же мере высокообразованного, как и наблюдательного».[70] Европейским ученым «История

[70] Biographie universelle ancienne et moderne, t. I. Paris, 1811, стр. 52.

Египта» Абдаллатифа стала известна в XVII в. и была переведена Эд. Пококом (1604—1691) на латинский язык, но перевод этот был опубликован лишь в 1800 г. Не зная о работе Покока, другой английский ориенталист Томас Хёнт (1696—1774) в 1746 г. поместил в одном из научных журналов заметку о труде египетского историка и сообщил о своем намерении издать «Историю Египта» с параллельным арабским оригиналом и своим латинским переводом. Однако книга эта в свет не вышла, хотя перевод Хёнтом был доведен до конца.

Откуда попали к Ломоносову сведения о книге Абдаллатифа, сейчас я сказать не могу, хотя надеюсь на этот вопрос дать ответ через некоторое время.

Запись Ломоносова о книге Абдаллатифа могла бы показаться забавным курьезом, обособленно стоящим в круге его литературных интересов, если бы рядом с ней не было записи о другой арабской книге (№ 56): «Caab ben Zoheir carmen panegyricum in laudem Muhammedis, Leidae bei Haack» («Кааб бен Зохейр, похвальное стихотворение в честь Магомета. Лейден, у Хаака»).

Сведения об этой книге Ломоносов мог получить из разных источников. В № XC «Лейпцигских ученых ведомостей» за 1747 г. была помещена пространная рецензия на это издание, которая несомненно могла обратить на себя внимание Ломоносова, особенно тщательно следившего за критической библиографией этого журнала: «Лейден. У Корнелия Хаака (Haak), напечатана: Кааб бен Зохейр. Панегирическое стихотворение в честь Магомета, и Моаллаки Амралькейза, с примечаниями и латинским переводом Левина Варнера. С приложением Арабских изречений калифа Али. По рукописям Нидерландской библиотеки издал, перевел и снабдил примечаниями Герард Иоанн Летте. Весь труд занимает 65 с половиной листов; из них впервые издаваемым арабским стихотворениям, параллельному латинскому переводу и подстрочному арабскому комментарию отведен алфавит с полулистом, примечаниям г-на Летте — полтора алфавита, а также пол-листа посвящению его высочеству принцу штатгальтеру, предисловию и приветственному письму знаменитого профессора Схюлтенса, который воздает хвалу сочинителю и его труду.

«Первое арабское стихотворение принадлежит Каабу, сыну Зохейра. Оба они (и отец и сын) были знаменитыми поэтами и жили во времена Магомета, то есть в начале VII века нашей эры. Поводом к созданию данного стихотворения послужило следующее: Кааб чем-то провинился перед Магометом и притом в такой степени, что, когда тот овладел в 630 г. Меккой, он объявил поэта вместе с еще некоторыми лицами вне закона. Несмотря на это, Кааб пробился к Магомету, пал к его ногам, стал умолять

о милости и прощении и прочел то прекрасное стихотворение, о котором мы сейчас извещаем наших читателей; за это произведение ему не только была дарована жизнь, но и вручена награда. С этим стихотворением впервые ознакомил как Голландию, так и весь ученый мир доктор Райске, живущий в настоящее время в Лейпциге. Он нашел это произведение в 1737 г. в одной из рукописей Лейпцигской муниципальной библиотеки и сделал для себя копию. Около двух лет назад г-н Летте обратился к нему с вопросом, что из арабской литературы стоило бы, по его мнению, опубликовать, упомянутый д. Райске предложил ему это стихотворение, предоставив в его распоряжение сделанную им копию, по которой печатается как само стихотворение, так и арабский комментарий. Имя комментатора неизвестно. Несколько времени назад д. Райске предполагал, что автором комментария был знаменитый грамматик Тебризи, но сейчас он не намерен отстаивать это мнение. Сопровождающий арабскую версию латинский перевод выполнен г-ном Летте, в настоящее время проповедником реформатской церкви в Валькенбурге, селе неподалеку от Лейдена.

«Другое стихотворение является первым из семи стихотворений, пользующихся у арабов особой популярностью и называющихся Моаллакат, или вывешенные стихотворения, так как их вывешивали на стенах мечети в Мекке. Их сочинил один арабский владетель, который был потом изгнан своими подданными и бежал к византийскому императору Ираклию за помощью, в которой тот ему отказал. По преданию, Ираклий подарил ему для обратного пути одежду, которая была пропитана ядом и которая лишила его жизни. Он умер в окрестностях Анкиры. Его имя было Амралькайс. Содержание стихотворения не особенно высокого достоинства. Подробнее описывает он некоторые из своих любовных похождений. Приложенный латинский перевод взят из наследия ученнейшего и заслуженнейшего г-на Левина Варнера. В конце прошлого века этот выдающийся человек занимал должность голландского консула в Константинополе, составил изумительную коллекцию превосходно написанных восточных рукописей, которую он перед смертью подарил Лейденскому университету, вместе со множеством своих собственных произведений. Напечатанный под строкой арабский комментарий принадлежит Ибн Нахаси. Второе стихотворение состоит из 82 стихов, тогда как первое — из 58. Тем не менее примечания Летте к первому стихотворению оказались гораздо подробнее, чем ко второму, хотя, по правде сказать, стихотворение Амралькайса неизмеримо труднее для понимания, чем стихотворение Кааба. Примечания обнаруживают трудолюбие и достаточную начитанность их автора. Одной из целей издателя было по мере возможности пояснить

с помощью арабского языка еврейскую библию. Намерение это следует похвалить, хотя сил и необходимой проницательности ему не хватило. Во всяком случае должно поблагодарить издателя за то, что он выпустил в свет прекрасное и очень точное воспроизведение трудов, которые не всякий бы имел случай прочитать в рукописи. Пожелаем ему еще дальше успешно продолжать свою работу, которую он делает с таким трудолюбием. Но больше всего хотели бы мы, чтобы он употребил это трудолюбие на нечто более основательное и действительно полезное, как, например, на историю Востока, а не на пустое словесное крохоборство».[71]

Кроме подробной рецензии в «Лейпцигских ученых ведомостях», Ломоносову могла быть известна короткая аннотация об этой же книге в амстердамском издании парижского «Journal des Savants» за 1749 г.: «Эта коллекция состоит из трех маленьких поэм на арабском языке, впервые публикуемых; первая принадлежит Каабу, вторая — Амралькейзу, третью представляют „Изречения“ калифа Али, расположенные в алфавитном порядке. Эти „Изречения“ — иные, чем те, которые приведены в конце второго тома „Истории сарацинов“ Симона Оклея. Издание этих трех поэм сопровождено латинским переводом и примечаниями, в которых издатель поместил много любопытных материалов. В конце книги находятся три указателя: авторов, упоминаемых в примечаниях; анализируемых арабских слов; древнееврейских слов из священного писания, которые благодаря рассматриваемым в данном произведении арабским словам получают новое освещение».[72]

Трудно понять, почему вдруг Ломоносов обратил внимание на сборник, содержащий три произведения арабской классической литературы. Потому ли, что его вообще в это время заинтересовала почти неизвестная у нас арабская поэзия,[73] потому ли, что ему хотелось сопоставить панегирический род арабских стихотворений со столь близкой ему одой классицизма, — все это не больше чем гадания. Фактом остается то, что арабская литература занимала определенное место в круге литературных интересов Ломоносова. Обращает на себя внимание то, что и заметка Т. Хёнта о предполагаемом издании перевода «Истории Египта» Абдаллатифа, и стихотворение Кааб бен Захейра относятся

---

[71] «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», 1747, 9. November, № XC, стр. 802—804.

[72] «Journal des Savants», Amsterdam, 1749, Mars, стр. 123—424.

[73] См.: С. Г. Домашнев. О стихотворстве. «Полезное увеселение», 1762, июнь, стр. 242 («Стихотворство арапское»). Перепечатано в книге: П. А. Ефремов. Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867, стр. 194.

к 1746 г., а помечены они в списке, датируемом 1763 г. Значит ли это, что Ломоносов помнил эти произведения с 1746 г. или обратил на них внимание, перелистывая старые журналы?

Несколько слов необходимо сказать и о втором «перечне Пекарского»: из девятнадцати книг, вошедших в него, пять посвящены художественной литературе («Коломбиада» г-жи дю Боккаж, «Похвала грудям» дю Коммэна,[74] «Сокрушенное рабство, или общество вольных п<.......>в» Лекорвезье,[75] комедия «Женщина, которая права» Вольтера и его же поэмы «О естественной религии» и «На разрушение Лиссабона»), две — языкознанию («Испанская грамматика Франческо Собрино и его же «Испанский секретарь»), одна — литературоведению («Мифологический пантеон» Ф. Поме).

Понятно, почему Ломоносов включил поэмы и комедию Вольтера. Вероятно, в связи с возникшим у него желанием изучить испанский язык находится заказ двух книг Ф. Собрино. Как справочную книгу выписал Ломоносов давно известный ему «Мифологический пантеон» Поме, или, как его чаще называли у нас, Помея.

Особенно почему-то заинтересовала Ломоносова поэма г-жи дю Боккаж «Коломбиада, или вера, принесенная в Новый свет» (Париж, 1756). Эту книгу он включил в первый «перечень Пекарского», затем перенес во второй, но она прибыла в Петербург уже после смерти поэта: «Коломбиада» указана во втором счете Академической книжной лавки под апрелем 1765 г.

И хотя, по всей видимости, своего экземпляра этой французской поэмы Ломоносов не держал в руках, нас не может не занимать вопрос, чем же она так заинтересовала его.

Мари-Анна Фике дю Боккаж (1710—1802), ныне совершенно забытая французская поэтесса, при жизни пользовалась исключительным успехом. В ее честь слагались французские и латинские стихи. В одном из латинских стихотворений о ней было сказано:

Forma Venus, arte Minerva

(«внешностью — Венера, искусством — Минерва»). Фонтенель называл ее своею дочерью; Вольтер, когда дю Боккаж посетила его в Фернее, возложил на ее голову лавровый венок, сказав, не

[74] J. P. N. Du Commun. L'Eloge des tétons. Ouvrage curieux, galant et badin, composé pour les divertissements des dames. Avec plusieurs pièces amusantes. Cologne, 1759; Amsterdam, 1760.

[75] P. J. Le Corvaisier. L'esclavage rompu, ou la société des francpéteurs. A Pordepolis, à l'enseigne de Zephyr-Artillerie. Paris, 1756. За расшифровку двух последних справок, сообщенную мне Е. Б. Рысс по рукописи Г. М. Коровина «Библиотека Ломоносова», приношу ей благодарность.

без некоторого ехидства, что это единственный головной убор, который подходит к ее прическе. Она была принята в почетные члены Руанской, Лионской, Падуанской, Болонской академий и Академии аркадийцев в Риме. Речи и стихи, произнесенные при ее приеме в Академию аркадийцев, составили целый том. Пребывание дю Боккаж в Риме и Лондоне было сплошным триумфом, ее принял престарелый папа Бенедикт XIV и английский двор; ее наперебой приглашала итальянская знать и английские литераторы; директор Лондонского музея просил у нее разрешения украсить ее мраморным бюстом один из залов вверенного ему учреждения. Собрания сочинений дю Боккаж неоднократно издавались во Франции и других местах (1749, 1762, 1764, 1770 гг.) и были переведены на английский, немецкий, итальянский и испанский языки.

В России, кажется, на нее обратил внимание только Ломоносов: ни одного русского перевода с ее именем мне найти не удалось.

«Коломбиада» дю Боккаж из всех ее произведений пользовалась, по-видимому, наибольшим успехом. «Автора прежде всего хвалили за то, что она впервые — по крайней мере на французском языке — выбрала такой прекрасный сюжет, столь богатый местными красками, яркими и совершенно новыми в поэзии, дающий возможность использовать счастливые контрасты, противопоставляя нравы победителей и покоренного народа, — сюжет, в котором история обладает всею романичностью вымысла».[76]

Приведенная только что цитата несомненно заимствована из какой-то рецензии, появившейся в свет сразу же после опубликования поэмы дю Боккаж. Не исключена поэтому возможность того, что Ломоносов пожелал сравнить те стихи «Коломбиады», в которых дю Боккаж изображала завоевание Мексики испанцами, с соответствующим местом в своем «Письме о пользе стекла», написанном в 1752 г. «Мексиканскому» эпизоду Ломоносов уделил в своей поэме $^1/_{10}$ часть — 45 стихов (стихи 145—189) из 440, причем это едва ли не самые сильные, патетические стихи в поэме.

Ломоносов говорит о мексиканцах:

> Им оны времена не будут в век забвенны,
> Как пали их отцы для злата побиенны.

С гневом восклицает поэт: «О коль ужасно зло!» — и с негодованием и сарказмом спрашивает:

> На то ли человек
> В незнаемых морях имел опасный бег,
> На то ли, разрушив естественны пределы,

---

[76] Biographie universelle ancienne et moderne, t. IV. Paris, стр. 615.

На утлом дереве обшел кругом свет целый,
За тем ли он сошел на красные брега,
Чтоб там себя явить опасного врага?

И затем Ломоносов переходит к изображению военных действий испанцев против ацтеков:

Уже горят царей там древние жилища,
Венцы врагам корысть, а плоть их вранам пища!
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом и тиранством.
Иных свирепствуя в средину гонят гор
Драгой изрыть металл из преглубоких нор.
Смятение и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тираны,
Препятствовали им подземну хлябь крепить,
Чтоб тягота над ней могла недвижна быть,
Обрушилась гора: лежат в ней погребенны
Бесчастные! или по истине блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и мук!

Поэт рисует далее возвратный путь испанцев и их гибель в морских пучинах:

Оставив Кастиллан[77] невинность так попранну,
С богатством в отчество спешит по океану,
Надеясь оным всю Европу вдруг купить.
Но златом волн морских не можно утолить.
Подобный их[78] сердцам борей подняв пучину,
Навел их животу и варварству кончину,
Погрязли в глубине, с сокровищем своим,
На пищу преданы чудовищам морским.
То бури, то враги толь часто их терзали,
Что редко до брегов желанных достигали.

Но у Ломоносова нет и тени злорадства в связи с гибелью испанцев; согласно его этической концепции, конец этот столь же печален, сколь и закономерен:

О коль великой вред! От зла рождалось зло!

Таким образом, Ломоносова «американская» тема привлекла не только тем, что она давала еще раз возможность воздать хвалу стеклу, противопоставляя его роковому желтому металлу:

Виной толиких бед бывало ли стекло?
Никак! Оно везде наш дух увеселяет,
Полезно молодым и старым помогает.

---

[77] Испанец.
[78] Испанцев: «Подобный их сердцам», т. е. жестокий.

Вводя испано-американский эпизод в свою поэму и уделяя ему такое значительное место в композиции произведения, Ломоносов несомненно стремился вынести свой отрицательный приговор не только над действиями испанцев в Америке в прошлом, но и над колонизаторскими методами англичан в Индии, португальцев в Африке и т. д. Вероятно, именно в связи с этим кругом проблем внимание Ломоносова привлекали такие книги, как «Заметки об истории христианства в Индии» Ла Кроза и другие произведения, обычно носящие мало выразительные названия «Собрание путешествий» (напомним, что эту серию Ломоносов выписывал через Академическую книжную лавку),[79] но содержащие много сведений по истории захвата европейцами заморских колоний.

Мы видим, таким образом, что в отличие от «Коломбиады», в которой современники ценили эффектные и красочные элементы сюжета, контрастность и романическую яркость эпизодов, новизну экзотического материла, к которому обратилась дю Боккаж, «Письмо о пользе стекла» Ломоносова использует «американскую тему» в целях публицистических и этических. Кстати, очень существен вопрос: в духе какого литературного направления написан этот раздел поэмы Ломоносова? Неужели у кого-нибудь повернется язык назвать в данном случае барокко?

VI

Помимо списков книг, составлявшихся по разным поводам и разным причинам самим Ломоносовым, в качестве источников его литературной осведомленности могут быть использованы списки книг, которые поэт брал из Библиотеки Академии наук. Материалы эти частично сохранились и подробно описаны Е. Б. Рысс и Г. М. Коровиным в статье «Ломоносов — читатель библиотеки Петербургской Академии наук».[80]

Хотя записи сохранились лишь за несколько лет (1745, 1753—1755 и 1761—1762 гг.), они все же дают дополнительный и иногда очень ценный материал, вполне подтверждающий сделанные ранее наблюдения. И здесь на первом месте стоят писатели античные (Пиндар, 1745 и 1761 гг.; «Двенадцать древних панегириков», 1753, 1754 и 1761 гг.; Плиний, «География» Птолемея, «География» Страбона, «История» Геродота, 1753 г.; Демосфен), затем идут византийские, скандинавские и польские историки и т. д. Новостью в этом разделе оказывается книга «Scriptores Re-

[79] П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова, стр. 741 (о томах 13—17).

[80] «Труды Библиотеки Академии наук и Фундаментальной библиотеки общественных наук Академии наук СССР», т. III, стр. 282—302.

rum Hungaricarum veteres ac genuini» («История Венгрии у писателей античных и венгерских») (1746 г.).

Однако мы остановимся не на какой-либо неизвестной книге в этом списке, а на довольно популярном еще во времена Ломоносова новолатинском писателе — М.-А. Мурете, сочинениями которого русский поэт очень интересовался: «Речи и творения» Мурета Ломоносов взял в Библиотеке Академии наук в 1753 г., и эта книга оставалась у него до его смерти, после чего была возвращена вдовой поэта в библиотеку.

Марк Антуан Мюре (Muret), или в латинизированной форме Марк Антоний Мурет (Muretus), (1526—1585) — франко-итальянский ученый-гуманист, считавшийся выдающимся новолатинским прозаиком и поэтом. Восхищавшиеся его блестящими ораторскими произведениями и превосходными стихами современники часто сравнивали его с Цицероном и Вергилием:

Ты как поэт столь велик, ты столь славен, Мурет,
как оратор,
Что Цицерон и Марон может быть имя твое.

В другом стихотворении анонимный почитатель Мурета писал: «Если бы тебя, столь великого оратора, произвели древние времена, твоя красноречивая манера говорить сделала бы тебя почти бессмертным. Если бы тебя, столь великого поэта, знали древние времена, твоя благозвучная муза была бы почти бессмертна. Но если тебя произвели эти столетия одновременно поэтом и оратором, ты будешь нашим Цицероном и Виргилием. Потомство часто будет называть тебя Цицероном, тебя постоянно и в мыслях, и в письме будут именовать Виргилием». Еще один его панегирист находил, что в произведениях Мурета соединились «изящество, нежность, важность и величие», имея в виду охарактеризовать первыми двумя словами поэтические, вторыми — ораторские творения этого ученого.

Но «потомство» оказалось более суровым к «Виргилию — Цицерону» — Мурету: в нем видели только очень удачного имитатора своих античных образцов и отказывались признать за ним какое-либо индивидуальное дарование.

Должно быть, Ломоносов не разделял этой точки зрения и ценил в Мурете и оратора, и поэта. Своим ученикам наряду с эпиграммами Оуэна Ломоносов, несомненно, рекомендовал и эпиграммы Мурета: тот же А. Дубровский, который перевел восемь эпиграмм новолатинского поэта-англичанина, перевел три эпиграммы Мурета: «У древних баснь сия за правду утвердилась», «Двоякий пламень жжет внутрь стихотворцев кровь». «Как солнце при дожде свой луч от нас скрывает».[81]

[81] «Ежемесячные сочинения», 1756, июль, стр. 31—32.

Однако можно предположить, что Ломоносов обращался к Мурету в 1753 г. не в первый раз. Основанием для подобного допущения, помимо исключительно широкой популярности Мурета в XVII—XVIII вв., является еще и то, что в одном из очень известных произведений Ломоносова, можно, как мне кажется, найти своеобразную полемику — соревнование русского поэта с «новым Виргилием».

У Мурета есть небольшое стихотворение, которое озаглавлено «В начале дня» («Sub exortum diei»). В первых шести стихах поэт с помощью мифологических образов рисует картину утра, завершающуюся тем, что Феб-солнце прогоняет последние ночные потемки. После этого Мурет обращается к Христу, «сиянью Отца», с просьбой наполнить его, поэта, истинным светом и изгнать из его груди потемки.

Вот это стихотворение в более или менее точном переводе:

В начале дня

В небо пурпурных коней росистая гонит Аврора,
Чтоб приготовить вперед солнцу сверкающий путь.
Ночи молчанье давно нарушили певчие птицы,
И почти ни одна в небе не блещет звезда.
Феб лучезарный встает, изо рта извергающий пламя,
Плотным потемкам ночным прочь удалиться велит.
Божье сиянье, Христос! Меня истинным светом наполни
И из моей груди тьму навсегда изгони!

Как легко заметить, композиционно это стихотворение распадается на «языческую» и «христианскую» части. «В начале дня» можно понять двояко: либо как реальную, но через мифологические образы воспринимаемую картину утра, когда солнце прогоняет ночные тени; либо как аллегорическое изображение борьбы идей Возрождения с предшествовавшим периодом средневековья. Но и в том и другом случае Мурет противопоставляет внешнему свету солнца внутренний «истинный свет» религии, который должен изгнать из сознания поэта «потемки», обитающие в его груди.

Обратимся теперь к ломоносовскому «Утреннему размышлению о божием величестве». Оно на первый взгляд не имеет ничего общего или имеет мало общего со стихотворением Мурета. Только то, что и там и тут перед нами утренние размышления поэтов. Образы и содержание стихотворения Ломоносова совершенно иные: подробного описания рассвета и восхода солнца здесь нет. Поэт сразу вводит нас в суть дела:

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И божии дела открыло.

И далее следует «аргумент»-основание для постановки главного вопроса, возбуждающего научную пытливость поэта:

Чудеся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждатель сам.

После этого идут восемнадцать стихов, в которых Ломоносов излагает свою теорию солнечной материи.

Затем неожиданно начинаются стихи, которые являются, так сказать, анахронизмом в изображаемой Ломоносовым картине: если первые два стиха утверждают, что

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли,

то логично ли через двадцать два стиха писать:

От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес...

и т. д.? Следующая строфа вводится стихами:

Светило дневное блистает
Лишь только на поверхность тел,
Но взор твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.

И, наконец, завершается «Утреннее размышление о божием величестве» строфой:

Творец, покрытому мне тьмою,
Простри премудрости лучи...

Если из стихотворения Ломоносова мы гипотетически удалим вторую, третью и четвертую строфы, в которых развивается теория строения солнца, то перед нами будет разработка той же темы, что и у Мурета, с той только разницей, что у Ломоносова бог — зиждитель деистического характера, а у новолатинского поэта — полностью бог христианский: «Christe, Patris splendor!» — обращается к нему Мурет («Христос, сияние Отца!»).

Вполне возможно предположить самостоятельное «изображение» Ломоносовым темы «утреннего размышления» и объяснить совпадения в обоих стихотворениях «общностью материала». Это будет справедливо и не вызовет сомнений в тех местах, где изображается восход солнца, освобождение лица земли от «мрачной ночи» и т. д. Но когда Ломоносов говорит: «Творец, покрытому мне тьмою, Простри премудрости лучи», тогда уже не может быть сомнения в том, что он знал стихотворение Мурета и помнил его последнюю строчку:

Atque meo tenebras pectore pelle procul
(«И из моей груди тьму навсегда прогони»).

По-видимому, дело обстояло так: стихотворение Мурета натолкнуло Ломоносова на мысль создать собственное «Sub exortum diei» («В начале дня»), и сперва было написано стихотворение в четыре строфы (1, 5—7), а затем Ломоносов включил в это произведение свою теорию солнечной материи, чем придал «Утреннему размышлению о божием величестве» совершенно самостоятельный, оригинальный характер. Явная прежде связь со стихотворением Мурета после этого стала почти незаметной. Этим, вероятно, и объясняется, что многие современники Ломоносова, знавшие, конечно, данное произведение Мурета, не обратили внимания на связь «Утреннего размышления» со стихотворением «В начале дня».

Выдвигая предположение о зависимости «Утреннего размышления» Ломоносова от стихотворения Мурета, мы ни в какой мере не видим в этом факте признака творческой слабости русского поэта. Он был человеком своего времени и хорошо помнил, как и многие его современники, стихи Овидия:

> Difficile est proprie communia dicere...
> («Трудно своими словами рассказать то, что является общим достоянием»).

Эту «трудность» в разных планах и плоскостях решали русские и западные предшественники и современники Ломоносова; решал ее в разных случаях и он. Вероятно, решал он ее и в данном случае.

Нами были рассмотрены библиографические материалы Ломоносова начала 50-х и начала 60-х годов XVIII в. Даже беглый анализ немногих отобранных нами данных показывает, что круг литературных интересов Ломоносова выходил далеко за пределы обычных наших представлений о нем как поэте. Еще в молодые годы он внимательно изучает (пусть, как полагают исследователи, через французский перевод) «Лусиады» Камоэнса и даже переводит отрывки из этой поэмы на русский язык. Его интересует «Дон Кихот» Сервантеса, Петрарка, польские писатели, поэзия скандинавских народов, наконец, поэзия арабов. Он свободно владеет латинским языком, который открывает ему сокровища античной, средневековой и новоевропейской литературы. Он пользуется для своих чтений —научных и литературных — немецким, французским, английским, итальянским и польским языками. Он владеет древнегреческим и древнееврейским. Незадолго до своей смерти он задумывает заняться испанским языком. Возможно, список, начинающийся словами «Португальская грамматика, лексикон, Камуэнс» и содержащий перечисление еще пяти языков (испанского, ирландского, голландского, шведского и дат-

ского), представляет следы широких планов этого гениального человека.

Но как бы гениален он ни был, он был сыном своей эпохи, и именно этой эпохе был свойствен интерес к литературам разных народов. Во Франции издавался «Иностранный журнал» («Journal étranger»), в котором регулярно печатались сведения о различных европейских литературах, в том числе и о русской. Свои литературные интересы Ломоносов удовлетворял при посредстве рецензий в ученых журналах, а затем и самих книг, о которых он там узнавал.

Проявляли интерес к иностранным литературам и Тредиаковский, и Сумароков, и другие современники Ломоносова, например С. Г. Домашнев, автор «первой истории всеобщей литературы» на русском языке. Но ни у одного из перечисленных лиц мы не встречаем такого широкого размаха и такой остроты интереса к иностранным литературам, как у Ломоносова.

Удивительно ли это? Ведь мы имеем дело с самым великим явлением русской культуры первых двух третей XVIII в.

Г. А. ГУКОВСКИЙ

ЛОМОНОСОВ-КРИТИК

I

Огромное значение гениального труда Ломоносова во всех почти областях культуры, влияние его многосторонней деятельности на русскую литературу, на все дальнейшее развитие русского образования, русской поэзии, русского языка — давно уже по заслугам оценены и нашей наукой, и нашим общественным мнением вообще. Гений Ломоносова провел глубокую борозду в самой русской жизни, и из зерен, посеянных им в многочисленных сферах умственной деятельности, вскоре возникли богатые всходы. Ломоносов создал новую русскую науку, развернул огромную работу по расширению и углублению русского просвещения, он заложил основы современного русского литературного языка, впоследствии завершенного Пушкиным. Он создал первый русский университет. «Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом», — по слову того же Пушкина. Среди разнообразных научных и литературных трудов Ломоносова его занятия проблемами современной русской литературы в плане теоретическом и критическом занимают далеко не первое и не одно из первых, но все же заметное место. Прежде всего Ломоносов был ученым-естествоиспытателем; затем он был поэтом; затем он был языковедом и языкотворцем. Собственно литературная теория, а тем более критика отходили в общей сумме его творческого труда на второй план. Ведь даже о стихах своих он говорил как о деле второстепенном, хотя он был великим поэтом, и поэзия была свойственна его мышлению, его природе органически. А все же он включил в свою «Грамматику» такой пример на одну из синтаксических категорий: «Стихотворство — моя утеха; физика — мои упражнения».[1]

Среди филологических трудов Ломоносова наиболее значительны, наиболее глубоки и ценны его работы языковедческого характера. Конечно, по условиям литературного развития той

---

[1] Здесь и далее цитаты из прозаических произведений приводятся по изданию: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952.

эпохи и они имели важнейшее значение для писателя, и они сыграли роль необходимой для литературы языковой школы. В иных случаях даже трудно отделить ломоносовские разработки вопросов языка от его литературных, поэтических выступлений; таково, например, положение с замечательным и знаменитым «Предисловием о пользе книг церковных в российском языке». Однако основной языковедческий труд Ломоносова, его «Российская грамматика», все же непосредственной программной направленности поэтического характера не заключает. К сожалению, Ломоносов далеко не осуществил всех своих планов лингвистических сочинений. Судя по краткой наметке его замыслов, среди них были и такие, которые могли иметь гораздо более близкое соприкосновение с вопросами литературной критики. Эта краткая наметка дошла до нас в виде наброска под названием «Филологические исследования и показания, к дополнению грамматики надлежащие»; текст его таков: «1. О сходстве и переменах языков. 2. О сродных языках Российскому и о нынешних диалектах. 3. О Славенском церковном языке. 4. О простонародных словах. 5. О преимуществах Российского языка. 6. О чистоте Российского языка. 7. О красоте Российского языка. 8. О синонимах. 9. О новых Российских речениях. 10. О чтении книг старинных и о речениях Нестеровских, новогородских и протч. лексиконам незнакомых. 11. О лексиконе. 12. О переводах». В этой широкой и разнообразной программе филологических исследований ряд пунктов, по-видимому, не мог не соприкасаться с проблемами стилистическими и не мог не относиться к практике современной Ломоносову русской литературы (таковы во всяком случае пункты 5, 6, 7 и 12). Но о содержании этих пунктов мы можем только гадать, и то весьма неполно, на основании других, написанных Ломоносовым работ. По-видимому, Ломоносов не осуществил своих планов. В 1756 г., перечисляя свои труды за предыдущие годы, он писал, что «сочинил письмо о сходстве и переменах языков».[2] Однако эта статья его, соответствующая первому пункту плана филологических исследований, до нас не дошла. Об остальных замыслах мы ничего не знаем; скорей всего, Ломоносов вовсе не реализовал их.

Из работ Ломоносова, посвященных теории литературы, центральное место занимает его «Риторика», известная нам в двух редакциях, отличающихся и объемом, и отчасти содержанием; первая, краткая, не изданная в XVIII в., носила название «Краткое

---

[2] П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 303; М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 10, Изд. АН СССР, М.—Л., 1957, стр. 392.

руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1744); вторая, составляющая довольно большой том, изданный в 1748 г., называется «Краткое руководство к красноречию, книга перьвая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поезии». За этой первой частью должны были последовать еще две, посвященные особо учению о художественной прозе и о поэзии; но Ломоносов не написал их. «Риторика» Ломоносова — это, в основном ее содержании, традиционный учебник, использующий широко труды предшественников автора, и западных, и русско-украинских. Тем не менее эстетическая установка Ломоносова, стилистические требования, предъявленные им поэту, достаточно ясно выразились в изложении его книги. К обеим редакциям «Риторики» примыкает, как часть не написанной Ломоносовым поэтики, более раннее, еще присланное им в 1739 г. из Германии в Академию наук в Петербург и неизданное при жизни автора «Письмо о правилах российского стихотворства», установившее на основе реформы русского стиха, произведенной Тредиаковским в 1735 г., и в то же время в острой полемике с ним окончательные формы новой, тонической метрики в русской поэзии; это «Письмо», опирающееся на поэтический опыт и на теоретические положения науки Запада, в частности на работы Готшеда, однако, тоже дает материал, характеризующий и эстетические позиции Ломоносова, и его отношение к проблемам развития отечественного искусства.

Особо важное и принципиальное значение имеет ломоносовское «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», предпосланное им первому тому собрания его сочинений, вышедшему в свет в 1757 г. в типографии Московского университета под редакцией Хераскова, под наблюдением И. И. Шувалова и при участии самого автора. В этой программной статье Ломоносов не только высказался определительно о характере русского литературного языка, его исторических источниках и стилистических принципах его применения в поэзии, но и заострил свою позицию полемически — по отношению к литературным доктринам своих современников, в частности Сумарокова с его учениками. Суждения эстетического, стилистического и критического порядка заключены также в поэтических произведениях Ломоносова, от торжественных од до эпиграмм на литераторов-современников, а также в его письмах.

Некоторые замечания эстетического содержания могут быть извлечены из текста неоконченной и необработанной речи Ломоносова 1764 г. — «Слова благодарственное на освящение Академии художеств». Поэтическая и критическая позиция раннего, молодого Ломоносова уточняется на основании его пометок и замечаний на полях припадлежавшего ему экземпляра метрического

трактата Тредиаковского 1735 г.[3] Наконец, к вопросам критики имеют некоторое касательство еще два текста Ломоносова, во-первых, это статья «О должности журналистов» (1754 г.), написанная по-латыни, но дошедшая до нас только во французском переводе; Ломоносов подвергает в ней критике западноевропейских рецензентов: и хотя речь в ней идет не о литературной журналистике и критике, а только о периодических изданиях и рецензиях академически-научного типа, некоторые ее положения бросают свет и на отношение ее автора к аналогичным проявлениям жизни художественной литературы. Во-вторых, это начало статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» (1755 г.). Ломоносов написал очень немного и из этой статьи, не более страницы, и все же мы можем судить по этому наброску о некоторых его установках: ведь это — начало статьи, прямо трактующей вопросы литературной современности. К тому же до нас дошел набросок плана, по-видимому, относящийся к той же статье, а именно: «1. Против грамматики. 2. Какофония: брачные браку. 3. Неуместа словенщизна: дщерь. 4. Против ударения. 5. Несвойственные. 6. Лживые мысли. Способы: натура, правила, примеры, упражнения, довольно я сделал то и то...».[4]

Очевидно, что первая часть работы должна была быть посвящена критико-полемическому рассмотрению современной Ломоносову поэзии, в частности творчества Сумарокова, а вторая — его положительной программе, указаниям «способов» достижения поэтического совершенства[5] и, наконец, самозащите против нападений литературных противников, автоапологии. В первой части Ломоносов, по-видимому, группировал подвергаемые им осуждению факты по категориям теоретическим; он предполагал остановиться на материалах, вызывавших с его стороны полемику филологическую в узком смысле (пункт 1), затем полемику стилистическую — по линии благозвучия и вообще гармонии речи (пункт 2) и по линии лексики (пункт 3), затем, после вопроса метрического (пункт 4), он переходил к полемике по содержанию, касающейся «несвойственных» мыслей (т. е., вероятно, тем, не подходящих, по мнению Ломоносова, к данному жанру) и «лживых» мыслей (т. е. идей, вообще отвергаемых Ломоносовым).

У нас нет данных, чтобы судить сколько-нибудь полно о том, на кого именно напал бы Ломоносов в этой статье; ее название

[3] Эти пометки и замечания изучены П. Н. Берковым в книге «Ломоносов и литературная полемика его времени» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1936).

[4] П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени, стр. 153.

[5] Как уже указал П. Н. Берков (Ломоносов и литературная полемика его времени, стр. 159), эти «способы» соответствуют тому, что на эту же тему говорится в «Риторике» 1748 г. (§ 2 «Вступления»).

указывает как будто на более или менее широкий круг материалов полемики, равно как отброшенный Ломоносовым вариант начала статьи: «Предпринимая описание нынешнего состояния словесных наук в России...» (выражение «словесные науки» соответствовало тогда по значению нынешнему «литература»). Обобщающий характер имеют и зачеркнутые варианты заглавия статьи: «О чистоте российского штиля» и «О новых сочинениях российских». Несомненно во всяком случае, что произведения Сумарокова должны были подвергнуться в данной работе полемической критике; скорей всего именно Сумароков и был главным, основным объектом критического нападения в ней, может быть даже если не единственным, то почти единственным. Именно он в середине 1750-х годов был наиболее актуальной, активной и новой фигурой в поэзии. В то же время он был, с точки зрения Ломоносова, перебежчиком, он покинул знамена самого Ломоносова, учеником, единомышленником и другом которого он был в 40-х годах, покинул, чтобы утвердить собственную поэтическую программу, во многом противоположную ломоносовской.

В 50-х годах Сумароков и Ломоносов были врагами, и литературными, и вообще идейными, и личными, и полемика между ними приобрела характер острых, иногда резких и личных взаимных выпадов, впрочем всегда восходящих к принципиальным разногласиям. В написанном Ломоносовым начальном отрывке статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» уже содержится и определение значения своей собственной литературной и филологической деятельности и противопоставление ей вредной, по мнению Ломоносова, деятельности Сумарокова и как поэта, и как критика, нападающего на Ломоносова, и как писателя, собравшего вокруг себя целую школу молодых учеников, коллективная сила которой вызывала опасения Ломоносова. Именно влияние Сумарокова на молодежь, вероятно, побудило Ломоносова задумать свою статью, долженствовавшую противоборствовать этому влиянию, дискредитировать Сумарокова в глазах его учеников: дело шло о борьбе за молодую русскую поэзию завтрашнего дня. Впрочем, Ломоносов не назвал здесь Сумарокова, как он не назвал бы его, вероятно, и в ненаписанном тексте всей статьи, согласно обычаям того времени, легче допускавшим самые резкие нападки и брань по адресу литературных неприятелей, чем открытое указание их имен.

Ломоносов писал: «... легко рассудить можно, коль те похвальны, которых рачение о словесных науках служит к украшению слова и к чистоте языка особливо своего природного; противным образом коль вредны те, которые нескладным плетеньем хотят прослыть искусными и, осуждая самые лучшие сочинения, хотят себя возвысить; сверх того, подая худые примеры своих не-

зрелых сочинений, приводят на неправый путь юношество, приступающее к наукам, в нежных умах вкореняют ложны понятия, которые после истребить трудно или вовсе невозможно. Примеров далече искать нет нам нужды. Имеем в своем отечестве». «Незрелые» сочинения и воздействие на молодежь — эти признаки ведут нас к Сумарокову и только к нему (к Тредиаковскому они относиться не могут). К нему же ведут нас указания плана статьи; Ломоносов дает в нем две сокращенные цитаты: «брачные браку» и «дщерь» (последнее слово, по его мнению, применено неуместно, как славянизм). Обе эти цитаты, по-видимому, относятся к одному тексту Сумарокова, а именно к первым стихам его трагедии «Синав и Трувор» (1750 г.), где Гостомысл (стихи 5—7) говорит:

Уж к браку олтари цветами украшенны
И брачные свещи в светильники вонзенны:
Готовься, дщерь моя, готовься внити в храм.

Вероятно, слово «дщерь» вызывало возражение Ломоносова именно в устах отца, разговаривающего с дочерью, т. е. в тексте, не допускающем подобной «высокости»; напомню, что, по теории трех стилей Ломоносова, трагедии, как и все вообще театральные сочинения, в которых требуется «обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия», необходимо было писать «средним штилем»; между тем «средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым» («О пользе книг церковных»). Следовательно, среди других особенностей стиля Сумарокова в его творческой практике Ломоносов осудил использование славянизмов, не соответствующее взглядам, сформулированным им теоретически и примененным в его, ломоносовской, практике.

Ломоносов был полемистом, бойцом по натуре, непримиримым по отношению к своим идейным и литературным противникам, беспощадным в научных и поэтических схватках с ними. Ему была свойственна тактика нападения, и ему, без сомнения, хотелось со всей резкостью обрушиться на неприемлемые для него литературные явления современности в критической открытой форме. Это он и думал сделать в статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России». Однако же он так и не написал этой статьи и, может быть, не только из-за отсутствия времени.

Есть основания полагать, что Ломоносов считал в принципе критику недостатков современной ему литературы, как и критику недостатков наук вообще, делом сомнительным и едва ли полезным. В статье «О должности журналистов» он склоняется, в сущности, к такому взгляду, предлагая журналисту излагать труды

рецензируемых им ученых и всячески ограничивая его право критики, а тем более полемики. В начале статьи он, как просветитель, приветствует свободу суждений, свободу философских разысканий, ниспровергнувшую иго умственного рабства, но тут же добавляет (и это — главная его мысль), «что злоупотребление этой свободой было причиною весьма ощутительных зол». Вероятно предположение, что Ломоносов считал полезной и правильной покровительственную систему культурной политики, согласно которой, в частности, в России еще рано было развертывать отрицательную критическую деятельность и, напротив, следовало поощрять молодые побеги литературы, еще непрочной и хрупкой. Такая точка зрения существовала в русской литературной жизни в течение всего XVIII столетия и даже несколько позднее. Так или иначе, Ломоносов не оставил нам законченных и полных критических работ, предпочитая выражать свои критические мнения либо косвенно, в общих теоретических руководствах, либо в текущей рукописной полемике, не предназначенной для печати и не развертывающей своих положений доказательствами и пояснениями.

В своей деятельности теоретика литературы Ломоносов исходил из задачи развития литературного творчества, без которого государство лишается славы и блеска. Тезис о значении литературы для славы государства для Ломонсова — не только и даже не столько констатация теоретического положения, сколько программа, диктующая определенное отношение к проблемам творчества современных русских писателей и деятелей искусства вообще. Эта программа отрицает интимное искусство, личные «узкие» темы, исключает из круга ответственных явлений литературы, например, любовную поэзию; все это не имеет прямого отношения к государственным задачам искусства. Эта же программа требует тематики наставительной, гражданской, общезначимой и, разумеется, соответственного стиля. Она требует некоего патетического утилитаризма от искусства. Резко напав на Сумарокова в 1760 г. по поводу похвалы ему со стороны некоего французского литератора — дипломата Лефевра,[6] Ломоносов писал, иронически повторяя выражение Лефевра «Génie créateur»: «Génie créateur! Новое изобретение выдумал Пчелку и посылал ее по мед на стрелку, чтобы при том жалила подьячих! Изрядный нашел способ в крапиву испражняться. Génie créateur! Сочинял любовные песни и тем весьма счастлив, для того что вся молодежь, т. е. пажи, коллежские юнкера, кадеты и гвардии капралы так ему и следуют, что он перед многими из них сам на ученика их

[6] П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени, стр. 258.

походит. Génie créateur!». Очевидно, что Ломоносов презирает успех, основанный на столь мелочном и неважном, по его мнению, деле, как сочинение любовных стихов, так же как он считал недостойным поэта — государственного деятеля заниматься мелкой чисткой недостатков жизни, сатирой на подьячих.

Поэтическая практика Ломоносова поясняет его эстетическую позицию. Правда, когда он был еще студентом, он писал лирические, любовные стихи в духе западной анакреонтики. Но когда он вернулся в Россию и принялся за свое дело построения русской науки, он больше не принадлежал себе, а принадлежал государственной идее, и поэзия его стала поэзией больших государственных тем по преимуществу. И в поэтической форме Ломоносов характерным образом выразил свое отношение к задачам русской поэзии, отношение, по-видимому, критически заостренное против Сумарокова и его школы, — в «Разговоре с Анакреоном». Это развернутое противопоставление своего идеала поэзии поэтической практике «приятного» и интимного лично-человеческого искусства. В первой же своей поэтической реплике Анакреон отказывается воспевать героев, так как его гусли (лира) поневоле велят ему петь только любовь. Не такова творческая установка Ломоносова. Он отвечает певцу любви, вина и беззаботных радостей, что ему, наоборот,

Струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум.
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

В другом стихотворении Анакреон славит веселье старичка, не желающего тужить ни о чем. Ломоносов отвечает сравнением Анакреона с величественным и суровым республиканцем-гражданином Катоном, отдавшим свою жизнь за отечество. Он отказывается сделать вывод из этого сравнения, но трудно сомневаться, что Катон с его героическим патриотизмом и «упрямкой славной» является в глазах Ломоносова победителем в этом состязании.

Наконец, знаменательна и последняя пара стихотворений «Разговора». Анакреон обращается к живописцу с просьбой написать портрет его возлюбленной и сам дает в переводе Ломоносова описание обольстительной девушки. Ломоносов в своем ответе также обращается к живописцу, чтобы он нарисовал для него олицетворение России, потому что его любимая — это Россия.

Гражданственная, государственная литературная программа Ломоносова является основой двух идейных построений, выдвину-

тых им как задачи и требования, обращенные к собственному его творчеству и к современной ему русской поэзии и русскому искусству вообще. Первое из этих построений — это требование от русских деятелей искусства признания высшей ценности русского языка, русской истории, русской государственности, равных самым знаменитым явлениям европейской истории, и прославления России в ее культуре. Он призывает русских деятелей искусства отказаться от античной тематики, общераспространенной в искусстве всей Европы, но, по мнению Ломоносова, уже надоевшей и неактуальной, — во имя национальной тематики.

В «Слове благодарственном» 1764 г. он восклицает: «О коль великое удивление и удовольствие произвести может Россия помощию художеств в любопытном свете, который едва уже не до отвращению духа чрез многие веки повторяет древние греческие и римские по большей части баснотворные деяния. Украсятся домы вашего величества и другие здания не чужих, но домашних дел изображениями, не наемными, но собственными рабов ваших руками». Усилия Ломоносова в организации русской литературной речи в ее соотношении с церковнославянскими элементами направлены на то, чтобы «отвратить» русских людей от «диких и странных слова нелепостей», входящих «к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще чрез латинский» («О пользе книг церковных»).

Еще в 1739 г., в первой своей работе о поэзии, Ломоносов выдвинул тезис «Первое и главнейшее мне кажется быть сие: российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству; а того, что ему весьма не свойственно, из других языков не вносить» («Письмо о правилах российского стихотворства»; этот тезис повторяет положение Тредиаковского). Впрочем, Ломоносов и в 1739 г., и позднее, и в самом своем стремлении исходить из особенностей родного языка следовал опыту западной культуры и не только практически широко черпал из этого источника, но и теоретически рекомендовал учиться у других народов — именно в целях построения своего искусства; ибо создание своего национального искусства он мыслил в рамках и по законам общечеловеческих норм, уже осуществленных западными культурами; он писал там же: «Понеже наше стихотворство только лишь начинается, того ради, чтобы ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, кому и в чем лучше последовать».

Второе построение, вытекающее из основы гражданственно-государственной эстетики Ломоносова, построение, оказавшее решающее влияние на всю русскую литературу XVIII в., построение не новое, не впервые установленное Ломоносовым, но укрепленное им в плане лингвистических уточнений, — это концепция

иерархии «высоты», классифицирующей все элементы поэтического искусства. Для искусства XIX в., начиная с Пушкина, мир, действительность едины в принципе, и каждый элемент мира оценивается единым судом конкретной идеи; един и круг форм искусства, соотнесенный с вещами действительности и не подчиняющийся никаким априорным нормам. Иначе для Ломоносова. Он делит все явления мира на ряд восходящих ступеней достоинства. Все, прикосновенное к государственной структуре и власти, все, вознесенное к категории общего, сверхличного — «высоко»; все частное, личное, только человеческое либо относится к «среднему» бытию, либо даже низменно. Конь, лошадь — нечто высокое, если на нем едет глава государства, и изображение его, следовательно, попадет в оду, — а поэтому он должен быть и высоко назван, обозначен высоким словом, и та же лошадь низменна, если она везет дрова для отопления частного дома, и, значит, попадает в сферу сатиры или комедии или эпиграммы, — и тогда она должна быть названа низким словом.

Все дело — не в самих вещах, а в категориях, дающих им функцию высокого или низкого. В жизни возвышенно то, что гражданственно, и более или менее низменно все частное, личное и просто человеческое. Эта иерархическая схема определяет деление мира искусства. Высокая сфера бытия воплощается высоким жанром, а высокий жанр воплощается в высоком стиле. Жанр — это и есть категория иерархичности, в которой сомкнута классификация действительности как темы с классификацией искусства как стиля. Сама же классификация оценочна и гражданственна по существу. Поэтому высокий стиль и высокие жанры признаются наиболее ценными, наиболее важными, в конечном счете — единственно важными. Поэтому же писатели, насаждающие средние и низкие жанры, в первую очередь Сумароков и его ученики с их любовными песнями, баснями, эпиграммами, комедиями, даже трагедиями, относимыми к средним жанрам в качестве изображения человеческих судеб, признаются Ломоносовым малоценными и даже вредными: они могут внушить мысль о значительности незначительного, лишить высшего ореола изображение не личного, не человеческого, а общего колоссального бытия величественной государственности, культуры, общечеловеческого творчества, нации, всего того, что и составляет суть ломоносовской оды.

Концепция иерархии высокого в точных формах жанровой и лингвистической классификации пронизывает все теоретическое, критическое и поэтическое наследие Ломоносова; наиболее сжато и отчетливо она выражена в так называемой теории трех штилей, изложенной в статье «О пользе книг церковных в российском языке». Понятно, что эта статья, по видимости общетеоретическая, имела в виду дискредитацию поэтов, выдвигавших средний и низ-

кий стиль на первый план, т. е. Сумарокова и его школу, и, наоборот, апологию поэзии самого Ломоносова.

В этой статье Ломоносов излагает свои мысли о началах русского языка. Он считает исторической основой русской литературной речи церковнославянский язык, через который русская культура непосредственно восприняла традиции культуры греческой, античной и византийской. Церковнославянский язык, по мнению Ломоносова, будучи древним языком образованности, не отторгнут от национального языка, как это было с латынью для народов Запада.

Исходя из этого построения, Ломоносов уточняет по линии словарного состава деление стилей литературной речи на высокий, средний и низкий. Это деление — в соответствии с жанрово-тематическим делением литературных произведений — было известно теории литературы со времен Квинтилиана; оно было принято и теоретиками XVII столетия, и школьной традицией украинско-русских риторик и пиитик, усвоенной Ломоносовым еще в Славяно-греко-латинской академии. Но именно Ломоносов ввел в теорию трех стилей точные критерии лингвистического определения каждого стиля по признаку словаря, предписанного каждому из них, в частности по признаку законообразного распределения в них просторечно-русских и церковнославянских элементов. При этом Ломоносов мыслит каждое слово как отдельный замкнутый элемент идеи, тональности, высоты, независимый от контекста в своем стилевом достоинстве. Язык он представляет себе как механическое соединение отдельных и самостоятельно существующих слов по законам грамматики. Смысл речи складывается из слов, как здание из кирпичей, как сумма из определенных величин. Но общее, сумма слов, контекст не может повлиять на «высоту» слова. Поэтому не предметы делятся по «стилям», а слова. Механистичность мышления здесь сочетается с представлением о слове как о самостоятельной понятийной функции, отражающей не только предмет, но и категорию «высоты», включающую предмет, сам по себе идейно аморфный, в ту или иную сферу — высокого, среднего или низкого.

Ломоносов делит все слова русского языка на три группы. Первая из них — это слова, общие церковнославянскому и русскому языку; например: бог, слава, рука, ныне, почитаю. Ко второй «принадлежат слова, кои хотя еще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, взываю. Неупотребительные и весьма обветшалые отсюда выключаются, как, обаваю, рясны, овогда, свене и сим подобные. К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, ручей, который, пока, лишь». Иначе говоря, слова третьего рода — это чисто русские слова. Далее Ло-

моносов пишет: «От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий. Первой составляется из речений славено-российских, то есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых. Сим штилем составляться должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях, которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешными европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных.

«Средний штиль — состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великой осторожностью, чтоб слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова; однако остерегаются, чтобы не опуститься в подлость. И словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную разность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского просто народного. Сим штилем писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия. Однако может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, еклоги и елегии сего штиля больше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных.

«Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славянском диалекте, смешивая со средними, а от славенских общенеупотребительных вовсе удаляться, по пристойности материи, каковы суть комедии, увеселительные епиграммы, песни; в прозе дружеские письма, описания обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению».

Таким образом, различие стилей, соотнесенное с системой различных жанров, основывается по Ломоносову, на лингвистическом различии словарных пластов русского языка. И здесь сразу же необходимо подчеркнуть самое важное: Ломоносов своей теорией не только не подчиняет русский язык церковнославянскому, не только не отказывается от родной речи во имя старинного книжного языка, но делает нечто как раз обратное. Он включает славянизмы в состав русского языка как его неотъемлемое достояние, обогащающее его. Вернее, он знает, что славянизмы уже вошли в русский язык, слились с ним, и он принимает их и ассимилирует их русской речью. При этом он считает нужным поступать так только с теми славянизмами, которые вошли в языко-

вое сознание русского грамотного человека; у него нет фетишизации славянизмов именно как старинных, церковных, феодальных слов, характерной для реакционной языковой политики «архаистов» начала XIX в.; поэтому Ломоносов отвергает «обветшалые» слова церковнославянского языка, вроде «обаваю» (очаровываю), «рясны» (ожерелье), «овогда» (иногда), «свене» (кроме). Ломоносов своей теорией сузил круг славянских слов, допустимых в русской литературной речи, по сравнению со старой традицией. Но отказаться от славянизмов Ломоносов не хотел и не мог, и он поступал правильно, потому что отказ от славянизмов был бы нигилистическим отказом от нескольких столетий русской культуры, во многих своих проявлениях выраженной в формах славянской речи.

Следует отметить, что в молодости Ломоносов, подобно молодому Тредиаковскому и опираясь на западных теоретиков, считал нужным основывать стиль литературы на языковой разговорной практике своего времени и объявил войну славянизмам, речевой архаике. В своем экземпляре трактата Тредиаковского 1735 г. он подчеркивал славянизмы и архаизмы в тексте книги, например: надлежит, посвящаю, предприемлет, то, тя, мя, такожде, токмо, тако, ибо, вем, буде зришь, паче, бо (он добавил многозначительно на полях в этом случае: «свене, бохма»);[7] иногда он предлагал свои замены славянских выражений русскими, более разговорными, например вместо «на земли» — «на земле», вместо «бо» — «вить», вместо «утре» — «завтра» (сбоку помечено «во утрие»).

Однако Ломоносов вскоре отказался от этого уклона своих стилистических исканий, подобно Тредиаковскому обратился к традиции славянизмов и утвердил ее теоретически и практически как один из двух устоев русского литературного языка. Ломоносов требовал от русского писателя тщательного изучения литературы и языка старой традиции и тем самым имел в виду разоблачить молодых дворян-поэтов типа Сумарокова, обнаруживавших не очень глубокие познания в церковнославянском языке (и в этом он совпал с Тредиаковским, за это же бранившим Сумарокова).

Наследование старославянской языковой культуры и усвоение ее литературной речи было для Ломоносова не только обогащением выразительных средств русской поэзии. Оно заключало, по его взгляду, еще две положительные тенденции и идеи. Во-первых, оно давало возможность создать ту высокую, оторванную от низменной повседневности государственную стилистическую среду, к которой стремился Ломоносов; религиозная и социальная функция славянизмов в их многовековом бытовании в России обеспечивала за ними эту «высоту». Во-вторых, оно охраняло и

[7] См. там же, стр. 56.

укрепляло преемство античной, в частности древнегреческой, культуры в русской речи. Церковнославянский язык усвоил формы и колорит древнегреческой речевой культуры. Русский язык, через церковнославянский, усваивает их же; это обеспечивает русской речи самую благородную культурную подоснову. Богатство «речений и выражений разума» русским языком «больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский ... Отменная красота, изобилие, важность и сила еллинского слова коль высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители ... Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славенском языке, коль много мы от переводу Ветхого и Нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцев канонов видим в славенском языке греческого изобилия, и оттуду умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно» («О пользе книг церковных...»).

Ломоносов считает, что именно греческая подоснова выгодно отличает русскую культурно-речевую традицию от западной, основанной на традиции латыни, притом католической средневековой латыни. «Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские, по большей части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены. Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский» (там же). Именно славянская стихия, укрепленная греческим наследием, служит, по Ломоносову, объединителем всех диалектов русского народного языка, является речевым символом и реальным орудием общенационального культурного единства русской государственности. Таким образом, если западным культурам пришлось восходить к норме прекрасного, закрепленной в античной культуре, языке, поэзии через преодоление языковой и культурной раздробленности и вообще варварской стихии языков средневековья, то Россия, по Ломоносову, находится в более благоприятном положении. Древняя традиция ее языка непосредственно связывает истоки ее культуры с миром античной нормы, и, для того чтобы воспарить в этот мир речевого идеала, русской культуре надо не черпать его извне, а извлечь его из недр собственного языкового богатства.

Между тем Ломоносов утверждал, что русский и церковнославянский — это два различных языка, хотя и родственных между собой. Это был вопрос, весьма важный для решения основных

проблем русского литературного стиля. Признание раздельности двух языков существенно ограничивало использование славянизмов, а именно ограничивало его только теми элементами, которые вошли в русское языковое сознание. Здесь Ломоносов разошелся с концепцией Тредиаковского 1740—1750-х годов (отразившейся впоследствии в теории Шишкова). Тредиаковский утверждал, что русский и церковнославянский — это, в сущности, один и тот же язык, что русский язык есть производное от своей основы — славянского и что, следовательно, нет и не может быть границ между обоими языками, нет и не может быть принципиального ограничения использования славянизмов в русской литературной речи. Так, например, доказывая, что следует писать в окончании именительного падежа русских прилагательных мужского рода во множественном числе не *-ые*, *-ие*, а *-ыи*, *-ии*, он говорил: «Неправильным называю окончание прилагательных множественное мужское на *е* ради сличия и сходства, по самой большой части, славенского с нашим языка, о котором всем весьма есть известно, что он нашему источник и корень, и с которым наш мало нечто разнится» («Примечания на предложение о множественном окончании прилагательных имен», 1746 г.).[8] На это Ломоносов в своих «Примечаниях» на рассуждение Тредиаковского отвечал: «Хотя в славенском языке мужеские прилагательные имена множественного числа в именительном падеже кончатся на *и*, однако из того не следует, чтобы в великороссийском языке имели они такое же окончание: ибо славенский язык от великороссийского ничем столько не разнится, как окончениями речений. Например, по-славенски единственные прилагательные мужеские именительные падежи кончатся на *ый* и *ий*: богатый, старший, синий; а по великороссийски кончатся на *ой* и *ей*: богатой, старшей, синей. По-славенски: сыновом, делом, руце, мене, пихом, кланяхуся; по-великороссийски: сыновьям, делам, руки, меня, (мы) пили, (они) кланялись».

Эта же разница в понимании проблемы славянизмов сказалась в поэтических разногласиях обоих деятелей русской литературы. Так, Тредиаковский осуждал поэтическую практику Ломоносова, свободно объединявшего в одном тексте и русские и славянские элементы речи. Он учил Ломоносова уважению к славянизмам, как будто бы сам Ломоносов не пропагандировал и не применял их широко. Между тем здесь не было недоразумения. Как ни обильны славянизмы у Ломоносова, он не придает им характера исключительной нормы, не подменяет русский язык славянским, стремится к равновесию и сочетанию русских и славянских эле-

[8] См.: Сочинения М. В. Ломоносова, т. IV, Изд. АН, СПб., 1898, примечания, стр. 12—13.

ментов даже в высоком слоге, где русский язык дает систему и фон, базу, а славянский — краски высокости и национального традиционализма. Тредиаковский же не допускает такого дублирования элементов, требуя во всех случаях дублетных формул выбирать славянскую. Он писал в полемических стихах (около 1755 г.):

Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный;
Увидит, что там коль не за коли, но только
Кладется — как и долг — в количестве за сколько.
Не голос чтется там, но сладостнейший глас;
Читают око все, хоть говорят все глаз;
Не лоб там, но чело; не щеки, но ланиты;
Не губы и не рот, уста там багряниты;
Не нынь там и не вал, но ныне и волна.
Священна книга вся сих нежностей полна.
Но где ему то знать? он только что зевает,
Святых он книг отнюдь, как видно, не читает.
За образец ему в письме пирожный ряд,
На площади берет прегнусный свой наряд,
Не зная, что писать у нас слывет иное,
А просто говорить по дружески — другое.
Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги чище нам писать, коль и возможно.
В гражданском и доднесь, однак не в площадном,
Славенском по всему составу в нас одном,
Кто ближе подойдет к сему в словах избранных,
Тот и любее всем писец есть и не в странных.
У немцев то не так, ни у французов тож:
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский.[9]

Следует сказать, что Ломоносов в зрелые годы тоже не стремился в высоком стиле писать так, как говорят, в частности как говорят светские дворянские «щегольки» и как говорят в деревне крестьяне. Он тоже имел в виду создание особой нормы книжко-поэтической речи, возносящейся над всяческим просторечием. Но его норма была русской, сколько бы она ни включала славянизмов любого рода, а не славянской, как рекомендовал Тредиаковский. «Подойти ближе», как только можно, к славянскому языку в гражданской современной речи Ломоносов не считал обязательным. В этом было разногласие. Еще в «Риторике» 1744 г. Ломоносов писал о стиле церковной проповеди: «Проповеднику стараться должно, чтобы при важности и великолепии своем слово было каждому понятно и вразумительно. И для того надлежит убегать старых и неупотребительных славенских ре-

[9] Там же, т. II, Изд. АН, СПб., 1893, примечания, стр. 138—139. Ср.: «Библиографические записки», 1859, № 17, стр. 518—520.

чений, которых народ не разумеет, но притом не оставлять оных, которые хотя в простых разговорах не употребительны, однако знаменование их народу известно». К тому же норма языка и для зрелого Ломоносова — стилистически предписанная законом «высоты» — грамматически выводилась из речевой практики, «употребления». Стиль (значит, по Ломоносову, и словарь) обоснован нормой жанра, грамматические формы — нормой употребления. В цитированных уже «Примечаниях на предложение о множественном окончении прилагательных имен» (1746 г.) Ломоносов писал: «Из сего всего явствует, что к постановлению окончений прилагательных множественных имен никакие теоретические доводы не довольны; но как во всей грамматике, так и в сем случае одному употреблению повиноваться должно». А в посвящении к своей «Грамматике» он говорил о грамматике вообще, что «хотя она от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению».

II

Всей своей литературно-критической деятельностью Ломоносов стремился насадить в России определенный идеал поэтического искусства, определенное понимание поэзии и творчества поэта. Для него поэзия — это сфера высокого по преимуществу, это проповедь величественной гражданственной и научной мечты, стремящая дух читателя ввысь, вооружающая его героическим вдохновением, отрывающая его от повседневной обыденщины и убогой реальности. Он строит идеал искусства, ослепляюще великолепного, пышного, вдохновенного, одухотворенного видением грядущего грандиозного расцвета Родины. В поэзии он не ищет обычного, естественного и простого, сухо-логического, подобно правоверным сторонникам классицизма, хотя идеи классицизма во многом близки ему. Он ищет в поэзии необычайного напряжения творческих сил, взрыва эмоций, величия образов, обилия их, богатства впечатлений. Поэт — для него не мастер холодного разумного расчета, не строитель ясных доказательств в поэтически организованном слове, но прежде всего пророк, вдохновенный мечтой о величии человека и государства, оторвавшийся от земли, вознесшийся в горние пределы творчества и фантазии. Основная лирическая тема од Ломоносова, предписанная им теоретической концепцией их автора и образующая их тон, их эмоциональную основу, — это «восторг». Носителем этого восторга является душа поэта, пребывающая в состоянии аффекта, вознесенная к небесам, к Парнасу; земные, низменные предметы не предстают ее взору, восхищенному зрелищем идеального бытия России; все в ее глазах является увеличенным, ослепительным,

возведенным в достоинство более чем только лично-человеческого. Восторженный поэт руководим в своем пении (он не говорит, а именно «поет», «воспевает») не только разумом, но и восхищением. Его воображение парит, пролетает пространство, время, подобно молнии освещает сразу многочисленные темы и идеи. В свои оды Ломоносов часто вводит прямое описание восторженного состояния поэта, он вознесен к небу, пронзает мыслью эфир, грядущее и минувшее раскрывается его духовному взору, небеса разверзаются над ним, и он слышит голоса великих людей прошлого и т. д.

В соответствии с таким пониманием высокой поэзии Ломоносов предъявляет требования и к ее стилю, к ее построению. Красота слога, по его мнению, заключается не в простоте, не в иллюзии естественной разговорной или научной речи, а в особом, эстетически препарированном его облике. «Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению», — так начинает Ломоносов изложение своей «Риторики» (1748 г., § 1), в ряде мест которой выразилось его литературно-стилистическая программа.

Поэзия, ее стиль, ее слог должны быть «украшены», т. е. эстетической обработке и эстетическому «возвышению» подлежат простые, неукрашенные элементы единичной повседневной реальности, дающей темы искусству. «Сила в украшении риторическом есть такова, каковы суть пристойные движения, взгляды и речи прекрасной особы, дорогим платьем и иными уборами украшенной» (§ 168). «Украшение есть изобретенных идей пристойными и избранными речениями изображение. Состоит в чистоте штиля, в течении слова, в великолепии и силе оного» (§ 164).

Великолепие и сила — вот требования Ломоносова, предъявляемые им поэзии, ее образной структуре, ее стилю. Сюда же относится обилие, «изобилие», как говорит Ломоносов, а также «важность», «возвышение», «стремление». Согласно с этим, Ломоносов подробно излагает традиционное риторическое учение о развитии словесных тем, составляющее исходный пункт его построений. Он полагает, что необходимо всеми способами обогащать художественную речь, «распространять» ее. Ему нужно в искусстве многое, а не достаточное. Он дает практические советы, как создавать обширную фразу-период. Каждое существенное слово-тема должно обрасти целой сетью зависимых словесных тем, привлеченных по ассоциациям воображения, не столько поясняющих, сколько служащих впечатлению всеобъемлющей грандиозности образа и мысли поэта. «Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу совображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие,

как-нибудь с нею сопряженные, например: когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурею — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни, и так далее. Сие все действуем силою совображения, которая, будучи соединена с рассуждением, называется остроумие ... Отсюда видно, что чрез силу совображения из одной простой идеи расплодиться могут многие, а чем оных больше, тем в сочинении слова больше будут изобилия» (§§ 23 и 24). Мало того, Ломоносов рекомендует не только и не столько логическое сцепление образов и тем, сколько стихию эмоциональных и образных столкновений их, ломающих оковы обычного в самом ходе мысли. «Сопряжение многих противных и несходственных распространяет слово с немалым увеличением, важностию и силою» (§ 70).

Понятно, что Ломоносов считает существенным и необходимым элементом организованной поэтической речи фигуры и тропы. Метафоры, риторические фигуры и тому подобное он рассматривает как мерило достоинства поэтического слога: наилучший, в особенности высокий, слог мыслится как наиболее насыщенный ими. Таким же образом Ломоносов настоятельно советует вводить в текст произведения «витиеватые речи», т. е., как определяет их сам Ломоносов, «предложения, в которых подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным, или чрезъестественным образом, и тем составляют нечто важное и приятное». Далее развертывается теория блестящей игры словами (pointe). Ломоносов заботился и о придании блеска, великолепия живописной и даже музыкальной стороне речи; он дает советы писателю относительно благозвучия, перечисляет все «недочеты» языка, могущие нарушить его музыкальность (неблагозвучие отдельных словосочетаний у Тредиаковского он отметил еще в молодости; см. его заметки в экземпляре трактата 1735 г.).[10]

Тот же характер эстетики вдохновенного полета мысли и воображения ввысь, над реальностью обыденного и личного, имеют и указания Ломоносова, относящиеся непосредственно к образному содержанию литературного произведения, к «вымыслам», которым он посвятил в «Риторике» целую главу и которые он определил так: «Вымыслами называются предложения, которых действительно на свете не бывало или, хотя и были, однако некоторым отменным[11] образом» (§ 148).

При всем том Ломоносов стремится свести воедино «вымыслы», «чрезъестественное» сочетание образов и «разум». Просветитель,

---

[10] Например, Ломоносов подчеркивает в словах «чрез затей» оба «з» или в словах «Красн бы ... честн бы» — «снб» и «стнб» и т. п. (см.: П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени, стр. 58).

[11] Т. е. другим, отличающимся.

мыслитель, не чуждый рационализма, Ломоносов, разумеется, верует в логическую основу всякой духовной деятельности. Поэтому он включает в обе свои «Риторики» как бы целый краткий курс логики, полагая, что логика может и должна сильно помочь писателю, в особенности же ритору, оратору. Ведь цель оратора — убедить слушателей, и без логической убедительности достигнуть ее нельзя. Но все же Ломоносову чужда исключительность культа разума, исключительность апелляции к нему. Его эстетика, построенная «разумно», оперирует в еще большей степени понятиями чувств, эмоций, страстей, к которым обращается и поэт и ритор и без воздействия на которые всяческая логика остается холодной. Ломоносов — противник холодного искусства чистой разумности, искусства спокойной ясности.

Еще в середине 1730-х годов он порицал Тредиаковского за холодность (пометы «affectatum et frigidum» и «paraphrasis frigida» на полях трактата 1735 г.).[12] В «Риторике» 1748 г. Ломоносов так начинает особую главу «О возбуждении, утолении и изображении страстей»: «Хотя доводы (т. е. логические доводы, — *Г. Г.*) и довольны бывают к удостоверению о справедливости предлагаемыя материи, однако сочинитель слова должен сверх того слушателей учинить страстными к оной ... Итак, что пособит ритору, хотя он свое мнение и основательно докажет, ежели не употребит способов к возбуждению страстей на свою сторону или не утолит противных?» (§ 94). Конечно, и ортодоксальный классицизм признавал воздействие искусства на эмоцию, признавал связь искусства с эмоцией. Но он отвергал законность и ценность страсти, толкуемой им как непокорная и неразумная стихия; с другой стороны, он не позволял даже более упорядоченным и законопослушным эмоциям делаться основанием эстетического построения и семантики слова: поэтическое слово и поэтическое произведение должно было для него разумно истолковывать самую эмоцию; оно должно было вводить эмоцию в рамки нормы, сковывать ее разумом. Иначе у Ломоносова: для него важнейшая функция искусства — именно «приводить в страсти», и эта функция должна пронизывать все звенья художественного организма, в частности композиции, несущей все большее и большее усиление страсти. «Сим следует главное дело, то есть самая сила к возбуждению или утолению страстей и действие красноречия. Оно долженствует быть велико, стремительно, остро и крепко, не первым токмо стремлением ударяющее и потом упадающее, но беспрестанно возрастающее и укрепляющееся» (§ 99). Отсюда и «острые и крепкие» образы: «Больше всех служат к движению

---

[12] П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени, стр. 62. Перевод: «аффектировано и холодно», «холодная парафраза».

и возбуждению страстей живо представленные описания, которые очень в *чувства ударяют*, а особливо как бы действительно в зрении изображаются. Глубокомысленные рассуждения и доказательства не так чувствительны, и страсти не могут от них возгореться; и для того с высокого седалища разум *к чувствам свести должно* и с ними соединить, чтобы он в страсти воспламенился (курсив наш, — *Г. Г.)*» (§ 100). Следовательно, разум в искусстве уступает чувствам страсти как основным носителям эстетического воздействия.

Ломоносов сам хорошо понимал, каким злоупотреблениям надутой искусственной риторики могла открыть дорогу его концепция высокого искусства; поэтому он остерегал писателя от бессмысленного использования его советов. Он писал: «Умножительное распространение пополняет слова, а не надувает или растягивает. В сем погрешают многие из новых сочинителей, когда, отложив меру, принуждают себя, чтоб распространить слово. Никакого прегрешения больше нет в красноречии, как непристойное и детское, пустым шумом, а не делом наполненное многословие» (§ 51). Между тем противники Ломоносова, и в частности Сумароков, нападали именно на то, что он считал основой высокого искусства. Они попрекали его «надутостью», грандиозностью его образов, отказом от естественности, простоты, непокорностью логической ясности рационализма. В эпистоле «О стихотворстве» (1747 г.) Сумароков, еще не отошедший от влияния Ломоносова, прославил его; он говорит здесь русскому поэту:

Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен.

Усердный ученик Сумарокова, может быть, не в меру усердный, И. П. Елагин обратился к нему по этому поводу через несколько лет — тогда, когда уже и сам Сумароков стал противником поэтической системы Ломоносова, со стихами, в которых прославил его, Сумарокова, до небес и отрицал право Ломоносова на только что процитированную похвалу:

Где Мальгерб, тобой почтенный,
Где сей Пиндар несравненный,
Что в эпистолах мы чтем?
Тщетно оды я читаю,
Я его не обретаю,
И красы не знаю в нем.

На это стихотворение Елагина (в XVIII в. не напечатанное, впрочем) Ломоносов реагировал в пространном письме к И. И. Шувалову от 16 октября 1753 г. (написанном в ответ на не дошедшее до нас письмо Шувалова). Это образец и полемики Ломоносова, и защиты им своих творческих позиций. Он доказы-

вает не только право поэта на грандиозные образы, нарушающие низменную «естественность» жизни, но и поэтическое достоинство таких образов, гипербол колоссальной мечты и могучего воображения. Он пишет о своих зоилах: «Они стихи мои осуждают и находят в них надутые изображения, для того, что они самых великих древних и новых стихотворцев высокопарные мысли, похвальные во все веки и от всех народов почитаемые, унизить хотят. Для доказательства предлагаю вашему превосходительству примеры, которыми основательное оправдание моего им возможного подражания показано быть может. Из Гомеровой Илиады, п. 5:

Внезапно встал Нептун с высокия горы,
Пошел и тем потряс и лесы и бугры;
Трикраты он ступал, четвертый шаг достигнул
До места, в кое гнев и дух его подвигнул.

Из Виргилиевой Енеиды, кн. 3:

Едва он речь скончал, великая громада
С горы к водам идет среди овечья стада,
Ужасный Полифем, прескверный изувер,
Исполнен ярости и злобы выше мер,
Лишася зрения он дуб несет рукою,
Как трость, и ищет тем дороги пред собою.
Зубами заскрыпел и морем побежал,
Едва во глубине до бедр касался вал.

«Как сему Комоэнс подражает, можно видеть в моей Риторике, § 158. Кроме сих героического духа стихотворцев, и нежный Овидий исполнен высокопарными мыслями.

«Из Превращений кн. 1:

Трикраты страшные власы встряхнул Зевес,
Подвигнул горы тем, моря, поля и лес.

«И из книги 15:

Я таинства хочу неведомые петь;
На облаке хочу я выше звезд взлететь,
Оставив низ, пойду небесною горою,
Атланту наступлю на плечи я ногою.

«Сих подобных высоких мыслей наполнены все великие стихотворцы, так что из них можно составить не одну великую книгу. Того ради я весьма тому рад, что имеют общую часть с толь великими людьми, и за великую честь почитаю с ними быть опорочен неправо; напротив того, за великое несчастие, ежели Зоил меня похвалит. Я весьма не удивляюсь, что он в моих одах ни Пиндара, ни Малгерба не находит: для того, что он их не знает и говорить с ним не умеет, не разумея ни по-гречески, ни по-французски».

В дополнение к этому письму, служащему самообороне, Ломоносов написал другое, письмо-памфлет, являющееся уже полемическим нападением. Замысел и метод этого нападения таков: противники Ломоносова учат его «разумности» поэзии, точности и ясности смысла, научно-логической семантике, — в ответ Ломоносов показывает, что стихи самого Елагина и неразумны, по его мнению, и неточны, и толкового смысла в них нет; а ведь ломоносовского великолепия в них и подавно нет! Так разоблачается противник; он должен быть сражен своим собственным оружием. Да и самое оружие это подлежит осуждению; Ломоносов подвергает тем самым сомнению, дискредитирует всю доктрину «ясности», разумной точности и тому подобное своих врагов.

Елагин так начинал свою известную «Сатиру на петиметра и кокеток», в которой он задел Ломоносова и прославил Сумарокова, сатиру, неизданную тогда, но распространившуюся в списках и вызвавшую обостренную стихотворную полемику:

Открытель таинства любовныя нам лиры,
Творец преславныя и пышныя Семиры,
Из мозгу рождшейся богини мудрой сын,
Наперсник Боалов, российский наш Расин,
Защитник истины, гонитель злых пороков,
Благий учитель мой, скажи, о Сумароков,
Где рифмы ты берешь?..

В своем памфлете Ломоносов так откликается на стихи Елагина: «Много бы я мог показать бедности его мелкого знания и скудного таланта, однако напрасно будет потеряно время на исправление такого человека, который уже больше десяти лет стихи кропать начал, и поныне, как из прилагаемых строчек видно, стихотворческой меры и стоп не знает, не упоминая чистых мыслей, справедливости изображений и надлежащим образом употребления похвал и примеров. Сие особливо сожалительно об Александре Петровиче, что он, хотя его похвалить, но не зная толку, весьма нелепо выбранил. В первой строчке почитает Елагин за таинство, как делать любовные песни, чего себе А. П., как священнотайнику, приписать не позволит и Паном песенным назвать себя не допустит. Семира пышная, т. е. надутая, ему неприятное имя, да и неправда, затем что она больше нежная. Рожденныя из мозгу богини сыном, т. е. мозговым внуком, не чаю, чтоб А. П. хотел назваться, особливо, что нет к тому никакой дороги. Минерва трагедий и любовных несен никогда не сочиняла; она богиня философии, математики и художеств, в которые А. П., как человек справедливый, никогда не вклеплется, и думаю, когда он услышит, что Перфильевич на него взводит, то истинно у них до войны дойдет, несмотря на панегирик. Наперсником Буаловым назвать А. П. — несправедливое дело. Кто бы Расина назвал Буаловым наперсни-

ком, т. е. его любимым прислужником, то бы он едва вытерпел: дивно, что А. П. сносит. Кажется сверстать его с А. П. — истинная обида. Российским Расином А. П. по справедливости назван, за тем, что он его не токмо половину перевел в своих трагедиях по-русски, но и сам себя Расином называть не гнушается. Что не ложь, то правда. Однако и Перфильич, называя его защитником истины, дает ему титул больше, нежели короля английского: он пишется защитником веры, но право или нет, о том сомневаться позволено» и т. д., в том же духе, уничтожающе и для хвалителя и для хвалимого, и для восторженного Ивана Перфильича Елагина и для упоенного успехом Александра Петровича Сумарокова.

Между тем иррациональное, страстное, стихийно-грандиозное начало в эстетике Ломоносова, начало, вызывавшее резкие нападки Сумарокова и его учеников, начало, сближавшее его с духом Возрождения и восходящее к традициям Возрождения с его титанизмом, величием и созидательным пафосом, — все это сочеталось у него с просветительскими, рациональными, научными и нормализаторскими устремлениями, сближавшими его с классицизмом, так же как эти тенденции в самой традиции позднего Возрождения готовили классицизм и сближались с ним. Недаром Сумароков, при всех острых несогласиях, всегда считал Ломоносова лучшим русским поэтом, предпочитая ему, может быть, только самого себя, в основном течении своего творчества верного установкам классицизма. Ломоносову, как и другим русским поэтам и теоретикам, его современникам, был тоже свойствен дух законосообразности, регламентации, была свойственна вера в логическую доказательность в делах искусства, даже в вопросе доказательности самого алогизма искусства. Ведь все-таки в цитированном выше письме к Шувалову он доказывает, именно рационально доказывает свою правоту и достоинства своей поэтики, нимало не ссылаясь на свое право поэта извлекать законы своего искусства из своей личности. Более того, он доказывает это ссылкой на образцы, обнаруживая свойственное эпохе мышление авторитетами и убеждение, характерное для эпохи, в том, что существует некий закон художественной ценности, общий и обязательный для всех поэтов всех времен и народов, закон точный, формулируемый подобно научной истине. И в «Риторике» Ломоносов рисует процесс литературного творчества как научную работу, логически оправданную и укрепленную в самых бурных порывах страсти и вдохновения. Дух нормы веет и здесь. Произведение строится, по Ломоносову, последовательно, сложением идей и образов, движением мысли от простого к сложному, строится, как здание из кирпичей (например, «Риторика» 1744 г., § 12 и сл.). Отсюда же развернутое учение о «доводах» в развитии риторической темы. Отсюда же огромное количество классификаций всех элементов

произведения, тем, образов, идей, доводов, страстей, композиционных чертежей, стилистических средств и т. д. и т. д. Отсюда и самое представление о поэте и его труде как труде, требующем школы, знаний, учения у образцовых писателей, а не только таланта, жизненного опыта, идей или т. п. В самом начале «Риторики» 1748 г. Ломоносов заявляет, что «к приобретению» искусства красноречия «требуются пять следующих средствий: первое — природные дарования, второе — наука, третие — подражание авторов, четвертое — упражнение в сочинении, пятое — знание других наук» (§ 2).

Почти эти же основания исправной работы поэта Ломоносов имел в виду указать в статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России», в наброске плана которой говорится (во второй части): «Способы. Натура, Правила, Примеры, Упражнения». Без учения, науки, следования указаниям правил нет высокого искусства, — так считал Ломоносов. Он был противником теории «нутра» в творчестве. Исходя из такого представления, он давал рецепты и образцы в своей «Риторике». Исходя из него же, он напал на невежество в облике теории «нутра» в стихотворном памфлете «К Пахомию»:

Пахомий говорит, что для святого слова
Риторика ничто, лишь совесть будь готова.
Ты будешь казнодей,[13] лишь только стань попом
И стыд весь отложи. Однако врешь, Пахом.
На что риторику совсем пренебрегаешь?
Ее лишь ты одну, и то худенько знаешь.
Василий, Златоуст, церковные столпы,
Учились долее, как нынешни попы,
Гомера, Пиндара, Демосфена читали
И проповедь свою их штилем предлагали и т. д.

Еще гораздо ранее, в 1739 г., в «Письме о правилах российского стихотворства», Ломоносов исповедует догму правил, стремится создать русское стихосложение на основе нормы, регулярности (ударений) и отвергает свободу, произвол, фантазию» силлабической системы, например, у французов: «Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам в том, что до стоп надлежит, примером быть не могут: понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя». И вот Ломоносов дает правила и опять правила, стараясь предусмотреть в общих формулах все возможные случаи ведения темы, сцепления образов, семантических ходов и структур, дает рецепты, указывая иной

[13] Т. е. проповедник.

раз «ритору» прямо, что, как и о чем он должен говорить по каждому поводу (например, «Риторика» 1744 г., §§ 127 и 128).

Сложность и разнообразие культурных традиций эстетического мировоззрения Ломоносова выражены и в его концепции устойчивого эмоционально-тематического исполнения и значения отдельных формальных элементов языка и стиля. Ломоносов стремится преодолеть формальное понимание самых форм речи и поэзии, стремится понять различные метры, рифмы, даже отдельные звуки языка не как условные знаки идей и эмоций, не как «чистые» формы и не как звуковые потенции, пригодные для выражения любого содержания, а как типы выражения определенных смыслов, как своего рода выразительные средства речи, обладающие строго очерченным и прочно установившимся содержанием. Для него нет ничего в поэтической речи, не подлежащего учету, объяснению и определению с точки зрения содержания. Эту глубокую проблему он разрешает в духе всего своего мировоззрения, механистически, закрепляя за каждым стихотворным размером, звуком и тому подобным не изменяющееся исторически, само себе довлеющее значение, неизменное и не зависящее от сочетания самих элементов. Он представляет себе художественное произведение как организованную сумму элементов, каждый из которых статичен и полон в своей содержательности. Отсюда — закон полного и внешнего единства типа всех элементов: они подбираются в данном произведении по признаку сходства своего содержания, повинуясь своей собственной энергии, своей неподвижной смысловой нагрузке. Получается единообразная схема согласованности разных элементов искусства. Так, высокая тема сочетается с высокими словами, «важной» семантикой, высоким метром (ямб), высоким и блистательным звучанием речи и т. д. Наоборот, комическая тема требует «низких» и смешных слов и т. п. Эта концепция предписывает точную классификацию слов, образов, смыслов, звуков, всех компонентов поэтической речи. В языке должны быть слова высокие и слова низкие, слова важные и слова смешные, сами по себе, отдельно от всех остальных элементов речи. То же и по отношению к образам и по отношению к звукам и т. д. Формулой и понятием данного отбора компонентов произведения является жанр. Он служит признаком единства и согласованности всех элементов различных рядов, но близкой или равной содержательной энергии.

Ломоносову необходимы были во всем рационально уточненные классификации, и он классифицирует метры и звуки языка, причем классифицирует двояко — не только в плане фонетическом, но и в плане эстетическом. Если бы не было у него второй классификации, то нормализация, рациональное использование каждой конкретности ускользнуло бы из жизни искусства, а этого

Ломоносов не хочет допустить. Так, например, гласные звуки классифицируются по произношению на «дебелые» и «острые», согласные — на губные, зубные, язычные, поднёбные и гортанные («Грамматика», §§ 20 и 21); это их лингвистическая классификация; но, кроме нее, должна быть еще эстетическая классификация: каждый звук должен нести в себе определенный тип выразительности, эмоционально-тематического содержания, прикрепляющий его к той или иной формуле жанра. Более того, классификация искусства есть отражение классификаций идей; в соответствии с этим классификации искусства должны быть иерархичны: одни элементы должны быть признаны более высокими, лучшими, другие более низкими, менее «важными». Самая эстетическая ценность подчиняется непременному стремлению к различениям, к дифференциациям, устанавливающему лестницу соподчинений.

Однако к этой же теории есть и другая сторона. Каждый стихотворный размер, каждый звук имеет, по Ломоносову, свою содержательную энергию. Но эта энергия сама по себе не рациональна, а эмоциональна. Более того, она несет в себе явственный признак иррационального. В разумном чертеже произведения искусства бьется живой пульс стихийного чувства, и этот пульс — это ритм, это музыка речевых звуков, не укладывающаяся в логические рамки, взрывающая их, и в этом-то ее эстетическая сила. Закрепляя за этими иррациональными элементами искусства их стихийную содержательность, Ломоносов тем самым узаконивал их именно в качестве носителей иррационального начала. Ломоносов сделал значительное усилие, чтобы включить иррациональное в рациональную схему. Он не отбросил страсть, воображение, порывы творчества, смутную, но яркую стихию вдохновения, ломающего формальную логичность рассудка, за пределы искусства разумности; он во многом обосновал на этой стихии и свое поэтическое творчество, и свое художественное мировоззрение. Но он попытался рационально классифицировать, «разумно» определить и ввести в рамки нормы саму эмоционально-зыбкую стихию. Методологически это решение было глубоко и совершенно; но в меру механистичности подхода Ломоносова к конкретному применению этого решения оно не смогло дать подлинно положительного результата. Разумеется, попытка определить точно, что может и должен выражать ямб, что хорей и т. д., независимо от идейно-образного, лексического и иного наполнения размера стиха, была безнадежна, и Тредиаковский воспользовался этим, оспорив положения Ломоносова.

Прежде всего вопрос возник в связи с разработкой нового, тонического стихосложения. Ломоносов выдвигал против монометрической теории Тредиаковского, допускавшего в русском стихе

только хорей, свою полиметрическую теорию, обосновывавшую закономерность многих вариантов пяти размеров русского классического тонического стиха. В связи с этим он старался доказать эстетическую полезность разнообразия метров: различные размеры нужны потому, что они выражают различное содержание в условиях различных жанров. При одном только хорее эта множественность качеств содержания не может быть метрически выражена.

Согласно этой концепции, нисходящие размеры, например хорей, выражают более интимные эмоции, а восходящие, прежде всего ямб, — торжественные, величественные темы. Ломоносов пишет: «За наилучшие, велелепнейшие и к сочинению легчайшие, во всех случаях скорость и тихость действия и состояния всякого пристрастия изобразить наиспособнейшие оные стихи почитаю, которые из анапестов и хореев состоят. Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаяся тихо вверх, материи благородство, велелепие и высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах... Очень также способны и падающие, или из хореев и дактилев составленные, стихи к изображению крепких и слабых эффектов, скорых и тихих действий быть видятся... Прочие роды стихов, рассуждая состояние и важность материи, также очень пристойно употреблять можно, о чем подробну упоминать для краткости времени оставляю». Через четыре года Ломоносов вступил по этому вопросу в спор с Тредиаковским, и этот спор Тредиаковский изложил, с согласия Ломоносова, в предисловии («Для известия») к брошюре «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждый одну сложил особливо» (СПб., 1744). Ломоносов утверждал, что ямб в существе своем благороден, высок и великолепен, потому что он «возносится снизу вверх», и что, следовательно, именно ямб должен быть закреплен за высокими, героическими жанрами, а хорей в существе своем нежен, приятно-сладостен, так как он «сверху вниз упадает», и, значит, его следует применять в элегиях, т. е. интимно-лирических стихотворениях.

Такую же смысловую и, точнее, эмоциональную дифференциацию Ломоносов стремился применить по отношению к рифмам. В «Письме о правилах российского стихотворства» он оспаривал Тредиаковского, узаконившего в трактате 1735 г. только один вид рифмы — женской, применявшейся силлабистами, и требовал введения трех родов рифмы — мужской, женской и «тригласной», дактилической. И опять ему нужно дифференцировать внутреннюю энергию различных рифм, чтобы оправдать их разнообразие. Оказывается, вводимые им в высокую поэзию мужские рифмы несут с собой бодрость и силу, а дактилические — устремление и высоту: «В нашем языке толь же довольно на последнем и тре-

тием, коль над предкончаемом слоге силу имеющих слов находится: то для чего нам оное богатство пренебрегать, без всякия причины самовольную нищету терпеть и только одними женскими побрякивать, а мужеских бодрость и силу, тригласных устремление и высоту оставлять?». Впрочем, тут же Ломоносов, защищая мужские рифмы от упрека в смехотворности и «подлости» (т. е. низменности, простонародности), выдвинутого против них Тредиаковским, сам делает уступку, признавая, что низменность рифм — не в ее фонетической структуре, а в значении рифмующих слов: «По моему мнению, подлость рифмов не в том состоит, что они больше или меньше слогов имеют, но что оных слова подлое или простое, что значат». Разумеется, это полемическое замечание противоречит ранее высказанной им же самим мысли.

Наиболее полно разработал Ломоносов теорию эмоционально-тематической дифференциации в применении к звуковому составу речи в ее художественном оформлении, т. е. как раз там, где эта теория труднее всего приложима. В вопросах метрики, в глубокой основе их, Ломоносов подошел к весьма важной проблеме, хотя и пытался разрешить ее механистически: ведь в самом деле, употребление различных метров (и рифм) — не случайность, ведь неправ Тредиаковский, несмотря на всю правоту его критики теории Ломоносова, неправ, потому что видит в метрах лишь пустую, т. е. «чистую» эстетическую форму, не имеющую никакого содержания; ведь в искусстве нет и не может быть никакого компонента, лишенного содержания, и, конечно, ритм (и его виды) является существенным смыслообразующим элементом поэзии. Но звуковой состав слова — хотя и он подвергается в поэзии эстетическому оформлению и наполняется содержанием — сам по себе едва ли поддается смысловой дифференциации. Впрочем, нельзя не отметить, что взгляды Ломоносова по данному вопросу не были единичным явлением в старинной филологии и что, более того, аналогичные взгляды (хотя и с иными предпосылками) высказывались в разных европейских странах и гораздо позднее.

В «Риторике» 1748 г. Ломоносов писал: «В российском языке, как кажется, частое повторение писмен[14] А способствовать можеть к изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины, также и внезапного страха; учащение писмен Е, И, Ю — к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей. Чрез Я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность: чрез О, У, Ы — страшные и сильные вещи: гнев, зависть, боязнь и печаль. Из согласных писмен твердые К, П, Т и мягкие Б, Г, Д имеют произношение тупое, и нет в них ни сладости, ни силы, ежели другие согласные к ним

[14] Буквы.

не припряжены; и потому могут только служить в том, чтобы изобразить живее действия тупые, ленивые и глухой звук имеющие, каков есть стук строящихся городов и домов, от конского топоту и от крику некоторых животных. Твердые, С, Ф, Х, Ц, Ч, Ш и плавкое Р имеют произношение звонкое и стремительное; для того могут спомоществовать к лутчему представлению вещей и действий сильных, великих, громких, страшных и великолепных. Мягкие Ж, З и плавкие В, Л, М, Н имеют произношение нежное, и потому пристойны к изображению нежных и мягких вещей и действий» (§§ 172 и 173).

Как видим, Ломоносов при определении смыслового содержания звуков исходит из их артикуляции и музыкального звучания и далее толкует эти звуки в связи с явлениями действительности либо звукоподражательно (стук и топот — Т), либо каламбурно («мягкий» звук и мягкий предмет). С одной стороны, здесь действовало стремление согласовать классификации явлений действительности и явлений искусства, с другой — стремление охватить теорией и разумом непонятную еще стихию образов и красок языка. Впрочем, Ломоносов сам, видимо, чувствовал недостаточную уточненность своей разработки этого вопроса. В конце того же § 173 «Риторики» он писал о том, что подробно разбирать все эмоционально-тематические смыслы звуков языка и их сочетаний «как трудно, так и не весьма нужно. Всяк, кто слухом выговор разбирать умеет, может их употреблять по своему рассуждению; а особливо, что сих правил строго держаться не должно, но лутче последовать самим идеям и стараться оные изображать ясно».

Между тем Ломоносов значительно позднее, в середине 1750-х годов, опять повторил свое построение относительно дифференциации звуков, в частности гласных, причем внес в него новый элемент, более ясно выраженную оценку звуков, их иерархию. Теперь он утверждает оценочную лестницу эстетического достоинства звуков, признает один из них (среди гласных — А) наивысшим, наиболее ценным в эстетическом отношении, другие (Е, О) — средними, третьи (У, И) — наихудшими. По поводу орфографической теории Тредиаковского, требовавшего для прилагательных мужского рода множественного числа окончания *-и*, Ломоносов написал полемическое стихотворение, в котором и изложил свою концепцию русских гласных:

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
Дабы на букве А всех доле остояться,
На Е, на О притом умеренность иметь,
Чрез У и через И с поспешностью лететь:
Чтоб оным нежному была приятность слуху,
А сими не принесть несносной скуки уху.
Великая Москва в языке толь нежна,
Что А произносить за О велит она.

В музыке что распев, то над словами сила;[15]
Природа нас блюсти закон сей научила.
Без силы бéреги, но с силой берега
И снеги без нее мы говорим снега;
Довольно кажут нам толь ясные доводы,
Что ищет наш язык везде от И свободы,
Или уж стало иль, коли уж стало коль,
Изволи ныне все везде твердят изволь.
За спиши спишь, и спать мы говорим за спати.
На что же, Трисотин, к нам тянешь И не кстати?..

Стихотворение это, в XVIII в. не напечатанное, однако стало известно Тредиаковскому (вероятно, через списки), и он ответил на него и в ученой прозе, и в стихотворном рукописном памфлете. В статье «Об окончании прилагательных имен» (вторая редакция) Тредиаковский упоминает о «безименной пьесе, начинающейся искусными певцами», и опровергает доводы своего противника, Ломоносова: «Да видят теперь эпиграмками играющие, коль праведно и основательно они оглашают небесную красоту[16] нашего языка, то будто он ищет для нее всегда себе увольнения от *и*, и приводят в пример некоторые народные и стихотворческие вольности, каковы суть сии: *иль* вместо *или, спать* вместо *спати*. Да знают, наконец, что знак сей *ь* есть не что иное, как то ж самое *и*, но токмо ослабленное звоном». Одновременно с этим Тредиаковский резко ответил в стихах на резкие стихи Ломоносова (наиболее существенная часть этого ответа была приведена выше, стр. 84). При этом вышло недоразумение. Тредиаковский видел анонимный текст стихотворения своего противника, как он сам говорит об этом в прозе, да и в стихах. В раздражившем его памфлете он назван Трисотином. Видимо, это навело его мысль на Сумарокова, и он решил, что автор нападения — это автор «Тресотиниуса». В своем ответе он нападает именно на Сумарокова, что видно из стиха: «Мне рыжу тварь никак в добро не применить...»; над рыжими волосами Сумарокова издевались его литературные противники, в том числе и Тредиаковский. Ошибка этого последнего в случае со стихами «Искусные певцы» тем более понятна, что Сумароков разделял в основном взгляды Ломоносова на смысловую нагрузку и дифференциацию звуков и писал об этом еще позднее, в 1759 г.

Между тем Ломоносов, автор стихотворения, вызвавшего гнев Тредиаковского на неповинного в этом деле Сумарокова, высказал в этом стихотворении, как бы попутно, еще одну важную мысль. Это была мысль о том, что здоровый язык народа сам сти-

[15] Т. е. ударение.
[16] В стихах Ломоносова говорилось:

Языка нашего небесна красота
Не будет никогда попранна от скота.

хийно освобождается от нежелательных элементов, сам в своем бытовании совершенствуется и очищается. Искусный же писатель обязан в своей языковой практике учитывать положительные тенденции самого языка. Это была установка Ломоносова и его указание писателям-современникам. Что же касается его теории эстетической дифференциации звуков языка, то практически она должна была тоже оказать пользу русской поэзии середины XVIII в. — как педагогическая, воспитательная гипотеза, пусть и не оправданная наукой впоследствии; она отучала от безразличного механического пользования ритмами и звуками в поэзии, она требовала внимания к ритмико-мелодической стороне стиха, к его инструментовке, она учила во всех компонентах стиха видеть не пустую форму, а эстетическое, содержательное, смысловое воздействие на читателя. Может быть, изумительное богатство ритмов и звучаний стиха у Сумарокова было в некоторой степени связано с тем, что он усвоил эту гипотезу Ломоносова, и это позволило ему развернуть присущие его таланту и мироощущению возможности. Вероятно, гипотеза Ломоносова связана и с блестящей разработкой фонетики четырехстопного ямба в его собственных одах.

И. З. СЕРМАН

О ПОЭТИКЕ ЛОМОНОСОВА

(ЭПИТЕТ И МЕТАФОРА)

Понятие поэтического стиля — одно из самых неразработанных в нашей науке. Поэтому, приступая к конкретной разработке частной темы — к исследованию принципов поэтического стиля Ломоносова, необходимо, хотя бы условно, определить предмет исследования и точку зрения на него, принятую нами. В современном литературоведении до сих пор существует разрыв между историко-литературным и стилистическим изучением литературы. И для того, чтобы хоть отчасти заполнить этот разрыв, возникла стилистика, которая взяла целиком в свои руки изучение вопросов стиля, оставив собственно истории литературы общий идейный и реально-исторический комментарий к литературным произведениям. В результате — стиль в его реальном (словесном) осуществлении не изучается в связи с общими закономерностями историко-литературного процесса, а историко-литературное исследование, не опирающееся на данные стиля, оказывается «висящим в воздухе», так как находимые или открываемые им закономерности существуют вне «материи», вне словесно-стилевого осуществления.

Странно выглядел бы искусствовед, объясняющий «Лаокоона» вне его материала, композиции, фактуры, лепки и прочее, или музыковед, занятый только переводом на язык политической истории девятой симфонии Бетховена. В историко-литературных работах такой разрыв между исследованием и его предметом никого не беспокоит, хотя именно в нем причина столь долгих и во многом беспредметных споров, например о реализме, так как объектом спора давно уже является не литература, а те или иные логизированные конструкции-формулы.

Маркс заметил, что «паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, ко-

торый уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, т. е. идеально».[1]

Маркс писал, что архитектор держит в своей голове готовый замысел здания и тем отличается от пчелы. С еще большим правом мы можем утверждать, что литературное произведение есть овеществленная мысль или материализовавшееся сознание художника. Вся «технология» в литературе идеологична. Блок писал об Аполлоне Григорьеве: «Душевный строй истинного поэта выражается во всем, вплоть до знаков препинания. Мы не можем говорить вполне утвердительно, ибо не сверялись с рукописями, но смеем думать, что *четыре точки* в многоточии, упорно повторяющиеся в юношеских стихах и сменяющиеся позже *тремя точками,* — дело не одной типографской случайности».[2] Историк литературы не может делать вид, что этой четвертой точки у поэта вовсе нет. Он обязан понять и объяснить ее происхождение, идеологический смысл и художественное назначение, т. е. проникнуть в закономерности появления, развития и формирования поэтического стиля.

При таком подходе к стилю изучение его вовсе не «освобождает» исследователя от знакомства со всей суммой доступных ему исторических и историко-литературных фактов. Напротив, только самое тщательное изучение всей совокупности общественных и литературных связей литературного произведения с эпохой, его идеологической основы, может создать необходимые предпосылки для понимания стиля не как прихоти гения, а как итога работы творческой мысли писателя. При этом следует остерегаться представления о том, что стиль может в какой-то определенный момент развития художника сложиться, принять готовую, застывшую форму и больше не меняться. Стиль есть живое, развивающееся, противоречивое явление, в котором единство и равновесие элементов кратковременно, а движение, внутреннее изменение постоянно.

Обнаружить живую диалектику поэтического творчества в стиле Ломоносова, за готовыми вещами и произведениями увидеть ход творческой мысли — такова задача настоящей работы, в которой предметом исследования являются некоторые принципы ломоносовского стиля, до сих пор не привлекавшие к себе внимания, несмотря на их первостепенное значение для понимания поэтического стиля Ломоносова.

---

[1] К. Маркс. Капитал, т. I. М., 1955, стр. 184—185.

[2] А. Блок. Судьба Аполлона Григорьева. В кн.: А. Григорьев. Стихотворения. М., 1916, стр. XXXVI.

I

История русской поэзии — это тернистый путь споров, сшибок и столкновений разных взглядов на поэтическое слово, порожденных тем или иным кругом художественных идей. В эпохи, иногда очень удаленные друг от друга, художественно-стилистические споры вновь возвращались к проблемам, которые, как казалось предшествующему поколению, уже были окончательно решены, и не было необходимости в пересмотре этих решений. Так, спор о допустимости тех или иных видов поэтического метафоризма тянется сквозь два столетия, от Симеона Полоцкого до Маяковского.

Метафора, как и каждый элемент стиля, в поэзии индивидуально-авторской выражает мироощущение автора, его понимание возможностей поэтического слова. Метафора в этом случае неизбежно становится новаторским действием поэта, порывающего с традицией привычного литературного словоупотребления. Замечательный пример непонимания и осуждения одной поэтической метафоры приводит В. В. Виноградов: «Еще характернее протест его (Никиты Пустосвята, — *И. С.*) против замены выражения молитвы *тебе молятся звезды* выражением *тебе собеседуют звезды.* Он понимает этот образ как обозначение реального отношения звезд к богу. Никита Пустосвят поэтому категорически отрицает применимость самого слова *собеседовать* к этой ситуации. Ход его мыслей таков: даже ангелы не *сопрестольны*, то есть не сидят за одним столом, престолом, с богом, и, следовательно, не могут беседовать с богом как с равным. Тем более нельзя сказать это про звезды: „А о звездах в писании не обрящется, чтоб собеседницы богу писались". Против этого мифологического истолкования рационалист-западник Симеон Полоцкий выдвигает символическое объяснение. Он должен был доказывать, что речь идет о метафорическом изображении гимна природы божеству, а не „о собеседовании устном или умном, ибо звезды ни уст, ниже ума имеют, суть бо вещь не одушевленная"».[3]

В этом споре столкнулись два отношения к слову. Никита Добрынин выступает здесь как представитель средневекового «реализма», видевшего в слове не название вещи, но считавшего слово единственной реальностью и потому не допускавшего новых переносных, метафорических сочетаний.

---

[3] В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., изд. 2-е. М., 1938, стр. 34. Данный пример взят из книги И. Румянцева «Никита Константинов Добрынин» (Сергиев Посад, 1916, стр. 380, Приложения, стр. 339).

Почти через столетие снова начался подобный спор в русской поэзии. Центральное столкновение вокруг ломоносовских метафор — борьба Сумарокова против ломоносовского стиля изучена хорошо.[4] Укажу на сравнительно менее известный, но в своем роде очень характерный для литературного мышления эпохи спор между Сумароковым и Тредиаковским о Ломоносове.

Критикуя в 1750 г. оды Сумарокова, Тредиаковский приводит ему в пример строфу из оды Ломоносова («На день восшествия на престол Елизаветы Петровны», 1746): «Нет тут языческих божков, нет тут ни Нептунов, ни тритонов: зрят тут недремлющие очи, стрегущие небесный град: то есть, зрит тут *хор небесный*. Сей хотя б тогда не зрел токмо с удивлением на Петрову дщерь, но еще при том, хотя б и помог, и по успехе хотя б и всесладостную песнь воспел, однако, признаваемый христианами, весьма б он прилично у пиита сего все то сделал».[5]

По мнению Тредиаковского, Ломоносов имел в виду «хор» или «лик» небесный, т. е. ангелов, присутствие которых в оде, посвященной набожной православной царице, ему представляется вполне уместным. Тредиаковский просто не увидел ломоносовской метафоры, он принял ее за аллегорию, истолковал рационалистически и счел возможным развить эту аллегорию дальше — допустить прямое участие ангельского воинства в возведении Елизаветы на престол.

Сумароков, человек другого литературного поколения, уже воспитавшегося на одах Ломоносова и усвоившего себе его принципы образности, не сомневался, что в данной строфе Ломоносова содержится метафора, а не аллегория. Об этом он иронически писал в своем «Ответе на критику»: «Приведя в пример он строфу из некоторой оды г. Л. (Ломоносова, — *И. С.*), не узнал он, что автор недремлющими называет очами, хотя то и совершенно изъяснено, что автор недремлющими очами называет звезды, а он подумал, что сказано о ангелах. А строфа сия очень ясна».[6] Для Сумарокова эта метафора была «очень ясна», хотя, скорей всего, и неприемлема по принципиальным соображениям.

Споры подобного характера знает русская поэзия всех эпох. Однако споры первых 100—150 лет ее развития — если вести отсчет от середины XVII столетия — отличаются одной особенностью. В основе критических позиций спорящих сторон лежит прин-

---

[4] Г. А. Гуковский. Русская поэзия XVIII века. Изд. «Academia», Л., 1927, стр. 19—26; П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 92—146.

[5] В. К. Тредиаковский. Стихотворения. Л., 1935 (серия «Библиотека поэта»), стр. 381.

[6] А. П. Сумароков. Стихотворения. Л., 1935 (серия «Библиотека поэта»), стр. 356.

цип осознанной нормативности. И в этом самое значительное отличие поэтико-стилистических споров XVII—начала XIX в. от поэтических сражений последующих столетий. Вообще же нормативность неотъемлемо присуща всякой литературной позиции. Но в иных исторических условиях соотношение между субъективным пониманием этой нормативности и ее объективным содержанием нарочито запутано и затруднено. Так, романтическая критика 1820—1830-х годов выступала с отрицанием всякой нормативности в искусстве, всяких «правил»,[7] однако за этим видимым эстетическим нигилизмом скрывалась определенная литературно-эстетическая программа. Сами же теоретики нового искусства были убеждены, что они разрушают нормативность вообще и с ней какую бы то ни было норму, эстетический закон, художественную упорядоченность, жанровую определенность и т. д.

Для ломоносовского времени и предшествующих ему эпох развития русской поэзии характерно совпадение объективного содержания литературной борьбы с ее субъективным осмыслением. Борьба идет во имя осознанной нормы, между новой и старой эстетическими программами, между новой и «старой» нормами, а не между нормой и хаосом, законом и беззаконием, подчиненностью правилам и безудержным произволом, традицией и гением.

Правила, творения прославленных древних авторов, образцовые сочинения новых — все это имело значение лишь как проявление, как реализация эстетической нормы и оспариваемо могло быть только тогда, когда можно было доказать, что в данном случае вместо нормы налицо ее нарушение, вместо правила — ошибка. Именно с этих позиций написано «Послание к творцу Семиры» И. П. Елагина, в котором он спорит с Сумароковым по поводу похвал, высказанных последним Ломоносову в «Епистоле о стихотворстве» (1748 г.):[8]

Научи творец «Семиры»,
Где искать мне оной лиры,
Ты которую хвалил;
Покажи тот стих прекрасный,
Вольный склад, при том и ясный,
Что в эпистолах сулил.
Где Мальгерб тобой почтенный,

---

[7] «Изящные, или свободные искусства ... перестают быть свободными, когда их теснят ярмом правил условных» (О. Сомов. О романтической поэзии. «Соревнователь просвещения и благотворительности», 1823, ч. 23, кн. I, стр. 45).

[8] И. П. Елагин имеет в виду следующие строки стихотворения Сумарокова:

...возьми гремящу лиру
И с пышным Пиндаром взлетай до небеси.
Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Мальгерб; он Пиндару подобен.

Где сей Пиндар несравненный,
Что в эпистолах мы чтем?
Тщетно оды я читаю,
Я его не обретаю,
И красы не знаю в нем.[9]

Здесь позиция критика совершенно определенна: в одах Ломоносова он не находит соответствия своему главному нормативному требованию — «ясности». Стихи Ломоносова, по мнению Елагина, этой стилистической норме не соответствуют, проверки «на ясность» не выдерживают. Следовательно, Ломоносов — плохой поэт, а совсем не Малерб и не Пиндар «наших стран», как назвал его Сумароков.

Осознанная нормативность эстетического мышления эпохи была обусловлена общим ходом истории России в период развитого и сложившегося абсолютистского строя, в начале XVII в. вышедшего победителем из периода крестьянских восстаний, посадских движений и иностранных интервенций.

Создание национального государства требовало и создания единого, нормализованного литературного языка. Таким для России середины XVII в. мог быть только язык церкви и книжной культуры, и, что особенно было важно, в условиях пережиточно сохранявшегося разнообразия местных наречий и диалектов церковнославянский язык был един, неизменяем и как бы воплощал преемственность культурной традиции. Именно с этой точки зрения Л. Н. Майков объясняет успех и популярность славянской грамматики Мелетия Смотрицкого. «В Москве, где в 1648 году эта грамматика была издана вторично, она действительно привела к сознанию резких различий, существовавших между народным русским языком и славянскою книжною речью; московские книжники получили возможность искусственно возвратиться к той чистой славянской речи, от которой их удалял вседневный обычай; вследствие того так называемая „славянщизна", несмотря на всю свою недостаточность в образовательном отношении, сознаваемую отчасти даже в то время, снова укрепилась в письменной и печатной словесности русской и оставалась в ней господствующей до первых десятилетий XVIII века».[10]

Книжный язык в условиях уже очень далеко зашедшего разобщения трех основных восточнославянских языков (великорусского, украинского и белорусского) мог скреплять их культурно, быть широкой базой для единой «славено-российской» культуры, для единой литературы. Эпоха развития русской культуры от

[9] П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени, стр. 113—114.

[10] Л. Н. Майков. Очерки по истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889, стр. 12.

«славенской» грамматики Смотрицкого до «Российской грамматики» (1755 г.) Ломоносова в литературном и шире — общекультурном отношении характеризуется непрерывными усилиями ряда деятелей разных эпох по созданию единой, общенациональной литературы. Поступательное литературное движение осуществлялось в ходе сложной борьбы между сознательно нормализаторской тенденцией движения в целом и отступлениями от этой линии, отходами от нее, «изменами» общему знамени культурного единства.

При этом водораздел вовсе необязательно должен был проходить между литературными группами или отдельными писателями, как это уже стало возможно в 1750-е годы. Бывало и так, что противоречивые тенденции литературного развития, отражавшие сложность исторического состояния нации, находили себе выражение в творчестве одного и того же писателя. Иногда это выглядело как преодоление самого себя: так, Тредиаковский в 1750-е годы вернулся к той самой «глубокословной» «славянщизне», над которой издевался в начале 1730-х годов. Иногда противоречивые тенденции уживались в творчестве одного писателя одновременно. Так, Симеон Полоцкий пишет сатирико-назидательные стихотворные повести и одновременно «барочные» стихотворные фокусы-игрушки;[11] Херасков в 1770-е годы писал слезные драмы и одновременно классическую эпопею, Фонвизин в 1760-е годы переводил сентиментальные романы и сочинял «Бригадира».

Во всех указанных примерах нетрудно отделить эти разновременные или разнокачественные явления в творчестве одного писателя, хотя и до сих пор мы еще не нашли удовлетворительного им объяснения. Но всего сложнее выглядит поэтическое явление, если игра сил в нем как бы взнуздана высокой энергией самодисциплины и подчинена сознательно усвоенной нормализаторской миссии. Именно это обстоятельство затрудняет аналитическое исследование поэзии Ломоносова. Перед нами законченная, сведенная во всех своих частях конструкция, в которой как будто нет и не может быть никаких внутренних борений, никаких хождений «бездны на краю», которые уже знал Державин.

Между начальной эпохой литературной нормализации, ознаменованной именем Симеона Полоцкого, и временем Ломоносова пролегла не только Петровская реформа, но и целая эпоха европейской мысли — эпоха Просвещения.

«За стилем Сумарокова и Хераскова (до «Россиады» включительно) стоит идея о незыблемых и объективно существующих

---

[11] И. П. Еремин. Поэтический стиль Симеона Полоцкого. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. VI, Л., 1948, стр. 125—146.

категориях, истинно, логически концептируемых поэтической речью. Слово в стиле „Россиады" плоскостно, терминологично, однозначно, точно. Оно *значит* в меру точно определенного своего логического значения. Самый принцип высокости славянизма не является признаком эмоционального ореола вокруг данного слова (так было отчасти у Ломоносова), а является результатом детальной классификации точных значений».[12]

Теория классицизма, после спора древних и новых, приобрела рационалистическую основу, свойственную вообще европейскому просветительству 1720—1740-х годов. Вольтер в своих критических выступлениях конца 1740-х годов осуждает стилистику великих поэтов XVII в. именно с позиций рационалистического понимания поэтического слова. Он приводит строку из мольеровского «Мизантропа» и находит ее «неправильной»: «Renverser le bon droit, et tourne la justice» (акт V, сцена 1) — и рассуждает следующим образом: «L'expression *tourne la justice* n'est pas juste. On tourne la roue de la fortune; on tourne une chose, un esprit même, à un certain sens; mais tourner la justice ne peut signifier séduire, corrompre la justice».[13]

Вольтер здесь возражает против переносно-метафорического употребления глагола «tourner», он хочет ограничить круг значений его определенной сферой понятий и вещей, не выходя за границы основного значения. С тем же стилистическим мерилом суженного значения слов Вольтер подходил и к творчеству Ж.-Б. Руссо, осуждая его метафоры. По поводу следующих строк Руссо:

En maçonnant les remparts de son âme,
Songea bien plus au fourreau qu'à la lame —

он писал: «Outre la bassesse de ces idées, on y decouvre aisement le peu de justesse et de rapport qu'elles ont entre elles; car si cette âme a des remparts de maçonnerie, elle ne peut pas être en même temps une epée dans un fourreau».[14] Вольтер возражает против одновременного употребления слова «душа» (âme) в двух метафорах, из которых одна, как ему кажется, противоречит другой.

---

[12] Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938, стр. 238—239.

[13] Voltaire, Oeuvres, t. 9, Paris, 1846, str. 155. «Выражение „повернуть правосудие" неправильно. Поворачивают колесо счастья, поворачивают вещь, даже разум, в особом смысле, но „повернуть правосудие" может означать только „соблазнить, развратить правосудие"».

[14] Там же, стр. 163. «Помимо пошлости этих мыслей, легко обнаруживается, как мало в них верности и связи, ибо если душа имеет каменную ограду, она не может быть одновременно шпагой в ножнах».

В связи с тем что поэтическое слово приравняли к понятию, поэзию к науке, к логике, которую понимали как метод «геометров», как систему аксиоматических однозначных (в идеале) доказательств, для литературной теории и поэтической практики приобрела очень важное значение проблема синонимики. Синоним находится как бы на стыке грамматики и поэтики. Решение ряда вопросов синонимики одинаково важно и для создания нормативной грамматики, и для определения принципов поэтического словоупотребления.

Создатель французской синонимики аббат Жирар совершенно в духе господствующего рационалистического отношения к слову считал синонимы различными понятиями. Насколько такое отношение к синонимам прочно утвердилось в литературном сознании всего XVIII столетия, видно из «Опыта российского сословника» Фонвизина, в котором сатирически обыгрывается именно эта утверждаемая принципиально несводимость синонимов: «В конце концов синонимика, лингвистическая (славянизм — руссизм) или стилистическая, исключалась; недаром Фонвизин ... с таким интересом и в „Недоросле“, и в специальной работе „Опыт российского сословника“ занимался уточнением разделения смысла синонимов ... Весь мир распадался на множество понятий, и каждое из них требовало условного знака — слова. Атомизм миропонимания отражался в атомизме стиля».[15]

II

У Ломоносова был особый интерес к синонимам. Его подготовительные материалы к «Российской грамматике» и к другим(неосуществленным) филологическим исследованиям содержат много синонимических наблюдений. Но Ломоносова синонимы интересуют не своей несводимостью, не различием значений, которыми преимущественно занималась синонимика XVIII в. Сохранившиеся в его записях синонимические ряды — наглядное свидетельство того, что Ломоносов представлял себе каждый такой ряд как градацию выражений одного общего понятия, одной общей идеи, принимающей различные конкретные значения:

«Печаль   Стезя
Кручина   Путь
Скука   Дорога
Тоска   Тропа

[15] Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века, стр. 239.

Грусть — След
Уныние — Проход
Скорбь — Ход».[16]

Слова первого синонимического ряда расположены, хотя и не очень строго, в порядке возрастающей «высокости», во втором ряду этот способ размещения соблюден строже, но в обратном порядке.

«Печаль», «кручина», «скука», «тоска», скорбь встречаются в стихах Ломоносова. «Уныния» и «грусти» мы не обнаружили.

Красуйся в сей блаженный час,
Как вдруг триумфы воссияли,
Тем вящше озарили нас,
Чем были мрачнее *печали*.
(Ода 1761 г.).

В толикой праведной *печали*
Сомнений их смущался путь.
(Ода 1747 г.).

В обоих примерах «печаль» употреблена очень близко к своему основному значению, как и «скорбь» в оде 1747 г.:

К несносной *скорби* наших душ,
Завистливым отторжен роком,
Нас в плаче погрузил глубоком —

и тоска:

Оставшись чувствую *тоску* на сердце люту.
(«Демофонт», д. IV, явл. 7).

Все это слова из числа тех, которые Ломоносов считал вполне допустимыми для высокого и посредственного стиля. Что же касается слов «кручина» и «скука», то первое из них Ломоносов употребил в своем переводе оды Фенелона (1738 г.), очень раннем опыте:

Сладкой думой без *кручины*
Веселится голова.

А слово «скука» Ломоносов нашел возможным ввести только в сатирическое стихотворение, да еще к тому же не предназначавшееся для печати.

А сими не принесть несносной *скуки* уху.
(«Искусные певцы...», 1753 г.).

---

[16] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 619, 662. В дальнейшем все стихотворные цитаты из Ломоносова приводятся по т. 8 данного издания, без указания страниц. Ссылки на другие тома даются в тексте.

Еще более ясен метод отбора синонимов второго ряда. Из «низких» слов этого ряда совсем не встретилось нам в стихах Ломоносова слово «тропа», один раз нашлось — «дорога» (в ранней оде 1739 г.: «Скрывает мрак и страх дорогу»). Из «высоких» — один раз «стезя» в переводе оды Юнкера 1742 г. Зато слова «след» и особенно «путь» встречаются очень часто, по нескольку раз в одной и той же оде.

Ломоносов подходит к синонимам как поэт, для него различие между ними это прежде всего и главным образом различия *стилистические*, эмоционально-поэтические. Тем самым создавалась предпосылка для установления общности, а не раздельности синонимов.

Слово как таковое, в свое единичности, в представлении Ломоносова не является однозначным понятием, допускающим только одно единственное оправданное логикой употребление. Слово для Ломоносова одновременно и у́же и шире понятия: шире, потому что оно входит в ряд близких, подобных ему понятий; у́же, так как оно не вмещает в себя всех оттенков значения данного понятия (или идеи), лежащего в основе синонимического ряда.

Такое понимание связи между синонимами данного понятия органически связано с поэтической практикой самого Ломоносова.

Упрекая Ломоносова в «неточности» словоупотребления, А. Ф. Мерзляков в своем разборе оды 1747 г. отметил это характерное для Ломоносова отношение к синонимам: «...он начинает воззванием к тишине, обогащающей народы и царства ... Если смею сделать свое замечание, то мне кажется, что слово *тишина* не выражает всего того, что хотел сказать поэт. *Спокойствие, покой, тишина, безмолвие, благоденствие* суть идеи частные, заключающиеся в общей идее мир, которая действительно и вполне изображает мысль Ломоносова».[17]

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная *тишина*,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою:
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

---

[17] А. Ф. Мерзляков. Разбор осьмой оды Ломоносова. «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», 1817, ч. 7, стр. 64.

«Неточность» — довольно частый упрек в адрес Ломоносова со стороны критиков 1820—1830-х годов. И Пушкин находил у него «отвращение от простоты и точности».[18]

Между тем разобранный Мерзляковым пример замещения у Ломоносова частной идеей (тишина) общей (мир) характерен для ломоносовского поэтически-эмоционального отношения к слову. «Тишина» в данном примере, по-видимому, могла сильнее выразить ломоносовское понимание «мира», чем все другие, предложенные Мерзляковым синонимы.

И Сумароков не оставил без замечания ломоносовское употребление слова «тишина» в этой оде. Он отрицал именно произведенное Ломоносовым замещение слова «мир», «покой»: «Я не знаю сверьх того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града — войско и оружие, а не тишина ... Я думаю, что тишина сыплет щедрою рукою по земли богатство, а не *свое* богатство, которого она не имеет».[19]

По-видимому, под воздействием этих замечаний Сумарокова Ломоносов о одной из «надписей» (1753 г.) привел рядом оба слова:

Хотя счастливые военные дела
Монархам громкая на свете похвала,
Но в ясной т и ш и н е возлюбленного м и р а
Прекраснее ко всем сияет их порфира.

Здесь «тишина» соотнесена как его частное свойство с общим понятием «мир». Ломоносов здесь «уступил» современной рационалистической критике и отказался от свободного варьирования слов-синонимов.

Отчасти предпочтение «тишины» «миру» может быть объяснено и тем, что слово «мир» заключало, с точки зрения Ломоносова, слишком много различных значений — омонимов. Об этом говорит запись Ломоносова, в которой он дифференцирует значения этого слова при помощи латинского перевода всех его значений: мир — pax, mundus, populus (д. VII, явл. 620). В пределах одной оды можно встретить «мир» в разных значениях:

Война и *мир* дают победы...
Война плоды свои растит,
Героев в *мир* рождает славных...
Владимир, превосходной верой
Войной и *миром* исполин...
Но в сердце держит сей совет:

---

[18] А. С. П у ш к и н, Полн. собр. соч., т. 11, Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 249.

[19] А. П. С у м а р о к о в. Стихотворения. Л., 1935 (серия «Библиотека поэта». Большая серия), стр. 344.

Размножить *миром* нашу славу,
И выше, как военный звук,
Поставить красоту наук!
(«На день восшествия на
престол Елисаветы Петровны», ноября 26, 1761 г.).

Употребляя одно и то же слово в его различных значениях, сопоставляя его с *другими* словами, его синонимами, Ломоносов свою поэзию строил на свойствах, самому слову присущих, на его поэтико-стилистических возможностях. Уже замена слова «мир» его синонимом «тишина» означала переход от прямого, понятийно-логического словоупотребления (которому не чужд был и сам Ломоносов) к переносно-метафорическому, к эмоционально-поэтическому.

Метафоризация поэтического стиля — бесспорно отличительная черта ломоносовской поэзии — опирается на ощущение внутренних связей между подобными, сходными и по значению, и по форме словами.

Теорию разделения «штилей» как принцип иерархии литературных жанров изобрели задого до Ломоносова. Идет она из античности, на ней основана была вся система церковного красноречия; Ломоносов узнал ее еще в Москве, в Славяно-греко-латинской академии. Но ломоносовская теория разделения «штилей» построена иначе: в ее основу положен стилистический принцип синонимических рядов. Синонимы в ряду стезя... ход расположены в нисходящем порядке, от высокого чисто славянского слова (стезя), через слова, общие славянскому и русскому языкам (путь, дорога), к словам уже чисто русским (тропа, след) и даже просторечным (проход, ход). Для Ломоносова важны были стилистические потенции данного слова, а не его историческое происхождение. Он исходил из реальной судьбы слова в литературной и языковой трактовке и потому строил иерархию поэтических жанров в соответствии с данными синонимики:

Но, о прекрасная планета,
Любезное *светило* дней!
Ты ныне чрез пределы с в е т а
Простерши *блеск* твоих лучей,
Спасенный север *освещаешь*...
(«На день восшествия на престол
Елисаветы Петровны», 1746 г.).

«Свет» как главная идея этих строк присутствует в разных формах (светило, свет, освещаешь), непосредственно восходящих к единой грамматической основе, или корню. Кроме того, с ней соотнесено слово «блеск», в данном контексте также выступающее как один из поэтических синонимов «света». И даже слово «пла-

нета» от соседства со «светилом» в какой-то степени воспринимается как «звезда», т. е. тоже как источник света.

Следует отметить, что в строке «Ты ныне чрез пределы света» Ломоносов сознательно «играет» с омонимической природой слова «свет» (mundus, lux). Пределы света означают здесь границы мира, границы вселенной, но в то же время слово это не теряет и другого своего значения — «свет» (lux).

III

Шишковская критика карамзинских метафор в начале 1800-х годов почти дословно повторяла то, что писал о ломоносовских метафорах Сумароков, и в этом совпадении есть своя логика и свой смысл.

В статье «Критика на оду», написанной, по-видимому, на рубеже 1740—1750-х годов, так как в ней цитируется ломоносовская ода 1747 г. по тексту без исправлений, сделанных для издания 1751 г., Сумароков самым последовательным образом пробует разрушить ломоносовские метафоры, отвергая их во имя понятийной логики и предметного, вещественного смысла.

Свожу часть сумароковских замечаний в таблицу:[20]

Возлюбленная тишина, Блаженство сел, градов ограда.	Градов ограда — сказать не можно. Можно молвить селения ограда, а ограда града; град от того и имя имеет, что он огражден. Я не знаю сверьх того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града войско и оружие, а не тишина.
Блистая с вечной высоты.	Можно сказать вечные льды, вечная весна. Льды потому вечны, что никогда не тают, а вечная весна, что никогда не допускает зимы, а вечная высота, вечная глубина, вечная ширина, вечная длина — не имеют никакого знаменования.
Молчите пламенные звуки.	Пламенных звуков нет, а есть звуки, которые с пламенем бывают.
Сомненный их шатался путь.	Они на пути шатались, а не путь шатался. Дорога никогда не шатается, но шатается, что стоит или ходит, а что лежит, то не шатается никогда.
Где в роскоше прохладных теней.	Роскошь прохладных теней — весьма странно ушам моим слышится. Роскошь тут головою не годится. А тени не прохладные; разве охлаждающие или прохлаждающие.

[20] А. П. Сумароков. Стихотворения, стр. 344—354.

Внимательно отмечая все, что не укладывалось в допускаемые им нормы метафорического словоупотребления, Сумароков как бы подчеркнул и выделил именно то, что в свете позднейшего развития русской поэзии оказалось наиболее значительным и продуктивным.

Смелость поэтического словоупотребления, дерзость сопоставлений и тропов, острота и неожиданность в выборе эпитетов, их эмоционально-психологическая выразительность — таковы были важнейшие черты ломоносовского поэтического стиля, воспринятые враждебно Сумароковым и тем направлением в русской поэзии 1750—1770-х годов, которое понимало поэтическое слово как конкретное понятие и противилось расширению поэтических смыслов, так как видело в этой тенденции измену прямой и главной цели поэзии — моральной дидактике.

Вероятно, ходившая по рукам в немногих списках статья Сумарокова зажила новой жизнью после ее опубликования в т. X его «Полного собрания всех сочинений» (1781 г.) и тогда стала фактом литературной борьбы вокруг ломоносовского наследия, которая именно в это время снова стала занимать умы русских литераторов. В этом смысле наиболее характерное явление — «Собеседник любителей российского слова», на страницах которого шла очень оживленная дискуссия о Ломоносове.[21]

Проблемы синонимии и омонимии как вопросы поэтической стилистики почти не разрабатывались теоретически в русской литературе XVIII в.

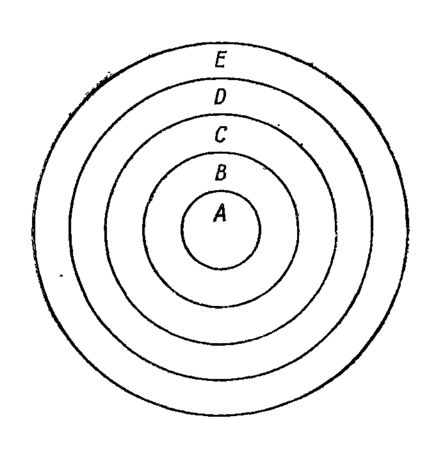
Позднее, в начале XIX в., проблема синонимических и омонимических отношений как основа поэтического словоупотребления стала одной из самых важных и привлекательных тем для русских критиков и словесников вообще.

Начало широкому и всестороннему обсуждению этой стилистической проблемы положил А. С. Шишков в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803 г.). Синонимические и омонимические соответствия или различия с его точки зрения могли быть пробным камнем для установления возможности перевода (или переноса) определенной категории понятий из одного языка в другой. При этом Шишков, как ему представлялось, исходил из опыта русской литературы XVIII в., и главным образом из поэтических принципов Ломоносова. «Во всяком языке есть множество таких слов или названий, которые в долговременном от разных писателей употреблении получили различные смыслы или изображают разные понятия, и потому знаменование их можно уподобить кругу, рождающемуся от бро-

---

[21] См. сообщение Н. Д. Кочетковой «Отзывы о Ломоносове в „Собеседнике любителей российского слова“» в настоящем сборнике, стр. 270—281.

шенного в воду камня и отчасу далее пределы свои распространяющему».[22] Для Шишкова, следовательно, различные значения (знаменования) слова — это разные понятия, связанные между собой в некоторых случаях только единством формальным, т. е. фонетическим совпадением или полным подобием, как в том примере, который он ниже разбирает. Следующее его рассуждение о системе переносных значений слова «свет» выглядит как стилистическая характеристика приведенной выше ломоносовской метафоры. «Возьмем, например, слово *свет* и рассмотрим всю обширность его знаменования. Положим сначала, что оно заключает в себе одно токмо понятие о сиянии или о лучах, исходящих от какого-нибудь светила, как то в следующей речи: *солнце разливает свет свой повсюду.* Изобразим оное чрез круг *А*, которого окружает окружность *В* определяет вышесказанный смысл его или заключающееся в нем понятие. Станем потом приискивать оное в других речах, как наприклад в следующей: *свет Христов просвещает всех*. Здесь слово *свет* не значит уже исходящие лучи от светила, но учение или наставление, проистекающее от премудрости Христовой. Итак, получило оно другое понятие, которое присоединяя к первому, находим, что смысл слова сего расширился или изображающий его круг *А* распространился до окружности *С*. В речи: *семдесят веков прошло, как свет стоит,* слово *свет* не заключает уже в себе ни одного из вышеописанных понятий, но означает весь мир или всю вселенную. Присоединяя сие третие понятие к двум первым, ясно видим, что круг *А* распространился до окружности *Д*. В речи: *он натерся в свете*, слово *свет* представляет паки новое понятие, а именно общество отличных людей: следовательно, круг *А* распространился до окружности *Е*. В речи: *Америка есть новый свет,* слово *свет* означает новонайденную землю, подобную прежде известным, то есть Европе, Азии и Африке. Итак круг *А* получил еще большее распространение».[23]



Формально опираясь на ломоносовскую систему переносного словоупотребления и омонимических соотношений, Шишков стре-

[22] А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803 (далее: Шишков), стр. 29—30.
[23] Там же, стр. 30—32.

мился придать ей совершенно иное значение, он хотел заменить тесную связь переходов-переливов значений и смыслов жесткой системой понятий, разграниченных одно от другого с той же строгостью, с какой, по его мнению, отграничен русский язык от иноязычных стихий. Но так как обогащение языка новыми понятиями требовало и новых слов, то вместо калькирования и развития переносных значений на основе западной (для Шишкова — порожденной духом французской революции)[24] системы понятий он считал возможным русский метафорический язык обогащать только па основе языка книг церковных. Но и здесь, формально следуя Ломоносову, Шишков в действительности занимал принципиально иную позицию, несходную с ломоносовским пониманием стилистического соотношения между славянскими и русскими словами в едином языке русской литературы и русской поэзии.

Шишков и не скрывал того, что он считает «славенский» язык, или, вернее, язык церковных книг, более выразительным, поэтически более совершенным, чем язык (мы бы сказали — стиль) Ломоносова. Сравнивая даже такое бесспорное по своим поэтическим качествам произведение Ломоносова, как «Ода, выбранная из Иова» с ее библейским оригиналом, Шишков отдает полное предпочтение последнему: «Как ни прекрасна ода, выбранная из Иова таковым великим стихотворцем, каков был Ломоносов, и хотя она написана ясным, чистым и употребительным российским языком и притом сладкогласием рифм и стихов украшена, однако не все красоты подлинника (или славенского перевода) исчерпал он и едва ли мог достигнуть до высоты и силы оного, писанного хотя и древним славенским, не весьма уже ясным для нас слогом, но и тут, даже сквозь мрак и темноту, сияют в нем неподражаемые красоты и пресильные, по истине стихотворческие, в кратких словах многомысленные выражения».[25]

Шишков установил для себя такую нисходящую иерархию художественности: священное писание—Ломоносов—современная литература («новые писатели»), в основном Карамзин и его школа. Идеал выразительности и силы для него — это «книги церковные», Ломоносов только иногда к ним приближается (в лучших своих поэтических достижениях), современная «новая» литература (Карамзин и иже с ним) являет собой жалкое состояние упадка и стилистической беспомощности по сравнению с Ломоносовым, а уж с наследием древности она и совсем несопоставима. Три эпохи развития русской литературы, взятые суммарно, в эсте-

[24] «Развратных нравов, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролияния крови, и поныне еще во Франции гнездятся» (А. С. Шишков, Собр. соч. и переводов, ч. II, СПб., 1824, стр. 423).
[25] Шишков, стр. 73—74.

тическом сознании Шишкова соответствовали трем стилистическим направлениям. И если, условно говоря, ломоносовское направление представлялось ему правильным путем усвоения наследия старинной церковной письменности и ориентировки на него, то карамзинизм, по его мнению, означал полный разрыв со всеми традициями национальной литературы, полный разрыв с линией Ломоносова, в которой Шишков видел приемлемый для себя, хотя и не вполне его удовлетворяющий, синтез церковно-славянской и русской стихий в литературе.

Сообщать «новый смысл» старым словам — таков был стилистический принцип Карамзина. Именно этот принцип Шишков отказывался принять и объявлял всю литературную реформу Карамзина изменой традициям национальной культуры.

По поводу новых значений, которое получило слово «вкус» в русской литературе с 1780-х годов,[26] Шишков делает пространное исследование и поясняет, какие значения этого слова он считает правильными, соответствующими природе русского языка, а какие неправильными.

Приводимые им примеры можно свести в таблицу:[27]

Правильно	Неправильно
Вкусное вино.	
Приятное вкусом яблоко.	
Противное вкусу лекарство.	
Вкус кислый.	
Вкус сладкий.	
Вкус горький.	
Вкус пряной.	
Вкушать пищу.	
Вкушать утехи.	
Толк видать.	
Силу знать.	
У всякого свой вкус.	
Это платье не по моему вкусу.	Иметь *вкус*.
	Он имеет *вкус* в музыке.
	Одеваться со *вкусом*.
Храм великолепно украшенный.	Он пишет *во вкусе* Мармонтеля.
	Храм украшенный с тонким *вкусом*.
	Вкус тонкий.
	Вкус верный.
Он ей нравится.	Она имеет к нему *вкус*.
	Вкус царствовать.
	Чертеж *вкуса*.
	Хотя двери его были и затворены, однако он имел смелость войти к нему и *вкус* сделать ему приветствие.

[26] П. Н. Берков. Развитие литературной критики в XVIII веке. В кн.: История русской критики, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 77—79.

[27] Шишков, стр. 199—205.

Из этой сводной таблицы видно, что Шишков возражал именно против «новых», переносно-отвлеченных значений слова «вкус», тех значений его, которые связаны были с появлением и новой эстетической категории, сменившей основную дотоле категорию эстетики классицизма — понятие «правильности». Вкус как оценочная эстетическая категория — это новое понятие в русской литературе, связанное с преромантическими веяниями, с появлением новой точки зрения на соотношение общеобязательной нормы и индивидуального почина в искусстве, на соотношение традиции и гения, рутины и новаторства.

Отрицая правомерность новых переносно-метафорических значений слова «вкус», Шишков, в сущности, пытался остановить поступательное движение русской поэзии к непривычным для него формам, необходимым для выражений новых художественных идей, нового отношения к жизни. Так было в эпоху Симеона Полоцкого, такой толчок получила русская поэзия от Ломоносова, такой же переворот испытала русская поэзия в начале XIX в. под воздействием Жуковского и Батюшкова, опиравшихся на стилистическое новаторство Карамзина.

«Новый слог» не был выдумкой Шишкова, жупелом, которым он хотел запугать своих политических и литературных противников. «Новый слог» был действительно важнейшей со времени Ломоносова вехой в развитии русского поэтического стиля. И потому отношение к нему действительно было решающим водоразделом в литературной жизни 1800-х годов. Политическая компрометация карамзинского стилистического новаторства должна была подвести итог стилистико-эстетическому осуждению. «Измена» родным преданиям, «измена» традициям Ломоносова — вот к чему, по мнению Шишкова, пришли новаторы школы Карамзина.

В какой мере прав был Шишков, противопоставляя Карамзину Ломоносова? Насколько исторически верной была его интерпретация эстетики Ломоносова в ее стилистическом выражении? Шишков «стилизовал» Ломоносова под собственное свое о нем представление, часто не считаясь с действительными принципами ломоносовского стиля. Так, например, Шишков построил целое рассуждение о стилистической природе слова «ход», опираясь на Ломоносова: «*Ход* есть простое слово, среднему слогу мало, высокому не совсем приличное и употребляемое токмо в общенародных разговорах, как например: не ходи, тут нет *ходу*: велик ли *ход* корабля? есть ли *ход* на рыбу, т. е. ловится ли рыба? и пр. Все происходящие отсюда названия частию суть самые простые, не могущие быть употребляемы в благородном слоге, как то: *ходьба, сходня, ходули, ходок* и пр. Итак, весьма странно читать, когда не разбирающие приличия слов писатели, последуя французскому выражению la marche de la nature думают, что и нам вместо

течение природы пристойно говорить *ход природы* и т. д. Мне кажется *ход законов, солнца, государственных дел* и пр. вместо *течение законов, солнца, государственных дел* и пр. столь же не хорошо, как если бы Ломоносов вместо *чрез огнь и рвы течет с размаху* сказал: *бежит с размаху*».[28]

Все это рассуждение Шишкова, несмотря на его полное формальное соответствие с ломоносовской теорией трех штилей, начисто опровергается ломоносовскою же поэтической практикой. В оде «На день тезоименитства императрицы Елисаветы Петровны 1759 года и на победы над королем прусским» это слово «ход» употреблено Ломоносовым, да еще в подрифменном положении:

Подобно граду он густому
Летяще воинство стеснил
Искал со стороны пролому
И рвался в сердце наших сил:
Но вихря крутость прежестока,
В стремленьи вечного востока,
Коль долго простирает *ход*?
Обрушась тягостных уроном,
Внезапно с шумом, ревом, стоном,
Преобратился в сонмы вод.

Здесь никакие оговорки не помогут: Ломоносов *употребил* слово «ход» в жанре высокого стиля, в оде похвальной и торжественной, никакого касательства к «простому слогу» не имеющей. И дело не в единичной ошибке, а в тенденциозной, неверной и антиисторической точке зрения Шишкова на Ломоносова.

Желание Шишкова остановить развитие живой литературы ссылкой на авторитет полустолетней давности, его стремление выдать свою собственную точку зрения за вывод из ломоносовского наследия объективно вредило художественному прогрессу русской литературы, хотя его критика крайностей карамзинизма часто была верна. Исторический парадокс заключался в том, что именно те, кто выступал против Ломоносова, т. е. Карамзин и его ученики, по существу, были его истинными продолжателями. Борьба Карамзина за разработку «новых» значений слов, его стремление расширить рамки переносно-метафорического словоупотребления и тем самым расширить возможности русского поэтического стиля вообще, было в принципиальном смысле прямым продолжением ломоносовской поэтической работы, хотя Карамзин никогда подражателем Ломоносова не был, од почти не писал, прозу Ломоносова не любил, да и к поэзии его относился очень сдержанно.[29]

---

[28] Шишков, стр. 343.

[29] «Лирическое стихотворство было собственным дарованием Ломоносова ... Оды его будут всегда драгоценностью русской музы. В них есть,

Шишков своей книгой как бы продолжал борьбу *за* Ломоносова, но все его упреки Карамзину легко могли бы быть переадресованы Ломоносову, так как именно Карамзин уловил принципиально новое, художественно-прогрессивное, исторически наиболее продуктивное в эстетике ломоносовского поэтического стиля.

Никто из великих деятелей русской литературы 1770—1790-х годов, кроме Карамзина, не понял всей глубины ломоносовской эстетики поэтического слова. Не Фонвизин, находившийся еще во власти представления о слове как конкретном выражении социального (см. его «Опыт российского сословника»), не Державин,[30] сознательно отказавшийся следовать Ломоносову и выбравший путь экстенсивного расширения словесной базы поэзии, но не стремившийся проникнуть глубже в природу слова и поставить ее на службу потребностям поэзии, а именно Карамзин осуществил то, что Ломоносовым было только намечено и что было скорей его гениальной догадкой, чем последовательной программой действий и осознанным эстетическим постулатом.

Поэтическая смелость Ломоносова получила должную оценку в русской литературе только тогда, когда одна из тенденций поэтического стиля Ломоносова, в 1740—1760-х годах казавшаяся неоправданной и странной, вновь «воскресла» в русской поэзии.

Какая черта поэтического стиля 1800—1820-х годов возникает в нашем сознании, когда мы хотим наиболее кратко и точно этот стиль охарактеризовать? Конечно, это так называемый «эмоциональный» эпитет, о значении которого, как и об этом стиле в целом, глубоко и точно сказано в работе Г. А. Гуковского о М. Н. Муравьеве: «Муравьев осуществляет первые подступы к созданию особого специфически-поэтического языка, суть которого не в адэкватном отражении объективной для поэта истины, а в эмоциональном намеке на внутреннее состояние человека-поэта. Поэтический словарь начинает сужаться, стремясь ориентироваться на особые поэтические слова „сладостного" эмоционального характера, нужные в контексте не для уточнения смысла, а для создания настроения прекрасного самозабвения в искус-

---

конечно, слабые места, излишности, падения, но все недостатки заменяются разнообразными красотами и пиитическим совершенством многих строф ... Проза Ломоносова вообще не может служить для нас образцом; длинные периоды его утомительны, расположение слов не всегда сообразно с течением мыслей, не всегда приятно для слуха» (Н. М. Карамзин, Сочинения, т. 7, СПб., 1834, стр. 282—283).

[30] В первой редакции своих «Записок» Державин писал о себе: «Правила поэзии почерпал из сочинений г. Тредиаковского, а в выражении и штиле старался подражать г. Ломоносову, но, не имея такого таланту, как он, в том не успел» (Г. Р. Державин, Сочинения, т. VI, СПб., 1871, стр. 443).

стве. Формируется тот поэтический словарь, который характеризует поэтику Жуковского и Батюшкова.

В тот день, как солнцева горяща колесница,
Оставив область Льва, к тебе, небесна Жница,
Стремится перейти в *прохладнейший* предел,
Как ратай точит серп и желтый клас созрел,
И солнечны лучи вселенну освещали,
А над главой моей *сны легкие летали*
И вдруг мне виделась *прекрасная страна*,
Где вечно царствует *прохладная* весна:
Где *извиваются* между холмов долины
И *смотрятся* в водах высоких древ вершины.
(«Видение»).

«„Прохладный", „прохладнейший", „прекрасные", „легкие сны"... Характерно, что большинство слов новой семантики у Муравьева — эпитеты, прилагательные. Позднее эта система выдвинет эпитет на ведущее, определяющее стиль место, а еще позднее Пушкину придется бороться против засилья эпитета, которому он сам отдал дань в 1810-е годы».[31]

Когда этот «эмоционально-сладостный» стиль в русской поэзии вышел из стадии домашнего дилетантизма и в творчестве Дмитриева, Жуковского и Батюшкова получил на некоторое время неоспоримое господство, ему понадобилась собственная литературная генеалогия. В ней особое место занял Ломоносов.

Для Батюшкова, в последние годы его творчества, именно Ломоносов — наиболее близкая и родственная поэтическая индивидуальность. В статье «Нечто о поэзии и поэте» (1815 г.) свое общее представление о поэте и его особой психологической природе Батюшков иллюстрирует в основном эпизодами биографии Ломоносова и примерами из его творчества. Ломоносовская поэзия в лучших своих достижениях для него в какой-то мере образец и идеал. Он приводит описание белой ночи на севере из поэмы «Петр Великий» как пример поэтического совершенства, гармонии и красоты стиля: «Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих:

Закрылись крайние с пучиною леса,
Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса.
. . . .
...Сквозь воздух в юге чистый
Открылись два холма и берега лесисты.
Меж ними кораблям в залив отверзся вход,
Убежище пловцам от беспокойных вод,
Где в *влажных* берегах крутясь, печальна Уна
Медлительно течет в объятиях Нептуна...

[31] Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века, стр. 277—279.

Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось средь валов
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Мы не остановились на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лицо солнца, противоположенное хладным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте и, подобно пламеной горе, простирающее блеск из-за льдов, — суть первоклассные красоты описательской поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны:

Среди пречудные при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи».[32]

Батюшков процитировал Ломоносова точно. Только один эпитет он изменил: вместо «где в *мокрых* берегах» он поставил «где в *влажных* берегах». И эта замена, вероятно сделанная непроизвольно, очень характерна. Конкретный и очень точный ломоносовский эпитет «мокрый» Батюшков заменил более отвлеченным эпитетом «влажный», эпитетом, звуковой строй которого более соответствует стилевым устремлениям самого Батюшкова. А восторженная оценка ломоносовской метафоры «горящее лицо» солнца говорит о том, что Батюшков видел в ломоносовской поэзии нечто в высшей степени родственное себе. И свой восторг по адресу Ломоносова, свое восхищение его стихами, их стилистическим совершенством он высказал в «Послании И. М. Муравьеву-Апостолу», где посвятил Ломоносову несколько десятков строк, Дмитриеву — пять, Державину — только три.

Ломоносов для него поэт чувства, отразивший в своих стихах природу его родного севера:

Нет! Нет! И в Севере любимец их не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихий враждебных бой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады
Иль моря шумного необозримый вид —
Все, все возносит ум, все сердцу говорит
Красноречивыми, но тайными словами
И огнь поэзии питает между нами.
Близ Колы пасмурной, средь диких рыбарей,
В трудах воспитанный уже от юных дней
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Чей огнь зиждительный, дар бога драгоценный
От юности в душе небесного залог,

[32] К. Н. Батюшков, Сочинения, М., 1955, стр. 378—379.

Которым Фебов жрец исполнен; как пророк,
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана
Стремился по зыбям холодным Океана
К необитаемым бесплодным островам
И мрежи расстилал по новым берегам.
Я вижу мысленно, как отрок вдохновенный
Стоит в безмолвии над бездной разъяренной,
Среди мечтания и первых сладких дум,
Прислушивая волн однообразный шум...
Лицо горит его, грудь тягостно вздыхает,
И сладкая слеза ланиту орошает,
Слеза, известная таланту одному!
В красе божественной любимцу своему,
Природа! Ты не раз на Севере являлась
И в пламенной душе навеки начерталась.
Исполненный всегда виденьем первых лет,
Как часто воспевал восторженный поэт:
Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры,
И льдяные, в морях носимы ветром горы,
И Уну, спящую средь звонких камышей,
И день, чудесный день, без ночи, без зарей!..[33]

Последние четыре строки — подражание или стилизация под ломоносовский стихотворный пейзаж севера с полуночным солнцем, так восхищавший Батюшкова. И эпитеты здесь скорей батюшковские (*хладный* блеск, *звонкие* камыши, *чудесный* день), чем ломоносовские, но в целом это четверостишие — очень интересный пример поэтического воспроизведения чужой стилистики собственными поэтическими средствами. Счастливое сочетание точности и эмоциональности — вот главное свойство ломоносовского эпитета, которое делало для Батюшкова возможным творческое усвоение наиболее удачных, с его точки зрения, ломоносовских метафорических эпитетов. Несомненно, что следующие строки Ломоносова:

Там кони *бурными* ногами
Взвивают к небу прах пустой —

(Ода на прибытие Елизаветы
Петровны 1742 г.)

присутствовали в сознании Батюшкова, когда он писал стихотворение «Гезиод и Омир — соперники», в котором есть такой, родственный ломоносовскому образ:

И кони *бурные* со звонкой колесницей
Пред ней не будут *прах крутить до облаков*.[34]

---

[33] Там же, стр. 234.

[34] Там же, стр. 263. У Мильвуа другой текст с другим смыслом: Sous sa tombe jamais les coursies indomptées, N'iront briser les chars dans la lice emportées [«Неукрощенные кони, увлекаемые на ристалище, Не разобьют колесницы о его (Юпитера) гробницу»]; см.: Millevoye, Oeuvres, t. I, Paris, 1835, стр. 85.

Воспользовавшись ломоносовской метафорой, Батюшков несколько смягчил ее семантическую остроту и неожиданность. У Ломоносова бурные ноги коней, у Батюшкова бурные кони, но принципиального различия здесь нет. Эпитет у обоих поэтов характеризует не только предмет в его материальности, в его вещных качествах, но отношение к этому предмету воспринимающего поэтического сознания. Метафора в обоих случаях еще подкреплена гиперболой. У Ломоносова прах (пыль) от конского скока подымается к небу, у Батюшкова — до облаков. Смягчив остроту ломоносовского метафорического образа, Батюшков как бы компенсировал это, усилив гиперболизм во второй строке: у него прах подымается до облаков, т. е. до пределов видимости, тогда как у Ломоносова кони взвивают его к небу, что менее конкретно и может быть понято как указание на стремление кверху, вверх, но необязательно очень высоко.

IV

Вообще эпитеты Ломоносова делятся явственно на две группы. К одной можно отнести эпитеты-определения, дающие простую качественную характеристику предмета или состояния. Другая группа, или категория эпитетов, нас особенно интересующая, — это эпитеты эмоционально-метафорические, смысловое наполнение которых гораздо шире их предметного значения. Это именно тот метод метафоризации, против которого с такой энергией боролся Сумароков, утверждая, что «пламенных звуков» быть не может, «а есть звуки, которые с пламенем бывают», как не бывает глубокого плача или прохладных теней.

Для стиля русской поэзии 1800—1810-х годов, для направления в ней, возглавляемого Батюшковым, характерно особенное пристрастие к «поэтическим» по самому своему смыслу и звучанию эпитетам,[35] особенно к двум — сладкий (сладостный) и *златой*. В поэзии Ломоносова эти эпитеты служат тем же целям. Они не столько характеризуют конкретные качества предмета, сколько его эмоционально, поэтически, эстетически характеризуют.

Эпитет «златой» Ломоносов употребляет двояко: он может быть в ряде случаев понят как определение действительной природы предмета или его зрительной цветовой характеристики:

Златой уже *денницы* перст
Завесу света вскрыл с звездами...

---

[35] См. Г. А. Гуковский. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века, стр. 277—290.

Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верьхи *златых зыбей* пловцам сверкают в очи.
(«Петр Великий», песнь 1).

И в новом блеске вознесись
В *златую* седши *колесницу*.
(Ода 1743 г.).

В переносно-метафорическом значении эпитет «златой» Ломоносов употребляет в сочетаниях «век златой», «времена златые», восходящих к известному рассказу Вергилия в «Георгиках» о золотом веке, вновь возродившемуся в поэзии XVIII в. как символичное изображение эпохи всеобщего довольства и счастия:

О утра час благословенный,
Дрожайший нам *златых веков*!
(Ода на день восшествия
Елизаветы Петровны 1746 г.).

Своею сладкою водою
В лугах зеленых пролитою
Златой дает Египту *век*...
(Ода на день рождения Елизаветы Петровны 1746 г.).

Сугубо ныне я восставлен,
Златой мне усугублен *век*!
(Ода 1754 г.).

Такие у тебя герои,
Монархиня, в *златой* твой век...
(Ода 1759 г.).

И каждый день *златого веку*,
Коль долго можно человеку,
Благодеяньями венчать.
(Ода Петру III 1762 г.).

Варианты этой устойчивой стилистической формулы есть у Ломоносова в таком виде: «времена златые», «лета златые». Характерно, что у него происходит как бы постепенный отрыв этого фразеологического сочетания от его первоначального конкретного смысла и все больше добавляется переносных значений, вновь возвращающих окостеневшей метафоре, превратившейся в понятие «златой век», ее образное, поэтическое значение.

Сочетание «времена златые» выступает в роли стилистического синонима «златого века»:

Устами целая Россия
Гласит: о *времена златыя*!
О мой всевожделенный век!
(Ода 1757 г.).

Эта стилистическая синонимичность выражений (времена златые — век златой) подкрепляется следующей строкой, которая

как бы поясняет в определенном смысле предыдущую. В других случаях он этого не делает:

> *Златые времена!* О кроткие законы!
> («Письмо о пользе стекла»).

Разрыв между исходным словосочетанием и его стилистическими вариациями постепенно усиливается. Ломоносов как бы экспериментирует, пробует новые варианты, подставляя вместо слова «век» все более далекие его синонимы:

> Россия зрит конец бедам,
> И что уже Елизавета
> *Златые* в ону вводит *лета*,
> Избавив от насильных рук.
> (Ода на прибытие Петра Федоровича 1742 г., редакция 1750 г.).

> От ней (Елизаветы) геройство с красотою
> Повсюду миром и войною
> Лучи пускают *дней златых*.
> (Ода на день рождения Елизаветы Петровны 1746 г.).

В последнем примере «златые дни» еще сохраняют связь со своим фразеологическим прототипом (век златой), но эпитет «златой» управляется подлежащим «лучи», и эта связь как бы восстанавливает его цветовую природу, в сочетании «златые дни» совершенно не ощущаемую. Эпитет «златой» приобретает поэтому дополнительные значения за счет новых ассоциаций по смыслу и по связи.

В более сложных сочетаниях эпитет «златой» уже совершенно разрывает все отношения связи с первоначальным понятием-образом «век златой», хотя и находится еще в сочетании с понятиями, обозначающими времена года:

> О чистый невский ток и ясный...
> Промчись до шведских берегов
> И больше устраши врагов,
> Им громким шумом возвещая,
> Что здесь зимой *весна златая*.
> (Ода на прибытие Елизаветы Петровны 1742 г.).

Сочетание «весна златая» входит здесь в состав оксюморона «зимой — весна», а сам по себе эпитет уже потерял предметность полностью, он имеет значение только эмоциональной характеристики, совмещая в себе значения чего-то прекрасного, радостного, счастливого, словом — все значения, которыми читательское сознание может наделить образ «весны», тем более что она и без того является в данном случае метафорой; «весна» здесь не при-

родное явление, а политическое обновление жизни России после елизаветинского переворота 1741 г.

Сочетание «златая весна» показывает, что Ломоносов считал возможным эпитет «златой» применить во всех случаях, когда ему нужно было найти такое выражение, в котором определенность была бы минимальной и воображение читателя могло бы вкладывать в него любое количество значений:

Коль тщетно пышное упорство...
Златого не примлет *мира*:
Еще кровавой ждет реки.
(Ода 1759 г.).

«Златой мир» — это, в сущности, ничего не значит (если искать в стихах Ломоносова всегда предметного, конкретного значения, как это делал Сумароков) или может значить очень многое. Эпитет в таком употреблении становится только субъективно-оценочным, он выражает лишь отношение поэта к предмету или явлению, а не его (явления) собственную природу.

Не с такой энергией, как у эпитета «златой», но все же очень заметно происходила сходная эволюция с эпитетом «сладкий», который также при переносно-метафорическом употреблении постепенно терял свое конкретно-предметное значение, приобретая некую смысловую зыбкость и эмоциональную неопределенность.

Иногда «сладкий» у Ломоносова как бы приближается к действительной характеристике предмета:

Так Нил смиренно протекает...
. . . .
Своею *сладкою* водой
. . . .
Златой дает Египту век.
(Ода на день рождения Елизаветы Петровны 1746 г.).

Я слышу нимф поющих гласы,
Носящих *сладкие* плоды.
(Ода на Новый 1764 г.).

Как вьется виноград па илиме высоком,
Держась их и его питая *сладким* соком.
(Надпись 1751 г.).

Но такое применение эпитета «сладкий» вовсе не является для Ломоносова правилом, скорей оно может быть отнесено к исключениям. Гораздо чаще этот эпитет входит в метафорические обороты, где получает новые значения, иногда уже очень далекие от первоначального смысла:

Сердцами пойдут и устами
В восторге *сладком* возгласят...
(Ода 1752 г.).

О *сладкий* век! О жизнь драгая!
Петрополь небу подражая,
Подобны испустил лучи.
(Ода 1748 г.).

Считая многие довольства, говорит:
Коль *сладкое* меня блаженство веселит!
(Надпись 1754 г.).

Эпитет «сладкий» у Ломоносова включает в себя все более и более широкие круги «знаменований», как сказал бы А. С. Шишков, поэт применяет его там, где ему нужна интенсивно-эмоциональная характеристика, а не точное предметное определение материальных качеств:

И *сладкими* словами
Последовать стопам.
(«Разговор с Анакреоном»).

И имя *сладкое* едва с плачевным стоном
Дерзает в горести последней помянуть.
(«Тамира и Селим», д. IV, явл. 3).

Появление эмоциональных эпитетов в стиле Ломоносова-поэта означало, что в самом существенном вопросе стилистики, а следовательно, и эстетики он расходится с тем направлением русской поэзии, которое с 1750-х годов в ней возобладало — с направлением рационалистически-просветительским, подчинявшим поэзию прямолинейной дидактике и морализму.

Эмоциональный эпитет, поэтический уже по самой своей природе, а не по конкретному значению, утвердился в русской поэзии через полустолетие после смерти Ломоносова, в 1800-е годы. То, что было у Ломоносова только одним из частных явлений стиля, в эпоху Батюшкова стало ведущим стилевым принципом. Отсюда интерес к ломоносовской поэзии, вновь усилившийся именно в начале XIX в.

V

Ослабление предметности эпитета в поэзии Ломоносова, усиление в нем эмоционально-психологического «содержания» за счет конкретности можно проследить не только в отношении эпитетов «златой» или «сладкий», — это явление распространяется и на другие эпитеты, которые в неожиданных сочетаниях метафорического типа также «развеществляются» и приобретают новый смысл и новое, неожиданное, поэтически-субъективное значение.

В поэзии Батюшкова эпитет «сладкий» (с еще более частым вариантом «сладостный») стал одной из важнейших примет стиля: [36]

[36] И. З. Серман. Поэзия К. Н. Батюшкова. «Ученые записки ЛГУ», серия филологических наук, вып. 3, Л., 1939, стр. 273—274.

К чему сих аромат и мирры *сладкий* дым...
Вот слезы их и *сладки* лобызанья...
А ты склоняя слух на *сладки* небылицы...
И лебедь *сладостный*, еще в последний раз...
Под небом *сладостным* Италии моей...
Под небом *сладостным* отеческой земли...

Таким образом, то, что в поэзии Ломоносова еще только намечалось, более обозначалось в потенции, чем осуществлялось, у Батюшкова получило очень последовательную и тонкую разработку. Поэтому у него эпитет «сладостный» в силу своей меньшей предметности и большей эмоциональности приобрел большее значение, чем эпитет «сладкий». У Ломоносова же, сделавшего только первый, хотя и очень важный шаг к эмоциональному строю поэтической речи, эпитет «сладостный» встречается очень редко:

Коль наша радость справедлива!
Нас красит *сладостный* покой.
(Ода на день восшествия на престол
Елизаветы Петровны 1746 г.).

Расширение «круга знаменований» распространяется у Ломоносова на значительную часть его запаса эпитетов. При этом он смело сталкивает эпитеты с определяемым существительным, получая в результате очень смелые, неожиданные и психологически выразительные метафоры. Так, *берега* у него могут быть *веселые* и *послушные:*

Индийских рек брега *веселы.*
(Ода 1745 г.)

И реки да текут спокойно
В тебе *послушных* берегах;
(Ода 1748 г.)

взор и голос — *светлые:*

И как о *светлом* оном взоре
Возвеселясь подвиглось море.
(Ода 1752 г.)

Геройских подвигов хранитель
И проповедатель Парнас,
Времен и рока победитель,
Возвыси ныне *светлый* глас;
(Ода 1764 г.)

лето — *жаждущее:*

В средине *жаждущего* лета,
Когда томит протяжный день;
(Ода 1750 г.)

весна — *нежная:*

Не токмо *нежная* весна,
Но осень тамо юность года;
(Там же).

темнота — *скорбная:*

Мы в *скорбной* темноте заснули,
Но в радости от сна вспрянули,
Как ты ночной рассыпал мрак;

(Ода на день восшествия на престол
Елизаветы Петровны 1746 г.)

тьма и туча — *печальные:*

Пред солнцем на земли светящим,
Что нам, в *печальной* тьме сидящим,
Проливши свет, отгнало страх.

(Ода на день восшествия на престол
Елизаветы Петровны 1746 г.)

Сияй, о новый год, прекрасно,
Сквозь густоту *печальных* туч;
(Ода на Новый 1762 г.)

тишина — *мягкая:*

Дабы военная труба
Унылых к бодрости будила,
Чтоб в недрах *мягкой* тишины
Не зацвели водам равны;

(Ода 1761 г.).

тень — *прохладная и пустая:*

Коль многим смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши *прохладных* теней...
(Ода на день восшествия на престол
Елизаветы Петровны 1747 г.)

Он утро, вечер, нощь и день
Во тщетных промыслах проводит;
И так вся жизнь его проходит,
Подобно как *пустая* тень.
(Переложение Псалма 143).

Последний из привлеченных здесь примеров (тень пустая) можно сравнить с теми решениями, которые предложили Сумароков и Тредиаковский, перекладывая в русские стихи (одновременно с Ломоносовым) Псалом 143, откуда это выражение взято.[37] Оба соперника Ломоносова избегают метафор и эмоционально-психологических эпитетов, они не соответствуют их стилистическим принципам, их эстетике в целом.

[37] Подробное историко-литературное освещение этого своеобразного поэтического соревнования см. у Г. А. Гуковского: К вопросу о русском классицизме. В кн.: Поэтика, сборник статей. Л., 1928, стр. 13.

В тексте Псалма сказано: «Человек суете уподобися, дние его, яко сень, преходят».

Сумароков так переложил эту строку:

Его весь век, как тень, преходит:
Все дни его есть суета.

Он сохранил сравнение библейского текста, переведя его на русский язык. Тредиаковский умножил и распространил эту строку Псалма за счет библейских же по стилю образов:

Ах! и весь род смертных нас,
Гниль и прах есть пред тобою;
Жизнь его — тень с суетою,
Дни и сто лет, токмо час.

Только Ломоносов заменил сравнение эпитетом-метафорой (пустая тень),[38] привнеся, таким образом, момент эмоционально-субъективный, у Сумарокова, например, в данном переложении совершенно отсутствующий.

Поэтический стиль Ломоносова сложился в основных своих чертах во второй половине 1740-х годов. В начале 1750-х годов Ломоносов вынужден был принять участие в серьезной литературно-стилистической борьбе, где главным объектом критики со стороны Сумарокова с учениками оказались его (Ломоносова) принципы поэтического стиля. Из этого спора Ломоносов вынес для себя некоторые уроки: в его творчестве 1750-х годов сильнее проявляется стилистический рационализм. Это особенно заметно в «Письме о пользе стекла», в стиле похвальных надписей (стихотворных приложений к фейерверкам и иллюминациям) и менее всего в одах.

Те черты ломоносовского поэтического стиля, которые позволяют видеть в нем зачинателя и предшественника романтической поэзии 1800—1810-х годов, не получили у него полного и законченного выражения. Они появились как стремление, а не как достижение и завершение. Ни Сумароков со своей школой, ни ученики самого Ломоносова, такие, как Поповский, не продолжали разработку этих, вновь открытых Ломоносовым возможностей русского поэтического слова. Поэтому несколько поколений поэтов 1770—1790-х годов видели в поэзии Ломоносова, в ее эстетике и принципах стиля только препятствия, а не опору в своих творческих исканиях. Понадобилась карамзинская, антиломоносовская реформа для того, чтобы Ломоносов был оценен и понят как предтеча русской романтической лирики.

---

[38] Но такое решение Ломоносов нашел, только подготавливая собрание сочинений 1751 г.; в тексте 1743 г. у него было «*ночная* тень».

Л. Б. МОДЗАЛЕВСКИЙ

ЛОМОНОСОВ И «О КАЧЕСТВАХ СТИХОТВОРЦА РАССУЖДЕНИЕ»

(ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 1755 г.)

В литературной полемике 1755 г. в «Ежемесячных сочинениях» привлекает к себе внимание исследователей опубликованное там в майской книжке анонимное «О качествах стихотворца рассуждение». Впервые на него вскользь обратил внимание В. А. Милютин в 1851 г. в своих «Очерках русской журналистики, преимущественно старой»,[1] а в советское уже время этому «Рассуждению» посвятил специальное исследование П. Н. Берков под заглавием «Анонимная статья Ломоносова (1755)» в его работе «Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века».[2] Затем эта статья была включена им отдельной главой в книгу 1936 г. «Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765».[3] В своей работе П. Н. Берков путем внутреннего анализа содержания этого «Рассуждения» и сопоставления его с высказываниями Ломоносова середины 1750-х годов пришел к выводу о принадлежности этого «Рассуждения» Ломоносову.[4] Никто из исследователей печатно не возражал П. Н. Беркову, и эта атрибуция получила научное признание. Это дало возможность П. Н. Беркову включить «Рассуждение» уже как бесспорно ломоносовское в вышедшее в 1940 г. под редакцией Г. Васецкого издание «Избранных философских сочинений» Ломоносова.[5] Неоднократно сам П. Н. Берков цитировал из этого «Рассуждения» отдельные положения, а особенно сентенцию анонимного автора, заимствованную у Цицерона, которою заканчивается «Рассуждение»: «В безде-

[1] «Современник», 1851, № 3, март, отд. II, стр. 29, прим. 45.

[2] Сборник «XVIII век», под ред. акад. А. С. Орлова, Л., 1935, стр. 327—351.

[3] П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. Л., 1936 (далее: П. Н. Берков), глава IV, «Полемика в Ежемесячных сочинениях», стр. 156—178.

[4] Текст «Рассуждения» дважды приведен П. Н. Берковым: в сборнике «XVIII век» (стр. 336—351) и в его книге (стр. 179—190).

[5] ОГИЗ, М., 1940, стр. 268—280.

цах я стихотворца не вижу, в обществе гражданина видеть его хочу, перстом измеряющего людские пороки».[6]

Между тем не все в аргументации П. Н. Беркова за принадлежность «Рассуждения» Ломоносову убедительно настолько, чтобы можно было так категорически признать Ломоносова автором этого «Рассуждения». Мы располагаем в настоящее время, напротив, не только рядом фактов и соображений, колеблющих аргументацию П. Н. Беркова, но и документальными материалами, которые, на наш взгляд, приводят, с одной стороны, к выводу о непринадлежности «Рассуждения» Ломоносову, а с другой, дают все основания считать автором этого «Рассуждения» Г. Н. Теплова. К доказательству этих двух тезисов мы и перейдем, не повторяя для экономии места некоторых общеизвестных фактов, тем более что текст «Рассуждения» был уже не раз переиздан и, следовательно, доступен для пользования.

I

«О качествах стихотворца рассуждение» напечатано анонимно в «Ежемесячных сочинениях» за май 1755 г. (стр. 371—388); им этот майский номер журнала открывается. П. Н. Берков основным аргументом в пользу авторства Ломоносова выдвигает следующие соображения: в черновых бумагах Ломоносова сохранился отрывок начала неосуществленного «рассуждения» или «письма» Ломоносова, относящегося к 1753 г. и озаглавленного «О нынешнем состоянии словесных наук в России».[7] Кроме того, на том же листе с наброском этого сочинения П. Н. Берков обнаружил и план или программу его. Даем наше чтение по автографу:[8]

	Способы
1. Против грамматики.	Натура.
2. Какофонии: брачныя, браку.	Правила.
3. Неуместа словенчизна: дщерь.	Примеры.
4. Против ударения.	Упражнение.
5. Несвойственныя.	довольно
6. Лживые мысли.	я зделал
	то и то
	в других делах
	государству сложных.[9]

[6] См.: П. Н. Берков. Литературно-теоретические взгляды Ломоносова. В кн.: Ломоносов. Стихотворения. Под ред. акад. А. С. Орлова. Л., 1935, стр. 251—257; П. Н. Берков. Ломоносов и наша современность. Л., 1945, стр. 54—55.

[7] См.: П. Н. Берков, стр. 156—157, где даны все необходимые ссылки на источники.

[8] Архив АН СССР, ф. 20, он. 1, № 5, л. 150.

[9] Последних двух слов П. Н. Берков не разобрал.

По мнению П. Н. Беркова, статья эта предполагалась в двух частях. В первой должен был находиться «разбор какого-то или нескольких конкретных произведений» из «новых сочинений российских» со стороны «чистоты российского штиля». При этом П. Н. Берков опирается и на зачеркнутые варианты заглавия: «О чистоте российского штиля» и «О новых сочинениях Российских».[10] Во второй части должна была быть развита мысль о «способах» исправления русской словесности. «Здесь, — говорит П. Н. Берков, — в программе перечислялись те пункты, которые, по мнению Ломоносова, могли явиться радикальным средством или по крайней мере условием перестройки литературы». По произведенному П. Н. Берковым сравнению с отрывком из «Риторики» Ломоносова 1748 г. (§ 2) исследователь устанавливает, что «нового эта часть программы не содержит». Вот эти параллельные тексты:

Программа	Риторика 1748 г.
Способы	— К приобретению (красноречия) требуются пять следующих следствий:
Натура	— перьвое: природные дарования,
Правила	— вторoе: наука,
Примеры	— третье: подражание Авторов,
Упражнение	— четвертое: упражнении в сочинении,
Довольно в других делах [11]	— пятое: знание других наук.

Из этого материала П. Н. Берков делает вывод, что хотя статью Ломоносов не закончил, так как возможно, что начата «она была еще в 1753 году под непосредственным впечатлением полемики вокруг елагинской сатиры, и сознание невозможности опубликовать ее остановило Ломоносова», но он не оставил мысли «о статье, посвященной современной литературе», и, «вероятно, в конце 1754 или начале 1755 года вернулся к ней, придав ей на этот раз форму рассуждения о качествах стихотворца». Далее П. Н. Берков аргументирует датировку этой статьи «не позднее начала 1755 г.».[12]

---

[10] См. также: М. В. Ломоносов, Сочинения, т. IV, Изд. АН, СПб., 1898, стр. 265 (второй пагинации).

[11] В этом месте П. Н. Берков делает натяжку: в программе нет такого текста, а есть «довольно я зделал то и то». Слова «в других делах государству сложных» написаны отдельно, сбоку и являются отдельной припиской.

[12] П. Н. Берков, стр. 160.

После произведенной нами проверки текста программы по автографу выяснилось, что вторая часть программы имеет существенное расхождение с «Риторикой» Ломоносова.

Если в первых пунктах этой части программы не написанной Ломоносовым статьи («Способы») можно, при известном желании, видеть некоторые совпадения с пунктами из § 2 «Риторики», то относительно пятого пункта можно категорически утверждать, что он не совпадает с пятым пунктом этого параграфа. В программе намечается изложение лично Ломоносовым созданных трудов в области «словесных наук» («довольно я зделал то и то»). Судя по приписке, сделанной сбоку, Ломоносов намечал, по-видимому, какое-то изложение также собственных трудов «в других делах государству сложных». Все это не соответствует пятому пункту § 2 «Риторики», где говорится о «знании других наук» как необходимом условии «к приобретению красноречия». Отсюда никак не следует, что Ломоносов задумал писать статью о «качествах стихотворца». Это совсем другая тема, которой нет ни в первой, ни во второй частях программы. Кроме того, остается невыясненным вопрос о том, почему же осталась неосуществленной первая часть программы, где должна была идти речь «о нынешнем состоянии словесных наук в России» или «о чистоте российского штиля» и о «новых сочинениях российских»? От этого замысла остались лишь наброски начала статьи.

Мы считаем, что Ломоносов не продолжил начатой в 1753 г. статьи. Он не мог вернуться к оставленной статье, во-первых, потому, что был утрачен первоначальный повод для ее написания, а во-вторых, потому, что Ломоносов и физически не мог осуществить ее в силу своей исключительной занятости другими неотложными делами именно в начале 1755 г. Действительно, весь 1754 г. Ломоносов был занят до такой степени, что даже не смог закончить одно из важнейших своих начинаний — «Слово похвальное Петру Великому». Еще 4 января 1753 г. Ломоносов писал И. И. Шувалову: «Когда меня удостоверить изволите, что мои сочинения в прозе не противны, то можете иметь в том новый опыт, ежели мне в будущей 1754 год повелено будет говорить похвальное слово Петру Великому в публичном Академическом собрании, на что я готов положить *все свои силы*» (курсив наш, — *Л. М.*).[13] К концу 1754 г. Ломоносов даже не имел времени поделиться с Л. Эйлером своими мыслями о природе цвета, так как усиленно работал над панегириком. 28 ноября этого года он писал ему (перевод с латинского): «Хотя о многом хотел бы я в этом письме известить Вас, в особенности же сообщить Вам мысли

[13] П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 281, с ошибкой в дате письма (1755 г.).

мои о происхождении цветов, но мешает мне недостаток времени, ибо должен я спешить Похвальным словом Петру Великому, которое должен буду произнести 19 декабря».[14] Но и к этому сроку оно не было закончено. Работа прервалась вследствие еще более важного государственного дела — пересмотра регламента 1747 г. Ломоносов срочно собирал материалы для записки, озаглавленной «Важнейшее мнение о исправлении С.-Петербургской Академии наук», а затем писал ее; острая борьба вокруг этого дела даже привела Ломоносова к мысли о выходе в отставку. Борьба эта приняла такие широкие размеры, что еще и 22 апреля Ломоносов не закончил сочинения речи.[15] Но 26 апреля он произнес ее на торжественном празднестве в Академии наук по случаю дня коронования императрицы.[16] Крупные неприятности и напряженная работа в конце 1754— начале 1755 г. никак не способствовали возвращению Ломоносова к оставленной ранее статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России», не имевшей тогда никакой актуальности. Нет упоминаний о ней в «Росписи» Ломоносова о своих трудах, написанной в конце 1763 г. и обнимающей все главные его труды до этого года. Не упоминает о ней Ломоносов и в своем отчете о трудах за 1755 г. Здесь фигурируют все исполненные им и значительные для него работы этого периода: 1) «Диссертация о должности журналистов», опубликованная в том же 1755 г.; 2) «Письмо о Северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» — произведение, до сих пор неизвестное; 3) работы по русской истории; 4) «Слово похвальное Петру Великому», — оно стоит на первом месте среди трудов «в словесных науках»; 5) бóльшая часть «Грамматики»; 6) «Письмо о сходстве и переменах языков» — сочинение, до нас не дошедшее.[17] И кроме этого, Ломоносов занят был своими физико-химическими опытами в Химической лаборатории,[18] а после 10 мая до 1 августа Ломоносов находился в отпуску в своем имении Усть-Рудице, на стеклянной фабрике. 31 июля он уже представил в Конференцию Академии наук законченную «Русскую грамматику». Мы не останавливаемся на чисто служебных работах Ломоносова этого периода по Канцелярии и Конференции Академии наук.

---

[14] Там же, стр. 782—783.

[15] Там же, стр. 294—295.

[16] См.: М. В. Ломоносов, Сочинения, т. IV, стр. 352—354 (второй пагинации).

[17] См. заметки Ломоносова к этому «письму», собранные П. Н. Берковым, в кн.: М. В. Ломоносов. Избранные философские сочинения, стр. 261—263 и примечание П. Н. Беркова на стр. 335.

[18] П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова, стр. 302—303.

Таким образом, исключительная по продуктивности и напряженности работа Ломоносова конца 1754—первой половины 1755 г. и тяжелая борьба вокруг пересмотра регламента не дают возможности говорить о том, что он мог возвратиться к оставленному в 1753 г. замыслу статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России», хотя бы и под другим заглавием. С другой стороны, в апреле эта статья должна была бы уже быть в редакции «Ежемесячных сочинений». Это признает и сам П. Н. Берков и поэтому датирует написание рассуждения «О качествах стихотворца» началом 1755 г.

II

Вторым аргументом П. Н. Беркова за принадлежность статьи в «Ежемесячных сочинениях» Ломоносову являются его соображения о совпадении мыслей этой статьи как с программой статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России», так и с § 2 «Вступления» к «Риторике» Ломоносова 1748 г. В статье анонимного автора утверждается, что, для того чтобы стать настоящим поэтом, необходимо иметь: 1) «быстроту разума природную»; 2) знать «правила грамматические» и т. д.; 3) читать «в оригинале Авторов», или древних, или новых, которые тем (т. е. древним) «точно так, как великие великим подражали»; 4) подражать и упражняться, прежде чем выступать с самостоятельными трудами; 5) как можно больше обогащать свои знания из разных наук. Эти положения действительно полностью совпадают с § 2 «Риторики» Ломоносова, но, как это показано выше, не совпадают со второй частью программы ненаписанной статьи Ломоносова. Следовательно, анонимный автор рассуждения «О качествах стихотворца» целиком строил ее на «Риторике» Ломоносова 1748 г. Но к Ломоносову она по этому признаку не может иметь никакого отношения.

П. Н. Берков указывает, что автор этого «Рассуждения» подчеркивает необходимость чтения церковных книг: «церьковных словенских книг чтение весьма потребно к доброму слогу и правописанию» — и что Ломоносов писал о том же в «Риторике» 1748 г., в § 165: «Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церьковных (для изобилия речений, не для чистоты), от которых чувствую себе немалую пользу». Но это совпадение мыслей по вопросу о значении для писателя изучения церковных книг также показывает только, что автор «Рассуждения» прекрасно изучил и усвоил «Риторику» Ломоносова.

Переходя к стилистическим особенностям «Рассуждения», П. Н. Берков останавливается на ряде совпадений стилистической манеры автора «Рассуждения» с манерой Ломоносова. Им приводятся следующие примеры.

1. Характерные для Ломоносова абстрактные существительные с окончанием *-ство*. У автора «Рассуждения» находятся такие формы, как «живописство», «недостоинство», «взаимство», «пропицательство».

2. Обороту «о качествах стихотворца рассуждение» соответствует в произведениях Ломоносова выражение о «нашей версификации вообще рассуждение».

3. Фразе «сие самое есть светилом» соответствует у Ломоносова «сие есть причиною».

4. «Ломоносов строго наблюдал за расстановкой знаков ударения в словах с одинаковым правописанием, но разным произношением». В анонимном же «Рассуждении» «эта система проведена с исключительной последовательностью», и на это не могло влиять вмешательство корректора «Ежемесячных сочинений», так как обычно статьи в этом журнале печатались с сохранением особенностей орфографии автора.

Далее, П. Н. Берков указывает «на одно очень существенное расхождение между практикой Ломоносова и анонима», на орфографию ряда слов. Ломоносов писал: риторика, просодия, междуметие, Лукиан, Лукреций, Эсхил, а автор «Рассуждения» — реторика, прозодия, междометие, Люциан, Люкреций, Эшил и др. Это расхождение П. Н. Берков объясняет тем, что Ломоносов отсутствовал во время прохождения корректуры статьи и не мог ее держать. Он делает предположение, что либо Ломоносов внес эти изменения сознательно еще в рукописи с целью «конспирации», либо они были внесены Миллером или кем-нибудь из корректоров Академии наук при чтении корректуры. Последнее соображение, однако, находится явно в противоречии с аргументацией, находящейся в пункте 4. Если система ударений полностью сохранена в «Рассуждении» и свидетельствует, по мнению П. Н. Беркова, о важном признаке особенности начертаний Ломоносова и при этом корректор сохранил эту особенность в полной неприкосновенности, то почему же тогда тот же корректор внес изменения в орфографию отдельных слов? Если в первом случае корректор сохранил эту особенность, то он должен был ее сохранить и во втором. Или он должен был не сохранять ее в обоих случаях. Соображение же о «конспирации» нам представляется неосновательным, так как пришлось бы предполагать невероятный в условиях личных натянутых отношений Ломоносова и Миллера сговор по отдельному малосущественному вопросу.

Гораздо проще объяснить все эти «трудности» тем, что автором «Рассуждения» был не Ломоносов, а кто-либо другой, обладавший своим стилем и орфографией, в некоторых случаях совпадавшими со стилем и орфографией Ломоносова.

III

Мы можем назвать имя этого автора. Это был Г. Н. Теплов. Теплов был образованнейшим человеком своего времени, философом и писателем, а как всякий философ того времени он не мог не обладать знаниями из областей всех наук. Большинство философов были тогда энциклопедистами и эрудитами в большей или меньшей степени. Именно Теплову принадлежит вышедшая в 1751 г. и изданная Академией наук книга под заглавием «Знания, касающиеся вообще до философии для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут, собраны и изъяснены Григорием Тепловым. Книга первая» (вторая не появлялась).[19] Книга посвящена президенту Академии наук графу К. Г. Разумовскому и содержит обширное предуведомление «К читателю» (стр. 15—61) и 3 части: «О должности и имени философа», «О начале и приращении философской науки даже до нашего времени» и «О средствах, надобных для управления разума нашего в исследовании истинны». В ней Теплов касается почти всех наук: астрономии, навигации, мореходного дела, математики, физики, анатомии — как материала для обоснования «теоретической философии»; в ней изложена история философской мысли начиная с древнейших времен вплоть до Декарта, Гуго Гроция, Пуфендорфа и др. Упоминается даже Христиан Вольф. Последняя часть занята изложением собственно философских проблем, отражающих уровень этой науки к середине XVIII в. Книга написана хорошим чистым языком, в популярной форме, носит «учительный» характер и дает по тому времени много материала для русского читателя, не владеющего иностранными языками.

С этой целью Теплов на стр. 14 своей книги напечатал, кроме того, «Объявление слов, которые в философской материи по необходимости приняты в том разуме, как приложенные к тому латинския и французския разумеются», т. е. параллельный список русских, латинских и французских слов, всего 27 слов. В конце предисловия «К читателю» Теплов пишет: «Странным многим покажутся в сей книге слова принятые, как напр. Тожество, правдоподобие, бытность, идея, предуверение, предрассуждение и проч. Однакож сам благосклонный читатель, ежели прилежно вникнет в материю, о которой речь идет, увидит, что такие слова не что иное, как перевод, сколько возможно исправный, слов латинских, которые в философии необходимо надобны» (стр. 59—60). Между

---

[19] СПб., 1751, 301 стр. Описание книги см.: Н. В. Губерти. Материалы для русской библиографии, вып. I. М. 1878, стр. 121—123, № 74. (Далее цитаты приводятся по этому изданию, с указанием в тексте страниц).

тем большинство этих слов Теплов заимствовал у Ломоносова, они уже встречаются в его «Риторике» 1748 г.

Благодаря анализу, произведенному П. Н. Берковым, мы можем говорить теперь и о том, что Теплов прекрасно изучил «Риторику» Ломоносова 1748 г. и свое «О качествах стихотворца рассуждение» целиком построил на положениях, высказанных Ломоносовым в § 2 «Вступления» к своему труду.

Продолжая наши возражения П. Н. Беркову, мы можем констатировать, что в книге Теплова находятся почти все отмеченные им стилистические и орфографические особенности этого «Рассуждения»:

1. В книге Теплова содержится множество слов на *-ство*: посредство, тожество, несовершенство, сообщество, качество, обязательство, художество, вещество и др. Все эти слова Теплова, а также подобные слова у Ломоносова встречаются также и у современников. Это явление — типичное для эпохи.

2. Оборот «о качествах стихотворца рассуждение» является также типичным для эпохи вообще, а не только для Ломоносова.

3. Фразы, начинающиеся со слова «сие» в книге Теплова встречаются несколько раз: «Сие бывает иногда» (стр. 16); «Сие их обыкновенное отмщение» (стр. 28); «Сие, правда, не всяким после случалося» (стр. 42) и мн. др.

4. Вся книга содержит систему ударений на словах с одинаковым правописанием, но разным произношением: ниже, уже, трубы, подать, образ, вести, начала и т. п. (см. также в приведенных выше цитатах). Ясно, что Теплов принял систему Ломоносова из его «Риторики». Этой же системы придерживался и ученик Ломоносова — Н. Н. Поповский.

Особенностью орфографии Теплова объясняется и расхождение его с Ломоносовым в написании вышеупомянутых слов в «Рассуждении» (реторика, прозодия, междометие, Люциан и др.).

Дальнейшая аргументация П. Н. Беркова касается знания автором «Рассуждения» живописи и музыки и особенно физики. Мы не будем повторять приведенные П. Н. Берковым цитаты из «Рассуждения», нужные ему для доказательства принадлежности «Рассуждения» Ломоносову. Для нас важен общий его вывод: «Прекрасное знание физики ... говорит и о том, что автор не менее прекрасно владел русской физической терминологией. Иными словами, ‹это› лицо не было дилетантом в области физики, а было основательно осведомленным специалистом, и к тому же нисколько не затруднявшимся не разработанной в то время физической терминологией. Следовательно, автор теоретико-литературного „О качествах стихотворца рассуждения“ был в то же время специалистом-физиком. Кто же мог совмещать эти возможности в ту эпоху, кроме Ломоносова? Таким образом, все приведенные

данные — идеологические, стилистические и биографические — говорят за то, что автором „рассуждения“ Ломоносов мог быть. Против же его авторства показаний никаких нет».

Что касается искусств, и в частности музыки, то хорошо известно, что именно Теплов обладал в XVIII в. в России огромными теоретическими и практическими познаниями в музыке. Его имя вошло в историю русской музыкальной культуры, и сам П. Н. Берков доказывает существование первого издания сборника Теплова «Между делом и бездельем», выпущенного еще «в конце сороковых или начале пятидесятых годов» (известны издания 1759 и 1776 гг.), и приводит о Теплове-музыканте специальную библиографию. В «Рассуждении» же находится одно место, особо П. Н. Берковым не цитированное, которое определенно указывает на то, что его мог написать только Теплов, а не Ломоносов, не обладавший в этой области специальными познаниями: «Так как незнающему композиции музыкальной, когда секунда, кварта, секстаминор и септима суперфлуа зделают диссонанцию, то по коих пор кварта на терцию, секста на квинту а септима на октаву не разрешатся, ухо его раздражает».

Приведенные П. Н. Берковым цитаты относительно будто бы специальных познаний автора «Рассуждения» в области физики не дают оснований для подобного заключения. Автор «Рассуждения» повторяет здесь известные всякому образованному человеку того времени истины, давая краткие сентенции о невозможности для любителя физики заниматься этой наукой, не зная математики и химии, «правил Механических, Гидравлических и проч.», для любителя медицины — не зная анатомии, ботаники и тому подобных наук, для любителя астрономии — не зная навигации и оптики. «Ни физик, ни медик, ни астроном именем сим назваться сами не похотят, хотя бы они и прямые любители сих наук были». Подобные же мысли и рассуждениях мы находим и в книге Теплова. Она ими наполнена. Сравниваем такое место: «Математика сама в себе части свои имеет, как например: Механику, Оптику, Астрономию, Гидравлику, Гидростатику, Аерометрию и проч., в которых метод делает сама Математика. Помощию оныя мы познаем в Механике, то есть в Математической части, силу и количество движений. Ее же помощию находим в Астрономии движение тел небесных и так дале» (стр. 125—126).

Больше того, если судить по таким высказываниям, то мы должны были бы причислить Теплова к крупнейшим физикам-специалистам, так как в его книге находим специальный экскурс об электричестве — дисциплине, тогда еще (1751 г.) только начавшей завоевывать свое место среди физических наук: «Сила електрическая есть свойство некоторых тел, как напр.: шелку и проч., которым ближние лехкие самые тела чрез кратчайшее

время притягиваются или отпрыгивают иногда с прыткостию, а иногда лениво. Опыт малый видим обыкновенно на хорошем сургуче, янтаре и проч. Ежели же сила сия умножена бывает через особливой к сему способ, то из тех тел, которые ей прикасаются, отпрыгивают трескучие искры, которые зажечь могут всякой крепкой спирт. Иногда же отпрядывает без треску свет или слабое некое сияние, из бесчисленных лучей состоящее, наподобие круглого клина, обращенного острым концем к телу неелектризованному. Так, напр.: когда человек к шару хрустальному (который бы был чист, сух и пуст, вставлен в токарный станок и большим колесом в одну сторону беспрерывно оборачиван с скоростию) приложит чистую сухую руку, стоячи сам на застылой в кадушке смоле, а другую опустит протянутую к спирту, недотыкаяся до оного в самой близости: то искры выбросятся из перстов трескучие и зажгут спирт; только бы он был крепок и немного подогрет. То же самое может зделаться, хотя бы из руки своей к спирту кусок металлу какого или льду приступил в место перста. Для показания силы електрической многоразличные опыты делаются, и великого удивления достойные, которые в каморе физической при Академии Санктпетербургской любопытные видеть могут. Однакож ученые люди не довольно еще испытали о причинах таковых в натуре явлений и разные теории по различию разумов своих показывают. Было бы их к тому тщание! Время покажет» (стр. 38—40).

Вряд ли и сам Ломоносов, конечно присутствовавший на тех же самых опытах в физическом кабинете Академии наук, знал об электричестве тогда больше, чем Теплов. Достаточно сравнить приведенное описание Теплова с опубликованной нами запиской Ломоносова, относящейся к тому же времени, «Наивящего примечания достойные электрические опыты»,[20] чтобы это стало очевидным. А ведь Теплов не был физиком и электричеством специально не занимался.

Что касается физической терминологии, употребляемой автором «Рассуждения», на которую П. Н. Берков также обращает особое внимание, то она тоже не представляет для того времени никакого исключения. Она состоит из общеизвестных терминов разных наук. Ничего специфического, дающего право П. Н. Беркову говорит о том, что автор «„Рассуждения“ не менее прекрасно владел русской физической терминологией», в «Рассуждении» не имеется.

Таким образом, со всех точек зрения «Рассуждение» не может принадлежать Ломоносову, но безусловно принадлежит именно Теплову.

[20] См. нашу книгу «Рукописи Ломоносова в Академии наук» (Л., 1937, стр. 300–304).

Отводя кандидатуру Н. Н. Поповского как возможного автора «Рассуждения», П. Н. Берков останавливается на цитируемых в «Рассуждении» стихах из перевода «De arte poëtica» Поповского 1753 г. П. Н. Берков установил интересный факт, что в одном месте перевод Поповского оказался недостаточно точным и автор «Рассуждения» заново перевел его, но прозою, уточнив смысл подлинника. При этом переводчик обнаружил «более тонкое и углубленное знание римского поэта, чем Поповский». Это также дало П. Н. Беркову основание считать автором «Рассуждения» Ломоносова.

Известно, что Г. Н. Теплов свободно владел латинским языком. Поэтому понятно, что он мог более точно, чем Поповский, перевести в данном случае нужный для цитации отрывок из Горация. Приведем этот текст:

Почти всякой-де невежа делать стихов не стыдится.
Что за причина? Дворянин, свободный, и достаток имеешь,
Ежели хочешь быть разумен и рассудлив,
Не имев способность писать, отнюдь не дерзай;
Но буде уже что написал, дай Тарпе, отцу и мне прочитать
Или запри те бумаги в сундук лет на десять;
То еще всегда выскребешь, что в народ не издал,
А напечатавши, знай, что слова не поворотишь.

Очевидно, для того чтобы этот перевод внешне не отличался от цитированных ранее отрывков из Горация в стихотворном переводе Поповского, автор «Рассуждения» расположил свой прозаический перевод как стихотворный (начальное слово каждой строки напечатано с прописной буквы). Несомненно, Ломоносов свой новый перевод также сделал бы стихами. Он никогда не допустил бы такого «соревнования» со своим учеником, Поповским, к своей невыгоде как поэта. Теплов же не умел писать стихи, а потому вынужден был прибегнуть к некоторой фальсификации стихотворной цитации. Все это определенно говорит о том, что перевод этот принадлежит именно Теплову, а не Ломоносову.

Таким же образом в «Рассуждении» переведены и отрывки из Буало, Овидия и Вергилия. Мы знаем, что Ломоносов стихотворные цитаты, например в «Риторике» 1748 г., всегда переводил сам и притом стихами.

В «Рассуждении» есть, кроме того, и другие прозаические переводы из Горация, но напечатанные прозаической строкой. Ломоносов никогда не допустил бы подобного разнобоя во внешней передаче цитат, не говоря уже о том, что он цитату из латинского поэта перевел бы только стихами.

Отметим еще характерную деталь. Все цитации переводов из разных поэтов в «Рассуждении» сопровождаются подстрочными сносками, в которых приводятся соответствующие им латинские

или французские тексты. Ломоносов никогда в своих сочинениях не прибегал к такому способу цитирования, и подстрочных сносок у него вообще нет.

Все эти факты определенно свидетельствуют о том, что автором «Рассуждения» Ломоносов никак не мог быть. Но эти же факты говорят в пользу Теплова.

В дальнейшем П. Н. Берков останавливается на некоторых совпадениях отдельных слов (например, «нескладные песни» — «нескладное плетенье» и др.) и мыслей в «Рассуждении» и в сохранившемся начале статьи Ломоносова «О нынешнем состоянии словесных наук в России». Эта же аргументация повторена П. Н. Берковым и в примечаниях к этой статье Ломоносова, вошедшей в сборник «Стихотворения Ломоносова» под редакцией академика А. С. Орлова (1935, стр. 371—372). Нами уже установлено, что программа статьи Ломоносова «О нынешнем состоянии словесных наук в России» не имеет ничего общего с положениями § 2 «Вступления» к «Риторике» 1748 г., на которых построено рассуждение «О качествах стихотворца». Следовательно, начало статьи «О нынешнем состоянии словесных наук в России» также никакого отношения к «Рассуждению» иметь не может.

П. Н. Берков видит одинаковые мысли в двух этих статьях в отношении вредности для юношества худых примеров: «Сверх того, подав худые примеры своих незрелых сочинений, ‹они› приводят на неправой путь юношество, приступающее к наукам, в нежных умах вкореняют ложные понятия, которые после истребить трудно или вовсе невозможно» («О нынешнем состоянии словесных наук в России»); «Малинькая песня или станс, которая и без науки и в худых рифмах может иногда мысль удачную заключать, так нас вредит иногда, что мы и Автора и учителя имя на себя смело и тщеславно приемлем» («Рассуждение»). Но в приведенных отрывках нет совпадения мыслей, Ломоносов говорит о незрелых сочинениях, вредных для юношества, а автор «Рассуждения» говорит о поэте, который присваивает себе имя Автора и учителя на основании случайно высказанной удачной мысли.

Таким образом, в этих двух сочинениях нет ничего общего ни по задачам, ни по направлению мыслей. Случайные же совпадения отдельных слов у разных авторов всегда возможны, в особенности, когда круг писателей и притом высокообразованных, как Теплов, был слишком мал. Дело заключается не в голых совпадениях слов, которых можно найти сколько угодно у писателей определенной эпохи, а в совокупности более существенных доказательств. Доказательства же и аргументация П. Н. Беркова нами опровергаются полностью.

Итак, Ломоносов не был автором «О качествах стихотворца рассуждения».

IV

До сих пор говорилось о принадлежности Г. Н. Теплову «О качествах стихотворца рассуждения» лишь в связи с отрицанием кандидатуры Ломоносова. Теперь можно остановиться более подробно на документальных материалах, свидетельствующих о принадлежности этого «Рассуждения» именно Теплову.

П. Н. Берков уже ссылался на протокол заседания Конференции Академии наук от 10 мая 1755 г.,[21] в котором есть упоминание об этом «Рассуждении», но без указания имени его автора. Ни Ломоносов, ни Теплов на этом заседании не присутствовали. Мы располагаем в настоящее время той самой рукописью этого «Рассуждения», которая рассматривалась в названном заседании и с которой производился набор для майской книжки «Ежемесячных сочинений».[22] Рукопись писана рукою постоянного переписчика Теплова — актуариуса Х.-Ф. Фелькнера[23] с немногочисленными поправками самого Теплова. Первоначально в заголовке не упоминалось его имени, и «Рассуждение» имело другое заглавие: «Рассуждение о качествах стихотворства». Теплов своею рукою внес изменения, и в результате заглавие получило такой текст: «О качествах стихотворца Рассуждение Григорья Теплова». Но на этом поправки не прекратились. Теплов явно колебался, сохранить ли свое имя или убрать. Процесс этого колебания в рукописи отражают два момента: имя и фамилия зачеркиваются, но затем восстанавливаются рядом тире. В окончательном печатном виде фамилия все же отсутствует.

Поправки Теплова в тексте самого «Рассуждения» носят главным образом стилистический и орфографический характер. Есть несколько определенных смягчений отдельных резких слов. Например, во фразе: «Часто видим сноснее быть в беседе с невежею, по природе разумным, нежели с ученым, который мнит только быть себя таковым и которого прямо назвать можно ученым „дураком“» — слова «невежа» и «дурак» заменены в первом случае словом «неученым», а во втором —словом «невежею», как напечатано

[21] Протоколы заседаний Конференции Академии наук, т. II. СПб., 1899, стр. 328; П. Н. Берков, стр. 156.

[22] Архив АН СССР, разряд II, он. 1, № 217. лл. 239—248.

[23] Христиан Фридрих Фелькнер родился в 1728 г. в Магдебургском дистрикте, в г. Галле, и учился в гимназии. В марте 1747 г. приехал в Россию и с 15 февраля 1748 г. поступил на службу в Академию наук копиистом «немецких дел». 15 мая 1751 г. произведен был в канцеляристы и определен в «Малороссию» при Академии наук президенте графе К. Г. Разумовском «для отправления академических дел»; с 1 мая 1753 г. состоял актуариусом при Г. Н. Теплове; 25 июня 1756 г. получил ранг переводчика, а 28 июня был по прошению уволен из Академии (Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, № 2332, лл. 76, 96 об. и 107; № 211, лл. 168 и 174). Х.-Ф. Фелькнер никогда не переписывал статей и работ Ломоносова.

в тексте «Ежемесячных сочинений (1755, май, стр. 373). Интересен и первоначальный текст фразы о Сумарокове: «... закричит, ты-де по Сирски говоришь, но когда напишет сам мадригал...». В рукописи это место исправлено Тепловым: «...закричит, ты-де по Сирски говоришь. Сам, напротив того, когда напишет мадригал...»; оно соответствует печатному тексту (стр. 378). Из стилистических поправок можно отметить следующее. Фразу «Равным образом стихотворец, не знающий грамматических правил довольно, реторических и того меньше...» Теплов исправляет: «Равным образом стихотворец, не знающий ниже грамматических правил, ниже реторических...» (стр. 378). Слово «ниже» было свойственно языковому мышлению Теплова (см. выше). Так же как и Ломоносов, он употреблял его систематически, возможно не без влияния языковой практики Ломоносова, а может быть, и в силу своего семинарского образования. На других стилистических поправках Теплова останавливаться не имеет смысла.

Кроме подлинной рукописи Теплова, можно указать еще на два факта, подтверждающие принадлежность именно Теплову рассуждения «О качествах стихотворца». В нем содержится намек на «литературные состязания» поэтов: «Сьехався с соперником и поговоря трусливо, тотчас вскричит тебе, возмем перо и бумагу, кто больше из нас напишет. Таково нещастие и Гораций в свое время терпел: „Тот час-де Криспин меня вызывает, возмем, буде хочешь перо, возмем буде бумагу, пусть нам дадут место, час и свидетелей; посмотрим, кто больше из нас напишет“». Приведя эту цитату, П. Н. Берков правильно указывает, что здесь имеются в виду «литературные состязания», любителем которых был Сумароков («Три оды парафрастические псалма 143», «Несколько строф двух авторов» и т. д.). Но при этом П. Н. Берков упускает из вида, что Ломоносов также принимал участие в этих «состязаниях». Если бы он был автором «Рассуждения», он, конечно, не стал бы приводить этого примера, высмеивающего его самого. Отсюда очевидно, что писал «Рассуждение» Теплов, имея в виду здесь в первую очередь или единственно Сумарокова.[24]

Второе соображение касается одной мысли Теплова, развитой им в самом начале «Рассуждения»: «Но прежде нежели мы можем сами собою доброту Авторов разобрать, прежде нежели дойдем до таковой способности, *жизнь наша проходит*, и тогда в состоянии почитаем себя видеть способными прямо учиться, когда на конце оныя уже стоим. Разум наш открывается после многого иногда заблуждения, ежели не имеет прежде доброго руководителя, и люди *отворяют глаза, когда ночь уже приближилася,* то есть зрелость оного *при конце жития нашего*» (стр. 372). Эту

[24] П. Н. Берков, стр. 168—169, 182.

мысль мы встречаем у Теплова еще в 1751 г. в его книге «Знания, касающиеся вообще до философии»: «Но что сие есть знать просто бытность, бытности причину, причины силу и количество? Дело сие требует *целой жизни человеческой, а всегда и того мало*». Тут же Теплов подкрепляет ее цитатой: «Иппократ свои афоризмы начинает сим словом vita brevis, ars longa, *жизнь краткая, а наука пространна*» (стр. 67).

Итак, можно сделать окончательный вывод. Анализ «учительного» содержания книги Теплова 1751 г. «Знания, касающиеся вообще до философии» и статьи «О качествах стихотворца рассуждение», совпадение отдельных положений этих сочинений, анализ стилистических и орфографических приемов Теплова, а также наличие документа — рукописи Теплова «О качествах стихотворца рассуждения», — все это доказывает, что автором «Рассуждения» был Теплов.

К сказанному можно добавить, что напечатанное анонимно вслед за рассуждением «О качествах стихотворца» «Рассуждение о начале стихотворства» [25] также принадлежит Г. Н. Теплову, как это установил П. Н. Берков [26] на основании протокола заседания Конференции Академии наук от 5 июля 1755 г.[27] В дошедшей до нас рукописи его,[28] оставшейся П. Н. Беркову тоже неизвестной, имени Теплова не значится. Однако рукопись писана тем же почерком актуариуса Х.-Ф. Фелькнера и имеет поправки, сделанные рукою Г. Н. Теплова. Это второе «Рассуждение» подтверждает, между прочим, принадлежность именно Теплову и первого «Рассуждения». Достаточно привести начало «Рассуждения о начале стихотворства», чтобы это стало вполне очевидным. Теплов пишет: «Прежде нежели рассуждаемо было о качествах стихотворца, надлежало было показать свое мнение о начале стихотворства; но тогда нужда воспотребовала ускорить с тем, чтоб найти прямого стихотворца и отличить от того, *кто напрасно имя сие на себя приемлет*: того ради порядок по нетерпеливости нарушен» (курсив наш, — *Л. М.*) (стр. 3).

Но и этими материалами вопрос о принадлежности Г. Н. Теплову обоих «рассуждений» не исчерпывается.

V

Как установил П. Н. Берков, «О качествах стихотворца рассуждение» имеет определенный полемический характер и входит в ряд полемических произведений, направленных против Сумаро-

[25] «Ежемесячные сочинения», 1755, июль, стр. 3—14. (Далее страницы приводятся в тексте в скобках).
[26] П. Н. Берков, стр. 170—171.
[27] См. Протоколы..., т. II, стр. 331; П. Н. Берков, стр. 309, прим. 17.
[28] Архив АН СССР, разряд II, оп. 1, № 217, лл. 335—339.

кова и его поэтической школы; в частности, оно имеет определенные выпады против Сумарокова и И. П. Елагина как представителей дворянской поэзии малых жанров, главным образом любовной песни, мадригала, эклоги, элегии и т. п. В то же время оно содержит, как правильно показал П. Н. Берков, четко сформулированные требования для настоящих поэтов, каковыми автор «Рассуждения» (по ошибочному мнению П. Н. Беркова — Ломоносов) ни Сумарокова, ни Елагина не считает. Требования эти сводятся к выдвижению на первый план определенной программы «учительной» поэзии, литературы, имеющей общественное значение. Автор «Рассуждения» требует, чтобы поэт писал «учительные поэмы», «что-либо учительное» и «служил наукою народу».

Все эти мысли, очень близкие и к мыслям Ломоносова, на самом деле, как это теперь устанавливается, принадлежат Теплову. Если сопоставить его первое и второе «Рассуждения» под этим углом зрения, то «нетерпеливость» Теплова вполне объяснима. Задача первого «Рассуждения», как он сам определил ее в начале второго «Рассуждения», заключалась в том, чтобы «найти прямого стихотворца» и его «отличить от того, кто напрасно имя сие на себя приемлет», кто пишет «безделицы», т. е. определить роль и значение настоящего стихотворца, поэта-гражданина, «перстом измеряющего людские пороки». И для него было ясно, что ни Сумароков, ни Елагин такими стихотворцами не являлись. В данном случае Теплов объективно примыкал к идеологической программе Ломоносова и объективно делал с ним одно дело — служил интересам просвещенного абсолютизма. Теплов, таким образом, воспринимал ломоносовскую позицию классицистской поэтики теоретически, но сам практически не был в состоянии ее осуществлять, не будучи поэтом. Вот почему в своих «рассуждениях» Теплов не сделал никаких выпадов против Ломоносова в связи с происшедшим конфликтом 23 февраля 1755 г. и напечатанным перед этим Ломоносовым стихотворением «Правда ненависть раждает». Эти конфликты воспринимались Тепловым только в личном плане и не рассматривались им как принципиальные, что мы видим по отношению к Сумарокову и Елагину. Приятие Тепловым литературно-идеологической позиции Ломоносова в то же время не мешало ему расходиться с Ломоносовым по ряду общественно-политических вопросов, в частности в отношении понимания идеи служения русскому народу. Чиновник-карьерист и крепостник Теплов был, конечно, очень далек от просветительских идей Ломоносова. Найти общий язык с Ломоносовым по вопросу о большем предоставлении прав русским ученым студентам по сравнению с иностранцами, Теплов, конечно, не мог. Слишком огромна была разница в их понимании задач русского народного

просвещения. Доказательством тому служит двадцатилетняя борьба Ломоносова против Теплова.

Даже и в одинаковом, казалось бы, восприятии пафоса литературно-гражданского служения у Теплова и Ломоносова есть некоторая принципиальная разница. Если Теплов это служение понимал в смысле «учительства», дидактизма, «обличения людских пороков», то Ломоносов понимал его гораздо шире, как служение «просветительское» в глубоком смысле этого слова. И это свое понимание Ломоносов осуществлял и в своей научно-практической, и в литературной деятельности. Теплов же никак практически не осуществил своей «учительной» проповеди. Она была для него лишь средством для достижения личных выгод. Глубоко идейная позиция Ломоносова исключала беспредметное «учительство».

Вот почему он не мог включить в свою программу тезиса о поэте-гражданине, «перстом измеряющем людские пороки». Он был для него слишком узок. Этот тезис, как теперь установлено, и не принадлежал ему. Автором его был Теплов.

Выступления Теплова в литературной полемике в «Ежемесячных сочинениях» против сумароковской поэтической системы — это новая страница в истории русской журналистики и в истории общественно-политической борьбы середины 1750-х годов. Вступая впервые со своим первым «Рассуждением» в эту борьбу, Теплов не сразу, однако, разрешил вопрос о способе выступления — открытом или закрытом, тайном. Этим объясняются его колебания в раскрытии или сохранении в неизвестности своего имени. Он выбрал последнее.

Антисумароковская позиция Теплова не была случайной к 1755 г. Известно, что еще в 1750 г. Теплов поручил В. К. Тредиаковскому собрать критический материал против Сумарокова. Тредиаковский писал в своем доношении президенту Академии наук 8 марта 1751 г.: «Сочинил я критику по приказу бывшего академического ассесора Григорья Теплова на некоторые сочинения господина Александра Петрова сына Сумарокова». Это было обширное «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятелю к приятелю 1750».[29] Поручение это было для Тредиаковского, как он пишет, неожиданным: «Многажды я к вам писывал о разных делах; но никогда и на ум мне придти не могло, чтоб я должен был когда написать к вам апологетическое и критическое письмо, каково есть сие настоящее». К сожалению, остается неизвестным, какое

---

[29] См.: А. А. Куник. Сборник материалов по истории императорской Академии наук в XVIII в., ч. II. СПб., 1865, стр. 434—500.

направление дал Теплов этому письму, как использовал его против Сумарокова и его поэтической школы. В 1755 г. он решил выступить уже сам с теоретическим рассуждением о качествах стихотворца, направленным против Сумарокова и Елагина как поэтов, «напрасно приемлющих» на себя это звание. Не желая все же открыто принять участие в общественно-литературной борьбе, Теплов скрыл свое имя. Мы не знаем, каковы были личные отношения Теплова с Сумароковым. Не надо забывать, что Сумароков был адъютантом у графа А. Г. Разумовского, брата К. Г. Разумовского, при котором состоял Теплов. Между ним и Сумароковым могла возникнуть и личная вражда в связи с борьбой за влияние на фаворита Елизаветы Петровны — А. Г. Разумовского. Известно, что другого адъютанта А. Г. Разумовского — И. П. Елагина Г. Н. Теплов ненавидел и донес на него в 1758 г., во время ареста канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина и производства над ним следствия. И. П. Елагин также был тогда арестован.[30] Все эти вопросы требуют дальнейших специальных разысканий.

Во всяком случае теперь можно говорить о том, что и Сумароков, и Елагин были политическими врагами Теплова. Они приняли вызов, направленный против них в рассуждении «О качествах стихотворца», и ответили на него, но не так, как об этом рассказывает П. Н. Берков в своей книге, потому что он рассматривал полемический материал «Ежемесячных сочинений» совсем под другим углом зрения. Заново пересмотренный нами материал показывает, что и Сумароков, и Елагин раскрыли анонимного автора рассуждения «О качествах стихотворца» и именно против Теплова направили свои удары.

В той же книжке «Ежемесячных сочинений»,[31] где опубликовано второе «рассуждение» Теплова — «О начале стихотворства», о котором будет сказано дальше, начала печататься длинная статья И. П. Елагина под заглавием «Автор», представляющая свободный перевод из «Лейпцигских увеселений разума».[32] В примечании к «первому листу» он говорит от имени своего приятеля: «Токмо он не обязывается точно к переводу, но будет употреблять вольность, иногда что переменить или выкинуть, по своему рассмотрению, что уже и чинил он здесь при начале»

---

[30] А. А. Васильчиков. Семейство Разумовских, т. I. СПб., 1880, стр. 250—251.

[31] «Ежемесячные сочинения», 1755, июль—декабрь.

[32] В «Belustigungen des Verstandes und des Witzes» за июль—декабрь 1743 г. была помещена анонимная статья «Der Autor». П. Н. Берков производил сличение русского и немецкого текстов этой статьи и пришел к выводу, что «перевод» И. П. Елагина сделан «применительно к русским условиям» (П. Н. Берков, стр. 171).

(июль, стр. 83). Весь интерес этой статьи, особенно «первого листа», заключается в том, что она направлена не против Ломоносова, как думал П. Н. Берков, а против Теплова.

Прежде всего самый выбор заглавия статьи «Автор» сделан И. П. Елагиным преднамеренно. Заглавие «Автор», характеризующее будто бы автора этой статьи, с одной стороны, является откликом на неоднократные упоминания слова «Автор» в первом «Рассуждении» Теплова; с другой стороны, Елагин под именем «Автора» пародирует очень тонко и очень остроумно того самого автора из «Рассуждения» Теплова, которого тот представляет себе как идеал «стихотворца». «Рассуждение» Теплова от начала и до конца нравоучительно; Теплов наделяет своего идеального Автора множеством положительных качеств, а Елагин пародийно снижает этот авторский идеал. Издевка Елагина над Тепловым усиливается еще тем, что своим «Автором» Елагин зло высмеивает и самого Теплова. Проиллюстрируем это рядом примеров, не касаясь вновь тех мест «Рассуждения» Теплова, которые правильно определены П. Н. Берковым в его книге как направленные против А. П. Сумарокова и И. П. Елагина.

«Автор» И. П. Елагина в основном рассматривает себя именно как представителя нравоучительной философии. В этом заключается определенный намек на Теплова, выпустившего в 1751 г. свою книгу «Знания, касающиеся вообще до философии», о которой речь была выше. «Автор» пишет: «Учителей хотя я и не имел, но был у таких людей, которые нечто знали и которых я еще в робячестве уже презирать зачал. Все я понимал своею остротою. На одиннадцатом году знал уже я наизусть букварь, которой на тринадцатом щастливо позабыл, чем некоторые на двадцатом разве похваляются. Без всякого порядка я учился, ибо для меня все было равно; за что я ни принимался, все пожирать мог. Древних хотя я и презирал, однако не всех: только Аристотеля и Анакреонта, *ради их греческого языка*, не мог я никогда терпеть. И естьлиб Петр Рам (Петр Рам француз родился в 1515 году в деревне Вермандуя, учился в Париже, и на 21 году своего возраста зачал писать о философии, отвергая Аристотеля), непредускорил, то бы, конечно, я перьвого лишил всей славы. Новых творцов я головою не читал, совершенно зная, что я сам меньше их не буду, как Шарпантиэр в Французской Академии в речи о господине Бензераде сказал: „Он достиг красоты древних творцов, никогда их не зная и не читая“. Удивительно, что я о себе так много говорю! Но надлежит быть чистосердечну. Признаюсь, что *я иногда реэстры книгам читаю.* А понеже они суть души книг: для того я без гордости могу сказать, что я мало о теле помышляю. Сим образом *стал я прямым ученым человеком*, который ни к чему не прилежал, *но во всех науках Автором быть мо-*

жет. Из философии знаю я математический способ учения, противуречия, действующую причину, Монады, согласие, лутчей свет и другие сии подобные слова, которыми я при случае боле наделаю шуму, нежели полицейские барабаны во время пожара. *Невтону* даю перед *Лейбницом* преимущество: не для того, чтоб *я их читал,* но только для того, что я более люблю Агличан, нежели Немцов. Все, что я пишу, *имеет нечто высокое*, достойное меня, а *труда мне неприключающее* (курсив наш, — *Л. М.*)» (июль, стр. 89—91).

Выделенные места в этом отрывке содержат определенные намеки на Г. Н. Теплова или являются ответом непосредственно на соответствующие места «Рассуждения» Теплова и его книги «Знания. касающиеся вообще до философии», или иронически характеризуют его как всеобъемлющего ученого-философа, знающего все науки.

Владея латинским и французским языками, Теплов не знал языка греческого. Теплов обладал знаниями в области многих наук как философ и писал о стихотворцах в своем «Рассуждении» с точки зрения именно философа: «Стихотворцы всегда за премудрых и ученых людей в философии почитались как в самой древности, так и в новых веках» (стр. 376); «Положи основание по правилам философии практической к благонравию. Пробеги все прочие науки и не кажись в них пришельцем» (стр. 383); «Словом сказать, мой не тот конец, чтоб сия книга сочинена была для школы, по которой молодым людям учиться; но для тех, которые общее познание хотят иметь о науке философской, хотя притом никаких наук не училися и учиться не намерены. И для того изъяснить я намерен все философские положения не математическими и не такими, которые из других частей науки философской взяты примерами: да принужден был брать то, что в обыкновенном людском житии случается» («Знания, касающиеся вообще до философии», стр. 59); «Чтоб кратче и способнее можно было понять, что значит слово сие философствовать, того ради я три знания наперед предлагаю: знать вещи простобытность, знать бытности причину, знать причины количество и силу» (там же, стр. 66—67); «Новейшие философы все уже приняли, правды свои не инако, как математическим способом доказывать» (стр. 120) и др. Именно «математическому познанию» Теплов отдает преимущество в своей книге (см. специальную главу «О познании математическом», стр. 116—121). В восьмой главе своей книги («О философии средних веков и новой») Теплов много места уделяет французу Декарту, а Ньютона и Лейбница лишь упоминает вскользь (стр. 228—236).

Далее «Автор» переходит к вопросу о стихотворцах. Являясь непосредственным ответом на статью Теплова, это место «Автора»

подчеркивает отсутствие у Теплова стихотворческого дарования. Это место намекает также на то, что, не будучи стихотворцем, Теплов рассуждает о стихотворцах и об их качествах. Приведем еще одну выписку из «Автора» Елагина для иллюстрации этого положения.

«Я, не взирая на превеликую мою остроту, *не стихотворец*. Не трудно бы мне было сие малое и пустое наименование приобресть; ибо я довольный рифмам Лексикон имею, естьлиб только я хотел: но я не хочу приложить к тому рачения, ради некоторых особливых притчин. Довольно, и без лаврового венца, довольно говорю, есть во мне такова, чему я удивляться могу. Я человек, которой никогда без рассуждения ни о чем не заключает; а о том уже я заключил, что *Стихотворцы все дураки*. Есть ли другие люди, которые бы равное мнение со мною имели, того я не знаю. Мне и то некогда от Дорисы досадно было, как она, уведав, что я стихов не сочиняю, ответствовала: „Потому надобно, чтоб он малевал хорошо". Против обыкновения своего, прочитав я последнее свое признание, боюсь, чтоб тем многова числа читателей, а паче из женского пола не потерять, когда они узнают, что в моих листах ничего стихотворного не будет. Для того позволяю всем Стихотворцам употреблять в славу свою и пользу мое издание. Сам я никогда сей подлости не зделаю, чтоб сочинять стихи; но прошу Стихотворцов, чтоб они не иное что, как хорошие родильные, свадебные, имянинные и погребательные кармины ко мне присылали. Ибо сии суть прямые случаи, при которых стихотворство имеет свое достоинство. Мы, то есть я и другие великие люди, которые равные со мною имеют причины не стихотворствовать, почти не видим ныне хорошей поезии, ниже существа ее; ибо стихотворцы упражняются в других родах стихов, а не в тех, которые упомянуты мною. Дав я волю Стихотворцам включать их враки в моего Автора, за надобность нахожу объявить, что я и письма принимать стану. Предвижу я, что меня со всех сторон похвалами замучут: и для того, целомудренно прошу, кротости и учтивства моего в жестокой опыт не вводить. Притом потщусь я при случае рассматривать всякие выходящие в свет книги и сочинителей или похвалять, или порочить. Что до женскова полу принадлежит: они найдут впредь в моем авторе совершенный наряд, из разных галантерей состоящей, и почерпнут из кратких моих листов больше удовольствия и пользы, нежели из всех стихотворцов и протчих Авторов и переводов. Грамматические ошибки хотя я и делаю; но они потому приметны быть не могут, что я о всех протчих писателях, а особенно о стихотворцах, кричу, что они грамматики не знают» («Ежемесячные сочинения», 1755, июль, стр. 92—94).

Пародийно снижая здесь значение стихотворца («стихотворцы все дураки» и т. п.), Елагин особенно зло издевается над Тепло-

вым, требующим от поэта создания «учительных» произведений. В ответ на это требование Елагин предлагает стихотворцам сочинять «хорошие» родильные, свадебные, именинные и погребальные кармины, т. е. стихотворения, не имеющие никакого художественного значения.[33] Выпад же относительно грамматических ошибок перекликается со статьей Теплова «О качествах стихотворца», где говорится, что «стихотворец, не знающий грамматических правил ... до познания прямого стихотворства доступить не может».

Данные Елагиным в «третьем листе» «Автора» (сентябрь, стр. 275—282) портреты трех приятелей Теплова не могут быть, к сожалению, определены полностью. Если первый из них Франгизиус Тенеброзус, т. е. Франгизиус темный, напоминает действительно В. К. Тредиаковского, как это определяет П. Н. Берков, а мы знаем, что Тредиаковский и в 1750, и в 1755 г. (до июля—октября) был «близок» к Теплову, то относительно двух других — Остроумова и Постоянникова — сказать что-либо трудно. В Остроумове, по данной ему характеристике (не любит, когда ему напоминают немецких поэтов Опица, Галлера, Гинтера), можно видеть, как это делает П. Н. Берков, Ломоносова, но характеристика Остроумова в целом не соответствует такой атрибуции. Елагин пишет, что «с того времени, как по смерти отца его о несказанном его богатстве совершенно узнали, никто уже больше о премудрости его не сумневается», «имяна французских стихотворцев почти все ему известны; ими утверждает он все свои споры» и т. п. Очевидно, в своих характеристиках Елагин не имел в виду портретного сходства с определенными лицами из окружения Теплова. Но включить попутно отдельные выпады и против Ломоносова Елагин, конечно, мог. Это не противоречит их давней полемической борьбе.

Наконец, в самом последнем — «шестом листе» своего «Автора» Елагин делает вновь определенный намек на Теплова в связи с тем, что за первой частью его книги «Знания, касающиеся вообще до философии» не последовала вторая часть, обещанная в его предисловии «К читателю». «Сколько таких творцов, которые, выдав первую часть книги, в предисловиях другую обещают, но или из лености, или *переменив свое состояние* забывают то

[33] П. Н. Берков видит в этом, также цитированном им отрывке, явный намек на «придворную» поэзию Ломоносова. Так объяснить это место «Автора» можно лишь с натяжкой, рассматривая его изолированно от всего приведенного нами текста Елагина о стихотворцах. Также невозможно видеть намек на Ломоносова в «Мадригале на Мецената при случае обрезывания ногтей». Ломоносов не писал мадригалов. Здесь содержится несомненно какой-то иной намек, который раскрыть пока невозможно.

свое обещание (курсив наш, — *Л. М.*)» (декабрь, стр. 556). В выделенных нами словах содержится намек на укрепление власти Теплова в сфере государственного управления.

Приведенных примеров достаточно, чтобы признать раскрытие имени Теплова как автора рассуждения «О качествах стихотворца» со стороны И. П. Елагина, а следовательно, и Сумарокова. Это еще раз подтверждает, что автором «Рассуждения» был Теплов.

Теплов, таким образом, не смог сохранить своего анонима. Имя его не укрылось от зоркого глаза его врагов. Однако вряд ли Теплов в дальнейшем продолжал полемику. Никаких других его произведений полемического характера до сих пор не обнаружено. Это заставляет предполагать, что литературно-полемическое выступление Теплова носило случайный, эпизодический характер. В последнем случае это подтверждает наш тезис, что «учительство» и дидактизм Теплова были беспредметными и не имели глубоких корней.

В свете наших новых разысканий становится ясным, что П. П. Берков ошибался еще и в вопросе о содержании второго «Рассуждения» Теплова. П. Н. Берков видит в нем «апологию дворянской песенной поэзии», мотивируя этим позицию Теплова. Стремясь доказать далее, что первое «Рассуждение» принадлежит Ломоносову, П. Н. Берков заметил во втором (Тепловском) «Рассуждении» идеологическое расхождение, которое было необходимо для доказательства этого положения. На самом деле во втором «Рассуждении» Теплова при самом внимательном чтении нет не только никаких расхождений с первым, но нет с ним и никакого сходства. Если первое действительно полемически заострено, то второе написано Тепловым совершенно бесстрастно и касается важной и актуальной для того времени исторической темы «О начале стихотворства». При всем желании, элементов апологии дворянской песенной поэзии в нем найти нет возможности. Затрагивая вопрос о происхождении «стихотворства», Теплов, конечно, не мог не коснуться и любовной песни, как ранней формы поэтической лирики. Сам П. Н. Берков признает, что, по Теплову, «красноречие положило начало поэзии, первой и наиболее естественной формой которой является песня, и именно любовная песня». Но из последующего текста Теплова П. Н. Берков делает такой вывод: «Признавая дальнейшее развитие поэзии в сторону дидактики, Теплов все же отдает предпочтение не этим искусственным формам (т. е. музыкальным рифмам), а естественным, т. е. песням». Но отдавая предпочтение народной поэзии перед искусственной, Теплов не имеет в виду салонную дворянскую песню. Теплов пишет: «Одним словом (знающие люди) песнями своими подражание всему тому делали, что с человеком в жизни случалося или

случится могло и тем себя по склонности к веселию пробавляли. То самое мы видим и у нас в простом народе, что люди, не ведающие никаких правил стихотворческих, да и про то не знающие, что есть на свете между науками особливое искусство, называемое Стихотворство, поют истории царей, бояр или молодцов, по их наречию удалых. И хотя весьма просто, однакож преклоняют сердца иногда к слушанию» («Ежемесячные сочинения», 1755, июль, стр. 12). Статья Теплова рассматривает только возникновение «стихотворства» у древних. Никаких сопоставлений с современной Теплову эпохой, за исключением ссылок на русскую народную песню и народный театр, в ней нет. Основываясь на фразе Теплова из заключительного абзаца его «Рассуждения»: «Сие мнится быть происхождение от начала стихотворства в натуре своей, которое после обратилося в великую важность между учеными людьми», — П. Н. Берков совершенно неожиданно заключает, что «Рассуждение» представляло собой поэтому «апологию дворянской песенной поэзии, стремилось представить ее как продукт цеховой учености, имеющей сравнительно узкий интерес».

Таким образом, П. Н. Берков смешивает совершенно разные понятия: любовную песню древних и их народную песню с дворянской салонной песней начала XVIII в. Под «учеными людьми» Теплов имеет в виду первых поэтов древности, писавших уже свои произведения на основе разработанной ими системы стихосложения.

Итак, оба «Рассуждения» Теплова писаны абсолютно в разных планах и если первое касается вопроса о «качествах» современного Теплову поэта, то второе представляет историко-литературный опыт изучения происхождения древней поэзии.

VI

Следует коснуться еще одного аргумента П. Н. Беркова, относительно вопроса о так называемом «выступлении А. П. Сумарокова» «по поводу рассуждения Ломоносова».[34] П. Н. Берков имеет в виду напечатанную в августовской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 г. «Эпистолу» Сумарокова. По мнению П. Н. Беркова, эта «Эпистола» «продолжает линию автора «Эпистолы о стихотворстве», но имеет двойственный характер. Отметив далее, что «Сумароков как будто предлагает своему противнику (т. е. Ломоносову) разделить сферы влияния в области поэзии: ему он отдает эпос и лирику, т. е. оду», П. Н. Берков останавливается на другой части «Эпистолы» и говорит, что «себе же он (т. е. Сумароков), как и следовало ожидать, оставляет траге-

[34] См.: П. Н. Берков, стр. 175—177.

дию», быть может элегию и эклогу. «Вывод Сумарокова с видимой стороны очень миролюбив:

Пусть пишут многие; но зная, как писать.

Он даже повторяет, вслед за Ломоносовым:

Звон стоп блюсти, слова на Рифму прибирать —
Искусство малое, и дело не пречудно;
А стихотворцем быть есть дело не безтрудно.

«Сумароков готов даже поддержать Ломоносова в вопросе о песенках:

Набрать любовных слов на модный минавет,
Который кто-нибудь удашно пропоет,
Нет хитрости тому, кто грамоте умеет,
Да что и в грамоте, коль он писца имеет.

«Но под конец, — говорит П. Н. Берков, — Сумароков показывает когти и начинает язвить Ломоносова за его „надутый“ слог»:

Подобно не тяжел пустый и пышный слог:
То толстый стан без рук, без головы и ног;
Или издалека являющася туча,
А как ты к ней придешь, так то навозна куча.
Кому не дастся знать богинь Парнасских прав
Не можно ли тому прожить и не писав?
Худой творец стихом себя не прославляет:
На рифмах он свое безумство изъявляет.

«Таким образом, — говорит П. Н. Берков, — Сумароков, как и Елагин и Теплов, не мог противопоставить концепции Ломоносова (в „Рассуждении“) хоть сколько-нибудь серьезных возражений или с такою же меткостью отразить его сатирические нападки. В рассуждении „О качествах стихотворца“ Ломоносов выступил во всеоружии своего энциклопедического образования, показал глубокое понимание социально-воспитательной роли литературы и науки, развил программу подготовки писателя, столько же продуманную и основательную, сколько и малоприемлемую для поэтов-дилетантов из рядов среднего дворянства. Наоборот, его противники не сумели подняться на такую же принципиальную высоту и ограничились несерьезным теоретизированием (Теплов) [35] или колкостями сомнительной ценности».

Этот вывод П. Н. Беркова был бы убедителен, если бы, во-первых, «Рассуждение» принадлежало Ломоносову, а оно, как мы видели, написано Тепловым, во-вторых, в другом «Рассуждении» Теплова действительно содержалась бы попытка теоретического обоснования практики «поэтов-дилетантов из рядов среднего дворянства», чего на самом деле, как мы также видели, не было, и, в-третьих, «Эпистола» Сумарокова действительно про-

[35] Имеется в виду его второе «Рассуждение».

должала бы прежнюю его линию уязвления Ломоносова. Что она ее не продолжала и имела совсем другую направленность, об этом мы и хотим сказать несколько подробнее.

В июньской книжке «Ежемесячных сочинений» за тот же год, следовательно вскоре же после появления первого «Рассуждения» Теплова, был напечатан историко-литературный трактат В. К. Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворении российском»,[36] в котором, как известно, содержится сравнительно мало нового материала о стихосложении по сравнению с изданным им еще в 1735 г. «Новым и кратким способом к сложению российских стихов» и другими его же статьями, в частности с «Предуведомлением» к «Аргениде» 1751 г. Имеет значение средняя часть трактата, представляющая первую попытку написания истории русской литературы. При этом Тредиаковский подчеркивает, что русскую литературу создавали духовные писатели или разночинцы, а дворянские поэты в создании литературы не принимали никакого участия. В то же время Тредиаковский достаточно места, хотя и с оговорками (стр. 495—498), уделяет себе самому и больному для него вопросу о приоритете в области создания русского тонического стихосложения и о преимуществе хорея перед ямбом.

Эта статья Тредиаковского вызвала величайшее раздражение А. П. Сумарокова (в статье ничего не говорилось ни о поэтической деятельности Ломоносова, ни Сумарокова), и уже 12 июля 1755 г. он представил в заседание Конференции Академии наук свою «Эпистолу», в которой опровергал статью Тредиаковского в связи с неправильными, с его точки зрения, объяснениями некоторых стихов. Конференция Академии наук постановила напечатать «Эпистолу» в «Ежемесячных сочинениях» и предоставила Тредиаковскому сообщить свой ответ.[37] В заседании 19 июля он прочел свое возражение Сумарокову, но постановление было вынесено не в его пользу: запретить печатать «Эпистолу» и ответ на нее для прекращения дальнейших споров.[38] Ни «Эпистола» Сумарокова, содержавшая возражения на статью Тредиаковского, ни ответ последнего так и не увидели света, но зато появилась в печати другая «Эпистола» Сумарокова, о которой и идет речь. По сравнению с первой в ней, очевидно, многие выражения были сглажены, но общая ее направленность именно против Тредиаковского осталась. Она направлена против статьи Тредиаков-

---

[36] В. К. Тредиаковский. Стихотворения. Под ред. акад. А. С. Орлова. Л., 1935, стр. 467—510.

[37] Протоколы. . ., т. II, стр. 333; П. П. Пекарский. 1) Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 годов. СПб., 1867, стр. 41—42; 2) История Академии наук, т. II. СПб., 1873, стр. 184—185.

[38] Протоколы. . ., т. II, стр. 333.

ского с целью унизить его и как теоретика стихосложения, и как поэта.

Действительно, содержание ее таково. Вначале Сумароков обращается к Тредиаковскому:

Желай, чтоб на брегах сих музы обретали,
Которых вод струи Петром преславны стали,
Октавий Тибр вознес, и Сейну Людовик.
Увидим, может быть, мы нимф Пермесских лик,
В достоинстве, в каком они в их были леты
На Невских берегах во дни Елисаветы, —

т. е. ты можешь желать и хочешь, чтобы на «Невских берегах», прославленных Петром Великим, обитали музы, чтобы они также прославили эти берега, как век Октавия прославил берега Тибра, а век Людовика XIV — берега Сены.

Далее идет перечисление разной тематики для поэзии, разных систем стихосложения и поэтов, которые могут по-разному своей поэзией прославить берега Невы. Пускай один славит дела русских героев, громкой трубой «подвигнет океан», «пойдет на Геликон неробкими ногами», т. е. уверенно, и «устелет свой путь прекрасными цветами». Пускай другой

Звонкой лирою края небес пронзит,
От севера на юг в минуту пролетит,
С Бальтийской ступит гор ко глубине Японской,
Сравняет Русску власть со властью Македонской

(здесь возможен намек на гиперболическую поэзию Ломоносова, но в «мирных» тонах, так как дело не в этом). Третий «трагедией вселяется в сердца» и описывает людские страсти, чтобы направить их «к добродетели». Четвертый говорит о любви «прекрасным и простым складом». Пятый «воспоет рощи, луга, потоки рек, стада и пастухов и сей блаженный век, в который смертныя друг друга не губили», т. е. жили в мире и согласии (явная ирония), и «злата с серебром еще не возлюбили». Пускай «пишут многие», но зная, как писать (вот это важно).

Звон стоп блюсти, слова на Рифму прибирать
Искусство малое и дело не пречудно;
А стихотворцем быть, есть дело не безтрудно,

т. е., напротив, настоящим поэтом быть трудно, настоящая поэзия дается не без труда. «Нет хитрости» в том, чтобы «набрать любовных слов на новый минавет», «который кто-нибудь удашно пропоет», если «кто грамоте умеет». Да не нужно быть и грамотным, если имеешь писца (в данном случае переписчика).

Также («подобно») «не тяжел (т. е. не труден) пустый и пышный слог», подобный «толстому стану без рук, без головы и

пог» или туче, которая издалека кажется тучей, а вблизи оказывается «навозной кучей». (Здесь также можно видеть намек на поэзию Ломоносова, как это видит и П. Н. Берков, но сущность вопроса заключается не в этом, — Сумароков вполне мог попутно уязвить и Ломоносова).

Оканчивается «Эпистола» своеобразной моралью: кому не дано знать «прав» (законов) Парнасских богинь, нельзя ли («не можно ли») «тому прожить и не писав»? Так как «худой творец стихом себя не прославляет», но только показывает «на рифмах» «свое безумство».

Вот истинный смысл «Эпистолы» Сумарокова, называющего Тредиаковского «безумным», т. е. ненормальным человеком, поэтом, умеющим только подбирать рифмы, иначе — бездарным рифмачом. Где же здесь «колкости сомнительной ценности», по выражению П. Н. Беркова? А с другой стороны, нет в «Эпистоле» и намека на попытку дать какой-либо ответ на рассуждение Теплова «О качествах стихотворца». Это «Рассуждение» Сумарокова вовсе не интересовало в данном случае, и видеть в ней «выступление Сумарокова» «по поводу рассуждения» «о качествах стихотворца», как это делает П. Н. Берков, нет никаких оснований.

Напротив, Сумароков не удовлетворился помещением только «Эпистолы», но напечатал в том же номере «Ежемесячных сочинений» (август, стр. 191) специальный «Сонет, нарочно сочиненный дурным складом» с целью доказать свой тезис о том, что писать стихи можно и не будучи поэтом. Кроме того, он поместил после заголовка к этому «Сонету» особое примечание, в котором разъяснил, что он написан «для показания, что естьли мысль и изрядна, Стихи порядочны, Рифмы богаты, однако при неискусном, грубом и принужденном сложении, все то Сочинителю никакова плода, кроме посмешества, не принесет».

Приведем этот «Сонет», так как он, несомненно, сильно позабавил Ломоносова: «Сонет» образцово имитирует и пародирует особенности стилистики и поэтики Тредиаковского:

Вид Богиня твой всегда очень всем весь нравный,
Уязвляет, оный бы ни увидел кто.
Изо всех красот везде он всегда есть славный,
Говорю без лести я предо всеми то.

*

Всяко се наряд твой есть весь чистоприправный,
А хотя же твой убор был бы и ничто,
Был, однак, бы на тебе злату он не равный,
Раз бы Адаманта был драгоценняй сто.

*

Ти покорный я слуга много и премного,
Пышно хоть одета ты иль хотя убого.
Полюби же ты меня, ах! Не много хоть.

*

Объяви, прекрасна бровь, о любви всей прямо,
И на час ко мне хотя, о Богиня, подь,
Иль позволь прийти к себе поклониться тамо.

Прочитав «Эпистолу» и «Сонет», Тредиаковский был, конечно, взбешен и всего более вследствие полной невозможности ответить своему зоилу. Академия наук и в лице Миллера, и в лице Ломоносова, а затем и самого президента не приняла в печать ни одного ответа Тредиаковского. Позже он писал о своем состоянии в это время так: «Был я в собрании (академическом), и помнится, что в июне месяце: там спросил при всем собрании г. конференц-секретаря (т. е. Миллера), по какой бы он власти и по чьему повелению лишает меня моего законного права, тем, что моих пиес не принимает от меня в книшки и аппробированных не печатает. Но он мне на то с презрением, как будто должным уже и заслуженным, ответствовал при всем собрании, что не должен мне ничего сказать, сколько б я его ни спрашивал. Где ж то узаконено, чтоб члену секретарь не должен был ничего сказывать? Трудно б терпеть и великодушному человеку, бывшему на моем месте. Однако я извне замолчал, а внутри раздирался на части».[39]

После появления в сентябрьской книжке «Ежемесячных сочинений» «Духовных од» (переложений псалмов) Сумарокова Тредиаковский написал свой известный донос на Сумарокова в Синод. В октябре того же года Тредиаковский подкинул Ломоносову «подметное» «пасквильное письмо» против Миллера и академиков-иностранцев со «злодейскими ругательствами советнику Теплову», задевавшее и самого президента.

Пересмотр вопроса о литературной полемике в «Ежемесячных сочинениях» 1755 г., таким образом, устанавливает: 1) что рассуждение «О качествах стихотворца» написано Тепловым и что ни к первому, ни ко второму «Рассуждению» Теплова Ломоносов не имел никакого отношения; 2) что «Эпистола» Сумарокова также не имела касательства к этим обоим «Рассуждениям», но была направлена против Тредиаковского и вызвала с его стороны ответ Сумарокову в виде доноса в Синод; 3) что участие Ломоносова в этой полемике двух его литературных противников не проявилось в печати, а с другой стороны, в ней принял эпизодическое и притом анонимное участие Теплов против всей сумароковской школы салонной поэзии малых жанров путем декларирования «учительной» поэзии, «перстом измеряющей людские пороки». Это участие было раскрыто Елагиным, а следовательно, и Сумароковым; первый из них и отвечал анонимно Теплову пародийным снижением его идеала «учительного» стихотворца.

---

[39] П. П. Пекарский. История Академии наук, т. II, стр. 183—184.

А. А. МОРОЗОВ

М. В. ЛОМОНОСОВ И ТЕЛЕОЛОГИЯ ХРИСТИАНА ВОЛЬФА

I

В «Похвальных словах» Ломоносова, в его «Риторике», некоторых стихах и ученых сочинениях нередко можно встретить высказывания телеологического характера, вызывающие недоумение у исследователей, которым хорошо известны общие материалистические позиции Ломоносова. До сих пор характер и происхождение этих высказываний Ломоносова не был выяснен, если не считать некоторых старых работ, безоговорочно относивших их к философским воззрениям Вольфа и Лейбница, из которых выводилось и мировоззрение Ломоносова.[1]

Это «влияние» Христиана Вольфа на Ломоносова, о котором писалось часто и много по самым различным поводам,[2] рассмат-

---

[1] Типична в этом отношении статья В. Тукалевского «Главные черты миросозерцания Ломоносова» (в кн.: М. В. Ломоносов. Сборник статей. Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911, стр. 13—32).

[2] В дореволюционной литературе делались попытки поставить в прямую зависимость от Вольфа не только естественнонаучные, но и географические, экономические,юридические и общественно-политические воззрения Ломоносова. Профессор И. К. Сухоплюев утверждал, что «всякий, кто осмелится истолковать взгляды Ломоносова па сохранение и размножение населения с какой угодно точки зрения, но независимо от вольфиапского учения об естественном праве, рискует исказить действительные взгляды Ломоносова», причем, по мнению Сухоплюева, и сам Вольф лишь «объединил и изложил в законченной системе взгляды Пуфендорфа, Томазия и Лейбница» (И. К. Сухоплюев. Взгляды Ломоносова на политику народонаселения. «Ломоносовский сборник», Изд. АН, СПб., 1911, стр. 183—184). О влиянии Вольфа па географические взгляды Ломоносова писал М. С. Боднарский (М. С. Боднарский. Ломоносов как географ. М., 1911, стр. 3). Иногда раздавались голоса о «пагубном» влиянии Вольфа на Ломоносова. В 1901 г. В. И. Вернадский, указавший на многие замечательные мысли и положения Ломоносова в области геологии и минералогии, в то же время утверждал, что одной из причин полнейшего «забвения» его трудов было то, что он «остался верен до конца вольфианству, которое недолго царило даже в Германии» (В. И. Вернадский. О значении трудов М. В. Ломоносова в минералогии и геологии. «Ломоносовский сборник», М., 1901, стр. 14). См. также замечания Б. П. Вейнберга: Невесомые в физике XVIII века вообще и по воззрениям М. В. Ломоносова в частности. Томск, 1913, стр. 24.

ривалось почти всегда без учета особой роли, которую играли «элементы вольфианства» в культурно-исторической жизни России и в развитии русской философской и естественнонаучной мысли. А иногда развитие мировоззрения Ломоносова рассматривалось через призму «вольфианства», представления о котором, вдобавок, были весьма неточными.[3]

Представляется необходимым выяснить не только то, что сближало Ломоносова и Вольфа, но и то, что их разделяло и отличало. В настоящей статье мы и предпринимаем попытку показать это на примере телеологических высказываний Ломоносова и Вольфа.

II

Целью Вольфа, задачей его жизни было не развитие естественных наук, а философское обоснование религии и морали. Эти усилия Вольфа имели свою традицию в протестантском рационализме. Он лишь продолжал то, что отчасти пытался осуществить еще в 1653 г. Эрхард Вейгель в Иене,[4] о чем раздумывал Пуфендорф и что прямо требовал учитель Вольфа в Бреславле, Каспар Нейман, выдвигавший мысль, что богословы могут и должны применять методы математики и вообще естественных наук в богословии, и даже предлагавший создать своего рода экспериментальное богословие. «Я сожалею о том, — писал в конце 1689 г. Нейман Лейбницу, — что в то время, когда почти весь ученый свет в regno naturae основывается на экспериментах и пишет observationes, ни один человек в regno gratiae или теологии не подумает о том, что и в этой области, подвластной богу, ежели только пожелать обратить внимание на творение его рук, то каждый миг предоставит нам возможность воскликнуть вместе с апостолом Петром: „Ну, теперь я познал истину!“ — и таким образом поставить все наше христианство на чисто экспериментальный путь». Этот старомодный протестантский рационалист занялся математической обработкой статистики смертности, пока в очень ограниченном масштабе, однако в полном убеждении,

---

[3] Так, например, автор главы о Ломоносове в «Истории русской литературы», (т. III, ч. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941) Д. К. Мотольская, ошибочно считая Вольфа простым популяризатором Лейбница, приписывает Ломоносову те черты лейбницевской философии, которые как раз отсутствовали у Вольфа. Она утверждает, что эта философия «открыла перед ним возможность не только научного проникновения в мир, но и эмоционального восприятия» (стр. 293) и что даже самую «возможность поэтического восприятия природы дала ему философия Лейбница» (стр. 324) и т. д.

[4] E. Weigeli. Philosophia mathematica. Theologia naturalis solida. Jenal 1693. Об Э. Вейгеле см.: Е. Спекторский. Проблема социальной физики в XVII столетии, т. I. Варшава, 1910, стр. 488—563.

что со временем, когда будет собрано больше аналогичных наблюдений, «можно будет составить отличные примечания о божественном Промысле, властвующем над нашей жизнью и смертью, сохранением и размножением в мире и прочем подобном, а также тем надежнее опровергнуть многочисленные суеверия».[5]

Подобными же побуждениями руководствовался и Вольф, уверявший, что его с самого детства поражали споры католиков с протестантами и он задавался мыслью о том, «нельзя ли в богословии так отчетливо показать истину, что это сделает невозможным всякое противоречие». «И вот, как только я услыхал, что математика доказывает свой предмет с такой надежностью, что всякий должен признать это истинным, то меня обуяло жадное стремление изучить methodi gratia математики, дабы потщиться привести теологию к неопровержимой достоверности».[6]

Стремясь рационалистически переработать богословский материал, Вольф включал в него и естествознание, превращая последнее в своего рода прикладную теологию. Его интересовало не изучение природы самой по себе, а преимущественно теологическое осмысление ее явлений. Весь мир для него лишь отражение «мудрости божества», открывающей перед человеком возможность рационалистического познания бога. Ибо бог, обладая истинным и совершенным познанием всех вещей, неизбежно установил для них такие законы, которые и обусловливают это согласование многообразных вещей. Но из этого же следует, по Вольфу, что у бога нет никаких оснований нарушать эти установленные им самим законы мироздания. Созданная им природа необходимо совершенна. Но совершенство в природе может быть только механическим совершенством, и, значит, механическое устройство мира всего более отвечает намерениям творца!

Вольф подробно говорит о том, что всякое тело в природе является более совершенной машиной, чем любая машина, созданная человеком. Ибо природное тело будет машиной во всех своих частях, как бы бесконечно они ни разделялись. Созданная человеком машина, как бы она ни была сложна, перестает быть машиной в своих частях, так топорище, отделенное от топора, уже не будет орудием. Бог, таким образом, выступает в образе искусного ме-

---

[5] W. Arnsperger. Chr. Wolff's Verhältnis zu Leibniz. Weimar, 1897, стр. 20. См. также: J. Graetzer. Edmund Halley und Caspar Neuman. Breslau, 1883, стр. 12. Подобные же идеи развивали последователи Вольфа — немецкие эвдаймонисты. См., например, вышедшую в 1741 г. с предисловием Вольфа книгу Иоганна Петера Зюссмильха (Jogann Peter Süßmilch) «Die göttliche Ordnung in den Veränderung des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen» (4-te Aufl., Berlin, 1775).

[6] Christian Wolff's Eigene Lebensbeschreibung. Herausgegeben von E. Wuttke. Leipzig, 1841.

ханика, а мир является совершеннейшей машиной. Механическое становится для Вольфа критерием истинного. Всякое тело только потому и заключает в себе истину, что оно является машиной (I, § 617),[7] ибо сама истина есть не что иное, «как порядок в изменении вещей» («Метафизика», I, § 142).

Вольф питает непреодолимое отвращение к чуду как к явлению, нарушающему порядок, не имеющему достаточного логического обоснования и не укладывающемуся в систему. Этим же отвращением он наделяет бога. Вольф, правда, оговаривается, что бог может творить чудеса, но так как он не делает ничего излишнего или напрасного, то всегда предпочитает естественный ход вещей нарушающему его внезапному чуду («Метафизика», II, §§ 1051 и 1041). Когда в мире все совершается естественным путем, то это есть дело божественной мудрости. Напротив, если происходят события, которые не имеют основания в сущности и природе вещей, то они происходят сверхъестественным путем или как чудеса, и, значит, мир, в котором все происходит через чудеса, является делом только могущества, а не мудрости бога. А посему мир, где чудеса проявляются весьма скупо, следует более ценить, чем тот, где они случаются часто («Метафизика», II, § 1039).

Однако Вольф не решается вовсе отвергнуть чудо. Он только стремится его рационалистически истолковать. Чудо должно отвечать условиям, заложенным в предпосылках системы, и не должно находиться в противоречии с естественной природой этих вещей.[8]

---

[7] Chr. Wolff. Vernünfige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, 3. Aufl. Francfurth und Leipzig, 1725; anderer Theil: Francfurth. 1728. Цитируется в тексте как «Метафизика» (с указанием тома и параграфов).

[8] Отсюда попытки рационалистического истолкования библейских чудес. Вольф, например, нисколько не оспаривал, что радуга дарована людям как знамение того, что не будет больше всемирного потопа («Бытие», IX, стих. 13). Вольф хочет согласовать это со своим основным положением, что все в мире течет естественным путем. Он спрашивает: «Была ли радуга до потопа?». И отвечает утвердительно. Ведь радуга получила свое знаменование не по своей сущности и природе. «Можно сколько угодно устанавливать ее происхождение, — пишет Вольф, — точнейшим образом наблюдать ее краски и прочие свойства и никогда не прийти к мысли, что бог не пожелал больше наказывать людей потопом, т. е. таким образом установил течение природы, что стало невозможно больше всеобщее наводнение каким-либо естественным путем и не требуется никакого чуда для его произведения». Существуя до потопа, радуга ничего не значила. Но бог, создавая ее, как бы предусмотрел, что она станет «знамением» после совершившегося (тоже без нарушения естественных причин) всемирного потопа. Другими словами: естественные явления, приобретая символический смысл, выполняют функцию чуда. По этому пути пошли наиболее смелые ученики Вольфа (например, Бильфингер).

Утверждая естественный порядок вещей и рассматривая физический мир как машину, Вольф вовсе не шел к детерминизму. Он горячо возражает против подобных подозрений и посвящает особое примечание вопросу «Сколь далеко идет мое определение мира как машины?». Он объявляет, что это понятие означает не больше того, что совершающиеся в мире изменения происходят «по образу и роду, совершающемуся в сложных вещах», т. е. по законам механического движения (перемещения). «Так теперь стремятся объяснить явления природы все естествоиспытатели, — оправдывается он. — Этим вовсе не вводится в природу неотвратимая необходимость». «Ибо, — утверждает Вольф, — все телесные вещи, находясь в движении, в котором проявляются их изменения, следуют правилам этого движения, которые, однако, не заключены в сущности самих тел, а значит, у бога остается свобода, если он того захочет, не только вопреки этим правилам произвести изменения посредством чуда, но также и согласно этим правилам и сообразно с сущностью вещей воздействовать на них».

Закономерную связь вещей и неотвратимую необходимость событий Вольф ограничивает признанием «свободной воли», которую он, как рационалист, ставит в зависимость от познания. Необходимость раздваивается на безусловно возможное и ограниченно возможное.

В результате Вольф оставляет для физического мира лишь необходимость установления ближайших причин и, собственно, исследованием их и ограничивает науку. Попытки установить конечные причины он считает опасным «злоупотреблением механической философией». Он ставит в этом отношении на одну доску Декарта и эмпирика Роберта Бойля. Оба они, по мнению Вольфа, стали жертвой тех «предрассудков», которые ведут «только к ущербу физики», а именно, устремившись на поиски механических причин, «хотели объяснить последние основания вещей» («Метафизика», II, § 241).

Материалистические тенденции естествознания, развивались ли они дедуктивным или индуктивным путем, были неприемлемы для Вольфа. Вольф объявил мир машиной только потому, что он полностью возвратился к дуализму тела и души.

Метафизическая картина «предустановленной гармонии», созданная Лейбницем на основе его учения о монадах, приобрела у Вольфа иной характер. Если в монадологии Лейбница целесообразность была внутренне присуща самой вещи, являясь ее свойством и конечной целью развития, то у Вольфа она неизбежно должна быть направлена на внешние и посторонние для самой вещи цели. Внутренняя целесообразность вещей превратилась во внешнюю пользу, причем критерием пользы вещей стала их непо-

средственная пригодность человеку. Место имманентной телеологии Лейбница заняла антропоцентрическая телеология Вольфа. Вольф посвятил ее изложению особую книгу, названную им «Разумные мысли о целях естественных вещей» (1720 г.).[9] В ней одно за другим следуют рассуждения о пользе всего существующего, полные наивного и архаического антропоцентризма. Например, о пользе звезд для путешественников «и других лиц, которым приходится что-либо делать под открытым небом». На вопрос, почему Земля вращается вокруг своей оси, Вольф отвечает, что это для того устроено, чтобы сменялись дни и ночи, от чего проистекает множество удобств для всех живых существ и в особенности для человека, который может ночью ловить птиц и заниматься рыбной ловлей («Телеология», § 79). На протяжении всей книги с необыкновенной настойчивостью Вольф старается приспособить всю природу к практическим потребностям человека, подчас очень будничным, мелочным и строго ограниченным лишь небольшим историческим периодом. Вольф пространно и глубокомысленно пишет о пользе недр, гор, морей, озер, потоков, камней, животных и всяческих произрастаний.

Обращаясь к природе, Вольф не видит в ней никакого развития. Он недоумевает перед ее разнообразием, но считает его положенным от бога свойством. При этом он сознается, что благодаря этому разнообразию не всегда можно уловить заложенные в каждом отдельном случае «намерения».

Как рационалист и противник чудес Вольф осуждает суеверия, и в частности тех людей, которые в различных небесных и земных явлениях видят «знамения» или козни нездешних сил — будь то кометы, северное сияние или простые болотные огни. Он не прочь приписать кометам некоторую пользу, так как ссылается на общераспространенное мнение, что «падающие в ночную пору звезды очищают воздух» («Телеология», § 181). Но относительно блуждающих огоньков, огней святого Эльма на мачтах кораблей и других подобных вещей он вынужден признать, что «пока им трудно назначить какую-либо пользу». А то, что будто блуждающие огоньки нередко служат причиной различных несчастий, то это происходит оттого, что их принимают «за огоньки в деревне» и направляют к ним путь. Суеверные же страхи только увеличивают опасность, из чего явствует, что «незнание в естественных вещах всегда заключает в себе что-либо плохое, а знание, напротив, — хорошее» («Телеология», § 182).

Не подыскав для северного сияния какого-либо утилитарного значения, Вольф решает, что оно предназначено для того, чтобы

[9] Chr. Wolff. Vernünftige Gedancken von den Absichten der natürlichen Dinge. Francfurth und Leipzig, 1720, стр. 51. (В дальнейшем цитируется как «Телеология» с указанием параграфа).

люди по случаю его вспоминали о боге, предавались благочестивым размышлениям «каждый сообразно со своими понятиями» («Телеология», § 181).

Мир Вольфа наполнен разумом и «благочестием», но в нем нет живой жизни. Это мир прописных истин и «целесообразного» механического движения.

В противоположность Лейбницу и его последователям в биологии Вольф рассматривает животных как простые движущиеся машины, лишенные души. Он отказывает им даже в элементарных свойствах психики. И, конечно, не случайно, ибо иначе это привело бы к той градации «одухотворенности», которая проходит у Лейбница через всю природу, тогда как животное-машина наиболее уместно в телеологической системе Вольфа. Вольф пишет: «Животные, какого бы рода они ни были, будь то самые большие четвероногие или мельчайшие насекомые, не обладают ни смыслом, ни разумом, ни волей, ни свободой («Метафизика», § 1076, § 892) и потому неспособны познать бога. Того ради и бог не может через них осуществлять свою главную цель, для которой он создал мир (§ 8), и посему населил ими мир не для того, чтобы они познавали его совершенство ... а для того, чтобы они служили пищей один другому». Такой порядок, по словам Вольфа, весьма разумен и не заключает в себе никакой несправедливости: «Ежели создание мастера нельзя иначе употреблять, как только уничтожая его при потреблении, то он и уничтожается теми, кто его употребляет, и тут нечего задаваться вопросом, искусно это устроено или нет». Но Вольф считает необходимым сделать оговорку, что «хотя и нет ничего несправедливого в том, что животные пожирают друг друга и сами люди питаются их мясом, однакож ни в коем случае не может быть дозволено, чтобы один человек пожирал другого, понеже бог создал его для другой цели» («Телеология», § 235).

Сделав столь назидательный вывод и указав, что люди должны не поедать друг друга, а заниматься науками и искусствами, Вольф на этом не останавливается. Стремясь по своему обыкновению по возможности исчерпать вопрос до конца, Вольф доходит до Геркулесовых столбов педантизма и предается рассуждениям о том, что «если кто-либо не испытает отвращения от человеческого мяса и он в случае нужды, когда нельзя достать иным путем себе другой пищи, насытит себя (телами) павших на войне, то это столь же мало достойно порицания, как если бы он употреблял в пищу мясо животных, поелику мертвый человек, точно так же как и животное, не может служить для достижения главной цели, осуществляемой богом. Однако когда хотят убить человека, чтобы насытить себя его мясом, то действуют против законов природы, которые именно потому запрещают лишать

жизни, что разумный человек создан для того, чтобы бог осуществлял через него свою главную цель, ради которой он создал мир» («Телеология», § 235).

Такова была та «плоская вольфовская телеология, согласно которой кошки были созданы для того, чтобы пожирать мышей, мыши — чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказывать мудрость творца».[10]

Наивный антропоцентризм вольфовской телеологии придавал ей необыкновенно тривиальный и доктринерский вид. Невзирая на свой рационализм, эта телеология прекрасно укладывалась в рамки традиционного библейско-христианского мировоззрения, что вполне отвечало намерениям Вольфа. Это был шаг назад даже по сравнению с античной платоновской натуралистической телеологией, утверждавшей целесообразность в космосе, но не сводившей все к человеку.[11]

Вольфа привлекал к себе не реально существующий мир, а мир умозрительных возможностей. Возможно все, в чем нет внутреннего логического противоречия. А то, что возможно, может быть уже действительным. И коль скоро возможное оказывается действительным или хотя бы считается таковым, то оно тем самым существует как рационально познанная необходимость. Таким образом, истина доказывается и демонстрируется как возможность, как отсутствие внутреннего противоречия. Это открывает простор для безудержного априоризма. Не только действительное разумно, но и недействительное разумно и даже необходимо потому, что оно возможно. Реальный мир становится лишь совокупностью возможностей. Умозрительно постигаемый мир возможного неизмеримо шире мира действительного.

Вольф и его ученики занимались обоснованием догмы как рациональной необходимости. «Понеже все в мире находит обоснование друг через друга, то в этом и заключена чистая истина. Так как божественный разум производит эту взаимную связь вещей, то он таким образом производит и истину. А посему вся истина от бога» («Метафизика», § 976). Таким образом, только бог для Вольфа «единственный высший философ».

---

[10] Фридрих Энгельс. Диалектика природы. М.—Л., 1946, стр. 9.

[11] Вот что писал, например, во II в. н. э. знаменитый противник христианства философ Цельс: «Не для человека создано все, так же и не для льва, и не для орла, и не для дельфина, а ради того, чтобы космос, как создание бога, был полным и совершенным во всех своих частях» (цит. по: Eh. Heim. Celsus, Wahres Wort. Aelteste Streitschriftantiker Weltanschaung gegen das Christentum von Jahr 178 n. Chr. Zürich, 1873, стр. 63). Отметим, что взгляды Цельса привлекали к себе внимание натурфилософов как раз в середине XVIII в., когда Мосхейм издал в своем переводе восемь книг «Оригена против Цельса» (Гамбург, 1745).

Вольф не только из одной логически обоснованной возможности бытия бога приходит к заключению о его действительном существовании, но и принимает откровение. Откровение сверхразумно, но не противоразумно. Таким образом, с помощью и посредством разума происходит оправдание иррационального содержания божественного откровения, своего рода рационализация иррационального. Вольф включает в свою «систему» все традиционные догмы христианства и переходит из мира каузальности в мир божественного откровения. Если раньше он оправдывал бога существованием рационально устроенного и целенаправленного мира, то теперь он оправдывал мир существованием рационально познанного бога.

«Система предустановленной гармонии» Вольфа становится универсальной философской системой телеологического оптимизма. Заключая в своем разуме все возможные миры, бог должен был неизбежно остановиться на «наилучших из всех возможных миров». В этом лучшем из миров не может быть ничего случайного или произвольного. Малейшее изменение, внесенное в него со стороны, может только сделать его менее совершенным. Но в то же время всякий сотворенный или только возможный мир, в том числе и наилучший из возможных, должен с абсолютной неизбежностью включать в себя «метафизическое зло». Это зло не является целенаправленным от бога, а как бы существует помимо его, обусловленное ограниченностью самих вещей.[12]

Вольф оперировал двумя ходовыми понятиями века — «разум» и «естественная религия». Рассуждения Вольфа на первых порах были восприняты как осторожный призыв к деизму. Не случайно студенты в Галле бурно приветствовали Вольфа, а пиетисты поспешили обвинить его в «спинозизме». Противники Вольфа отдавали себе отчет в рационалистических тенденциях его эклектической системы. Они правильно оценивали возможности некоторых материалистических выводов из вольфовского дуализма, позволявшего миру и человеку действовать только в сфере механических законов.

Телеология Вольфа была рычагом его теологии. Вольф и городил весь этот огород для утверждения крайней «метафизической цели». Весь логический лабиринт, через который он проводит своих последователей, заканчивается оправданием религии и ее традиционной роли и догматики.

На некоторое время Вольф и его ранние последователи (Бильфингер и др.) всколыхнули рутину философских факультетов Германии. Вольфовский рационализм вторгся в цитадель проте-

[12] Точно так же Фома Аквинат учил, что бог не преднамеренно установил зло, а оно существует лишь как «акциденция», как нечто случайное по своей сущности и лишь сопутствующее вещам.

стантского ортодоксального богословия. В то же время он сильнейшим образом ослабил в Германии влияние пиетизма. Но Вольф не взрывал основ протестантской теологии, а скорее содействовал ее приспособлению к новым условиям. И не случайно немецкий пиетист Иоганн Диппель (1673—1734) одно из своих сочинений, направленных против вольфианства, ядовито озаглавил: «Лютеранская ортодоксия, ретирующаяся в шанцы, вновь возведенные некими лейбницианскими инженерами».[13] После первых и тогда уже робких попыток освободить науку и философию от подчинения теологии вольфианцы не только пришли к полному примирению с нею, но и содействовали ее оживлению, снабжая ее новыми рациональными аргументами. После короткой размолвки, вызванной скорее взаимным непониманием, чем подлинным антагонизмом, вольфианство растворилось в ортодоксии, подготовляя союз немецкого идеализма с религией.

Волна рационализма и просветительства, поднявшаяся вместе с вольфианством, отражала известное поступательное движение. Но вместе с тем вольфианство отражало и общую отсталость и реакционный путь немецкого общественного развития XVIII в.

Историк немецкой литературы Геттнер, указывая на популярность Вольфа в Европе, дает ему убийственную характеристику, когда замечает: «Невольно думаешь при этом об одновременной усердной пропаганде Вольтера и энциклопедистов».[14] Распространившееся по всей Европе вольфианство объективно противостояло передовым тенденциям идеологического развития — смелому антифеодальному натиску энциклопедистов, материалистической философии и эмпирической науки.[15]

---

[13] Christbicher Demokritus (J.-C. Dippel), Wercke, Bd. III, Berleburg, 1747, стр. 211 и сл.

[14] H. Hettner. Geschichte der deutschen Literatur in XVIII Jh., Bd. I, 3. Aufl. Braunschweig, 1879, стр. 252.

[15] Сам Вольф так оценивал свои философские успехи и усилия. 7 июня 1739 г. Вольф сообщал Мантейфелю, что он получил от «одного друга» письмо, где приведено объяснение, которое дал португальский посол в Риме П. Эвора: по какой причине вольфианская философия привлекла к себе большое внимание «среди высокопоставленных духовных лиц и других ученых теологов».

«Оказывается, — писал Вольф, — что вместе с принципами нынешних известных англичан в Италию ворвались и повсюду страшно свирепствуют материализм и скептицизм. Уразумели, что оказать им сопротивление с помощью схоластической философии будет не по силам. Посему-то и были принуждены приложить все силы к моей философии, ибо в ней нашли оружие, которым можно будет разить и победить этих чудовищ. Во Франции также сильно неистовствуют деизм, материализм и скептицизм и даже еще больше, так что прямо невероятно. И было бы хорошо, если бы блестяще образованная маркиза (дю Шатле) могла бы также стать орудием, посредством коего моя философия послужила бы преградой этому злу» (Christian Wolff's Eigene Lebensbeschreibung, стр. 177).

III

В своих телеологических рассуждениях (впрочем, как и почти во всем) Вольф не был оригинален. В огромном потоке сочинений, посвященных вопросам телеологии, его книга занимает довольно скромное место.

Телеологическая аргументация пользовалась успехом со второй половины XVII в., как одно из средств задержать наступление естественнонаучного материализма. Происходило насильственное приспособление все новых и новых фактов, открываемых естествознанием (в особенности в области биологии), для доказательства мудрости и самого бытия бога. Так называемое «физико-теологическое доказательство» опиралось на представление о гармонии и целесообразности в природе. Вещи сами по себе не могли бы приспособиться к конечным целям, если бы не были избраны для того упорядочивающим высшим мудрым существом.[16]

Это было всеевропейское поветрие, нашедшее себе адептов среди устремившихся в естественные науки богословов и богословствующих естествоиспытателей. Предтечами этого движения были иезуит Афанасий Кирхнер, Роберт Беллармин, теолог и математик Исаак Барроу и др. Особенно усердно занимались этими вопросами в Англии уже упомянутый нами Роберт Бойль [17] и, разумеется, Бентли и Коутс. Космологические и геологические представления настойчиво согласовывались с «днями творения», как они изложены в Библии.[18]

В Англии же в 1712 г. вышла книга Вильяма Уистона «Астрономические принципы религии». Особенной популярностью пользовалась «физико-теология» Вильяма Дергема (1657—1735), переведенная на немецкий язык в 1732 г. Альбертом Фабрициусом с седьмого английского издания.[19]

---

[16] Логическую несостоятельность физико-теологического доказательства показал И. Кант в «Критике чистого разума».

[17] Известный химик Роберт Бойль (1627—1691) был автором ряда богословских трактатов. Один из них посвящен доказательству необходимости отыскания конечных причин естественных явлений (A Disquisition about the final causes of natural things, London, 1688). Для Бойля созерцание природы было источником набожности (Summa veneratio Deo ad humano intellectu bebita. London, 1692, стр. 35—37).

[18] John Ray. 1) The Wisdom of god manifested in the works of the Creation, vol. 2. London, 1692; 2) Three Physico-Theological Discourses. I. The Primitive Chaos and Creation of the World. II. The general Deluge its Causes and Effects. III. The Dissolution of the World and Future Conflagration. London, 1643 (с таблицами окаменелостей); имеется в Библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде.

[19] W. Whiston. Astronomical Principles of Religion. London, 1712; W. Derham's Physico theologie, oder Natur-Leitung zu Gott, 2. Aufl. Hamburg, 1732, XLVI, 1072 стр.; W. Derham. Astrotheologie oder Himmels-Vergnügen in Gott. Hamburg, 1732.

Каких только диковинных книг ни появлялось в то время! Для доказательства бытия и мудрости бога служила вся неживая, а в особенности живая природа. В обширнейшей библиографии, составленной Фабрициусом (в приложении к «Астротеологии» Дергема), эти сочинения так и расклассифицированы по предметам, из которых выводится доказательство: «из сохранения равновесия при движении человеческого тела»; «из разнообразных способов употребления пищи», «из голосов животных», «из действия магнита»[20] и т. д. Уже одни заглавия некоторых книг говорят сами за себя. Так, в 1686 г. вышла книга Герхарда Майера «Паук как свидетельство бытия божия»;[21] в 1693 г. некий магистр Христиан Лейтвейн написал сочинение «Теология снега, физико-мистическая, догматико-практическая, или духовное учение о снеге».[22]

Эта настойчивая пропаганда подчиняла себе подчас и выдающихся естествоиспытателей, в свою очередь беспощадно используемых для дальнейших теологических упражнений. Назовем здесь Яна Сваммердама (1637—1680) и его замечательный труд, названный им «Библия природы, в коей насекомые разделены в определенные классы и тщательно описаны, анатомированы и представлены на медных гравюрах, с многими примечаниями, изъясняющими редкости природы к доказательству всемогущества и мудрости творца примененные». Перевод этой книги на немецкий язык был издан с необычайной роскошью.[23]

Сваммердам буквально растерялся перед сложностью и тонкостью строения насекомых, превзошедших возможности его самых острых ланцетов. Но его благочестивые рассуждения сопровождались виртуозной практикой, продвинувшей вперед изучение природы и обогатившей науку тщательными наблюдениями. Собранный им фактический материал делал свое дело независимо от того, какое применение находили для него теологи.

По следам Сваммердама в Германии шел художник Август Резель фон Розенгоф (1705—1759), изучавший мельчайших животных — насекомых, амеб, полипов и др. С 1746 г. он стал изда-

---

[20] J. H. Becher. Statica dirigente quietem corporis humani. Rostok, 1726; A. Murray. Demonstratio ex voce animalium. Kiel, 1727 (2. Aufl.: Hamburg, 1724); M. Hall. Magnetismo magno, oder methaphisischen und zu Gott führenden Betrachtung von Magneten. 1695.

[21] G. Gerhard. Meieri Aranca, existentiae Dei testis. Hamburg, 1686.

[22] Chr. Phil. Lentwein. Theologia nivis Physico-mystica, Dogmatico-practica, oder geistliche Lehr-Schule vom Schnee. Nürnberg, 1693.

[23] Joh. Swammerdam. Bibel der Natur, worinnen die Jnsekten in gewisse Classen vertheilt . . . und zum Beweis der Allmacht und Weisheit des Schöpfers angewendet werden. Vorrede von H. Boerhave. Leipzig, 1752. Среди подписчиков на это издание указан канцлер Христиан Вольф. Издание имеется в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде.

вать своеобразный журнал «Ежемесячные увеселения, доставляемые насекомыми».[24] В обширном предисловии Резель подробно говорит о «пользе насекомых» и ссылается на физико-теологов Дергема, Лессера, Цорна, а также приводит рассуждения Реомюра, с которым находился в дружбе. Само же издание представляло собой обстоятельное описание насекомых, с приложением больших таблиц, гравированных и раскрашенных от руки самим автором с большой тщательностью, тонким вкусом и точностью.

К этому следует добавить, что Резель, как и Реомюр, не ограничивался описанием внешнего вида и строения насекомых, а уделял большое внимание их образу жизни и развитию, что и обеспечило ему законное место в истории естествознания.

Однако наряду с такими изданиями существовало неисчислимое множество совершенно бесплодных сочинений, в своей совокупности лишь тормозивших развитие науки. В Германии особой неутомимостью отличался Альберт Фабрициус, не только переведший обширные сочинения Дергема, но и сам составивший «Гидротеологию», выпущенную им в 1734 г. в Гамбурге с приложением, содержащим... перечень старинных и новейших материалов по морскому праву.[25] Не отставал от него и Фридрих Христиан Лессер, выпустивший вслед за «Литотеологией» (1735 г.), содержавшей душеспасительные размышления по поводу камней и минералов, «Тестацеотеологию, или доказательства бытия божия, почерпнутые из наблюдения над улитками»,[26] «Инсектотео-

---

[24] Monatlich herausgegebene Insecten-Belustigung ... aus eigenen Erfahrung beschrieben, und in seuber illuminirten Kupfern nach dem Leben abgebildet ... von August Johann Rösel, Miniatur-Mahlern, Bd. I, 1746; Bd. II, 1749; Bd. III, 1755; Bd. IV, 1761 (последний том издан посмертно, с некрологом Резеля, написанным И. Клееманном). Это роскошное издание имеется в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. О Резеле фон Розенгофе см.: Ф. Даннеман. История естествознания, т. III. М.—Л., 1938, стр. 101.

[25] Joh. Alberto Fabricio. Hydrotheologie, oder Versuch durch aufmerksame Betrachtung der Eigenschaften, reichen Austheilung und Bewegung der Wasser, die Menschen zur Liebe und Bewunderung ihres Götigsten, Weisesten, Mächtigsten Schöpfers zu ermuntern. Hamburg, 1734, 434 стр. (Хранится в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде). В подобные телеологические сочинения часто причудливым образом вплетались экономические, правовые, политические рассуждения, обычно отражавшие политику просвещенного абсолютизма, меркантилистские воззрения и т. д. В этом отношении характерна книжка Зейделя о шелковичных червях, написанная несомненно в связи с попытками в немецких княжествах ввести шелководство: Chr. Math. Seidelii Hundert geistliche Betrachtungen über der seiden Wurm. Halle, 1718.

[26] Friedrich Chr. Lesser. 1) Lithotheologie, oder natur historische und geistliche Betrachtungen der Steine. Hamburg, 1734; 2) Testaceo-Theologia, oder gründlicher Beweis ... aus natürlicher und geistlicher Betrachtung der

логию» и различные мелкие сочинения на подобные же темы.[27] Последняя книга даже была переведена на французский язык.

Было бы неправильно приписывать только влиянию Вольфа появление всех подобных сочинений даже в Германии. Как мы видели, они имели свою традицию и помимо Вольфа. Однако нет сомнения, что с его легкой руки вплоть до конца XVIII в. расплодилось множество дилетантских сочинений, отмеченных печатью вольфианства.

В Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде сохранилась целая коллекция подобных произведений, в которых последователи Вольфа с нестерпимой обстоятельностью доказывают и прославляют бытие божие, исходя из мельчайших обстоятельств и подробностей, замеченных в природе. Философское толчение воды в ступе сопровождается нанизыванием отдельных фактов, соединенных цепочкой поверхностных рассуждений. Примечательно, однако, что ни одно из известных нам сочинений этого рода не изложено непосредственно «математическим методом». Обширные ссылки на Вольфа содержит «Фитотеология» Иоганна Рора (1740 г.), пытавшегося представить «разумный и согласный с Писанием опыт, как из царства растений познать всемогущество, мудрость, благость и справедливость творца».[28] Наряду с Вольфом автор ссылается на Дергема, Роберта Бойля и «почтительно следует» Лессеру.

Почти одновременно Бенеманн выпускает «Описание Тюльпана во славу творца» (1741 г.) и такое же описание розы. Обе книги нашпигованы множеством литературных цитат. А в книге о розе помещена многословная стихотворная эпистола приверженца Вольфа, И. Готшеда, к автору, который назван «испытанным другом».[29]

Чем только ни начиняли подобные книги, чтобы придать им занимательность и соединить назидательные рассуждения с непременной пользой. И если Фабрициус, издавший свою книгу в городе моряков, ввел в нее не только справочник по морскому

Schnecken und Muscheln, zur gebührenden Verherlichung des grossen Gottes... Leipzig, 1744, 984 стр. (Хранится в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде).

[27] F. C. Lesser. Insektotheologie, oder Versuch wie ein Mensch durch Betrachtung der Insekten zur Erkenntnis Gottes gelangt. Leipzig, 1756. (Хранится в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде). См. его же «Kleine Schriften zur Physikotheologie» (Nordhausen, 1754).

[28] J. B. Rohr. Phyto-Theologia. Francfurt und Leipzig, 1740, 590 стр. В предисловии к этой книге упоминается также «всемирнопрославленный гамбургский полигистор» Иоганн Фабрициус.

[29] J. G. Benemann. 1) Gedancken über das Reich der Blumen im müßigen Stunden gesammelt. Dresden, 1740; 2) Die Tulpe zum Ruhm ihres Schöpfers und Vergnügung edler Gemüther. Dresden, 1741; 3) Die Rose zum Ruhm ihres Schöpfers und Vergnügung edler Gemüther. Dresden, 1742.

праву, но и всевозможные изречения о воде и мореплавании, начиная от Библии и Гераклита и кончая народными пословицами, то Лессер пытался представить в ней нечто вроде сводного музейного каталога раковин и других раритетов, хранящихся в многочисленных кунсткамерах и коллекциях. И. Цорн выпускает «Петинотеологию» (1745 г.), а Адам Ширах (впоследствии член Петербургского экономического общества) «Мелиттотеологию», причем последняя книга содержит сведения по практическому пчеловодству.[30]

Однако такие сочинения отличались с точки зрения правоверного вольфианства одним недостатком: они почти не отвечали на вопрос о «пользе» злых и опасных для людей и тварей, или грозных и разрушительных, явлений природы. На эти каверзные и щекотливые вопросы о существовании зла в мире отвечает целая серия других книг. И если Рор лишь мимоходом касался вопроса о сорняках и ядовитых растениях, оговаривая, что и от них можно получить ту или иную пользу (ядовитые и вместе с тем лекарственные растения, красители и пр.), то Э. Ротлев и И. Рихтер прямо «берут быка за рога». Э. Ротлев в изданной в 1748 г. «Акридотеологии» доказывает, что божественный разум проявляется в том, что «бог устроил голову у саранчи таким образом, что она вытянута вперед и рот ее наклонен вниз, для того чтобы ей не нужно было глубоко наклоняться и она могла удобно и быстро пожирать пищу».[31] В «Ихтиотеологии» И. Рихтера (1754 г.) можно найти такие тирады: «О суетный смертный, не довольно ли будет описывать тебе тех или иных красивых и полезных рыб; узри чудотворящую руку твоего создателя на примере акулы, которая наделена более чем сотней костей и хрящиков, из коих каждому присуще свое устройство и назначена своя польза. Наблюдая остроту сей рыбы, обрати дарованный тебе от бога разум ко всяческому добру».[32] Таким образом, акула создана так целесообразно, дабы учить добродетели человечество!

Петер Альвардт в «Бронтотеологии» излагает теорию «грозовых явлений», распространенную в то время. Молния рождается от самовозгорания «серных паров». «Обстоятельства (возникновения) молнии учат нас, что молния бывает видна значительно чаще в теплые летние дни, нежели в зимнее время, да, можно сказать, что последнее относится к числу редких событий ... и всеконечно, в самые теплые летние дни подымается ввысь больше

---

[30] J. H. Zorn. Petinotheologia. Pappenheim, 1745 (с предисловием J. P. Reusch'a); Adam Schirach. Melittotheologia, oder Verherrlichung des glorwücdigen Schöpfers aus der wunderwollen Biene mit eingestreuten olconomischen Anmermungen abgefasst. Drezden, 1767.

[31] E. L. Rothlef. Akridotheologie. Hannover, 1748, стр. 126.

[32] J. G. Richter. Ichtyotheologie. Leipzig, 1754, стр. 759.

серных частиц, нежели зимой или в такие дни, когда стоят холода и когда солнечные лучи не так сильно воздействуют на наш земной шар и находящиеся на нем тела».[33] Теплые серные облака, которые находятся в постоянном внутреннем движении, сближаются ветром с холодными дождевыми. В серных парах возникают искры, которые, наконец, превращаются в подлинное пламя в самом воздухе. И вот «каждая гроза, каждое видимое пламя молнии, каждый ужасающий раскат рыкающего грома побуждают и влекут нас к созерцанию нашего долга по отношению к богу, самим себе и нашим ближним».[34]

Альварт не только повторяет тривиальные положения телеологии Вольфа, но идет дальше.

Сама по себе антропоцентрическая целенаправленность бытия кажется ему недостаточной. Ему нужно постоянное присутствие и вмешательство божества в дела природы, случайность и произвол в мире естественных вещей. «Вся природа грозы и все, что мы познаем, наблюдая гром и молнию как естественные явления, убеждает нас в полной мере, что ничего абсолютно необходимого здесь нельзя ни встретить, ни установить, а только чисто случайное, изменчивое и зависящее от иных вещей ... Мир так и остался бы миром, ежели бы молния и гром, которые мы сегодня видим и слышим, или как бы совсем не случились бы, или явились бы вчера, завтра и послезавтра. Разве не могла бы гроза, которая разразилась там или тут, поразила того или иного человека, точно так же произойти в третьем и четвертом месте и не поразить совсем никого или умертвить совсем другого человека... Одним словом, все, с чем мы встречаемся при громе и молнии, могло быть иначе; все изменчиво и ничто не является с необходимостью. Таким образом, необходимо, чтобы молнии и гром получили достаточное основание в какой-либо иной вещи, помимо себя, почему это скорее существует, чем не существует или почему это скорее происходит так, а не иначе». Естественные причины уступают место метафизическим, лежащим за пределами материальных вещей. Такая необходимость, неизменяемая и независимая от других вещей причина — только бог. Посему гром — «глас бога» (псалом 29).[35]

Авторы подобных сочинений выступали как дальнейшие вульгаризаторы вольфианства, служившего для них средством возвращения на позиции средневекового мировоззрения. Так все явственней оживало старое в новой оболочке «просветительства» вольфовской школы.

---

[33] P. Ahlwardt. Brontotheologie. Greifswald und Leipzig, 1745, § 21.
[34] Там же, § 102.
[35] Там же, стр. 160—161, 408.

IV

Совершенно иной характер приобретало вольфианство в России, если можно вообще говорить о вольфианстве, так как здесь оно никогда не было последовательным или всесторонним. Однако интерес к Вольфу в России был очень велик. Имя его пользовалось у нас уважением. Петр I благоволил к Вольфу и обращался к нему по разным вопросам. По распоряжению Петра Вольфу был послан проект организации Петербургской Академии наук,[36] а самого его, по-видимому, прочили на пост вице-президента.

Вольф колебался, принять ли ему предложение из России, хотя его положение в Галле в это время было очень тяжелым. Против него велась жестокая травля, поднятая пиетистами, закончившаяся рескриптом прусского короля Фридриха Вильгельма I о его высылке из Галле «под страхом виселицы».[37]

В течение всей первой половины XVIII в. сочинения Хр. Вольфа пользовались в России почти такой же популярностью, как книги Гуго Гроция и Пуффендорфа. Петровское государство искало в западноевропейской научной и политической литературе средства для своего идеологического укрепления и технико-экономического развития.

В личной библиотеке Петра I была книга Вольфа «Elementa matheseos universae» (tt. I—II, Halle, 1713—1715).[38] Кроме того, Петру I несомненно была хорошо известна вышедшая на немецком языке «Физика» Вольфа, напечатанная в 1723 г. в Галле с «дедикацией» Петру Великому.[39]

Труды Вольфа, преимущественно по физике и математике, были в библиотеке Я. В. Брюса. В составленной после его смерти описи книг, переданных в 1735 г. в Библиотеку Академии наук в Петербурге, насчитывалось 1432 книги, 38 рукописей, 113 карт и 111 чертежей и рисунков, в том числе имелись следующие со-

---

[36] Х. Вольф подтверждает получение письма лейб-медика Петра Блументроста, в котором говорилось об этом проекте. См.: Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719—1753. St. Petersburg, 1860, стр. 3—4. См. также: А. И. Андреев. Основание Академии наук в Петербурге. Сборник «Петр Великий», М.—Л., 1947, стр. 286 и 293—294.

[37] Рескрипт Фридриха Вильгельма I от 8 ноября 1723 г. См.: Joh. Chr. Gottsched. Historische Lobschrift des Weiland hoch und wohl-gebohrnen Herrn Christian Fr. v. Wolf. Halle, 1755, стр. 69—71; Adolf Harnack. Geschichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Bd. I. Berlin, 1900, стр. 232—233; W. Schrader. Geschichte des Friedrich Universität zu Halle. Berlin, 1894, стр. 211—218.

[38] Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР, вып. I, XVIII век. М.—Л., 1956, стр. 372 и 377.

[39] Chr. Wolff. Vernünftige Gedanken von Würckungen der Natur. Halle, 1723.

чинения Вольфа: «Христиана Волфия. Таблицы тригонометрические, на немецком языке, в Галле, 1711 (№ 879 описи); Христиана Вольфа. Первые начала математических наук, на немецком языке. 4 тома. В Франкфурте и Лейпциге. 1732. Его же. Метафизика, на немецком языке, в Галле, 1722. 1 и 2 том. Того же. Физика, на латинском языке, 1723. Его же. Книга о познании натуры и искусства, на немецком языке, в Галле, 1721. 3 тома. (№№ 1382—1385)».[40]

В. Н. Татищев также обладал главнейшими сочинениями Вольфа на немецком языке. В его библиотеке были «Метафизика», «Логика», «Телеология», «Этика» Вольфа, а также его физико-математические книги: «Auszug aus den Anfangs-Gründen aller Mathematischen Wissenschaften», «Allerhand nützliche Versuche», «Kurtzer Unterricht von den vornehmsten Mathematischen Schriften» (1717), «Ausführliche Nachricht von seiner eigenen Schriften» (1725).[41]

Сочинениями Христиана Вольфа интересовался Феофан Прокопович, в библиотеке которого было издание «Элементов всеобщей математики» (вероятно, то же самое, которое было и в библиотеке Петра I).[42] Весьма примечательно, что на одной ассамблее в присутствии Петра, когда разнесся слух о приезде Вольфа в Россию, Феофан Прокопович изъявил по этому поводу большую радость, так как сам был «охотник до физических экспериментов».[43]

Мы видим, что в России к Христиану Вольфу проявляли интерес прежде всего как к представителю точных наук, скорее даже переоценивая в этом отношении его значение. О том, что Вольфом интересовались в России прежде всего как математиком, знали и за границей. Прилежный составитель «вольфианы» Карл Людовици указал, что уже в 1726 г. «Leipziger Gelehrten Zeitungen» отмечали, что математические книги Вольфа и состав-

---

[40] Материалы для истории Академии наук, т. V. СПб., 1889, стр. 152—227.

[41] П. Пекарский. Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб., 1864, стр. 58—62. В библиотеке Татищева была также «Волфианская физика» (СПб., 1746) в переводе М. В. Ломоносова.

[42] П. В. Верховской. Учреждение духовной коллегии и духовный Регламент, т. II. Материалы. Ростов-на-Дону, 1916, отд. V, стр. 30; J. Tetzner. Theophan Prokopovič und die russische Frühaufklärung. «Zeitschrift für Slawistik», Bd. III, H. 2—4, 1958, стр. 351—368. Усердным читателем Вольфа, собравшим почти все его сочинения, был и противник Феофана Прокоповича — Ф. Лопатинский. См.: А. Н. Лавровский. Феофилакт Лопатинский и его библиотека. «Ученые записки Калининского государственного педагогического института», т. XV, вып. 1, 1947, стр. 208.

[43] Об этом тогда же сообщил Вольфу будущий правитель Академической канцелярии Иоганн Даниил Шумахер. См.: Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719—1753, стр. 174.

ленные по его книгам «Institutiones» Тюммига охотно читались в России.[44]

И своей популярностью в России Хр. Вольф был обязан прежде всего своим трудам в области физико-математических наук, а не своим философским или юридическим сочинениям. Избранный при основании Петербургской Академии наук ее почетным членом (с пожизненной пенсией в 300 рублей в год), он числился в ее списках «профессором математики».[45] С началом выхода «Комментариев» Петербургской Академии наук, в первом же томе, была напечатана статья Вольфа «Principia dynamici».[46]

В Россию Петровского времени приглашали и ждали не Вольфа-метафизика, а Вольфа-математика, физика, техника. И быть может, сознание того, что в России придется отдать все силы разработке таких задач и вопросов, к которым он уже не чувствовал особого призвания, и отпугивало Вольфа от окончательного решения.

Философские и богословские воззрения Вольфа также подвергались в России существенному переосмыслению и приобретали несколько другое историческое значение. Феофана Прокоповича прежде всего привлекали рационалистические тенденции философии Вольфа.

Элементы протестантского рационализма даже в его вольфианской интерпретации расшатывали позиции православной ортодоксии. Даже признание «предустановленной гармонии» Вольфа и Лейбница служило для отрицания чуда — произвольного божественного вмешательства в дела природы. Русское богословие, неподготовленное и беспомощное, под натиском этих идей в конце концов приняло «теодицею» Лейбница в ее вольфианско-баумгартеновской переработке. Но в середине XVIII в. эти рационалистические тенденции играли прогрессивную роль в борьбе против церковной реакции, поднимавшейся последовательными волнами при Петре II и Елизавете, тогда как во время царствования Анны Иоанновны произошло, и при том вполне ощутимо, возвращение к церковной политике Петра и некоторой терпимости в богословских вопросах.[47]

---

[44] C. G. L u d o v i c i. Ausführlicher Entwurf einer vollständigen Historie der Wolffischen Philosophie, Bd. I. Leipzig, 1736, стр. 489.

[45] «Материалы для истории Академии наук», т. I, СПб., 1885, стр. 99 и 285; т. II, СПб., 1886, стр. 500.

[46] «Commentarii Academiae scientiarum Petropolitanae», t. I, 1728, стр. 217—236.

[47] Б. В. Т и т л и н о в. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви. Вильно, 1905.

V

На этом историческом фоне и надо рассматривать отдельные положения и высказывания М. В. Ломоносова, носящие телеологический характер и в известной степени действительно восходящие к Вольфу.

В диссертации «О металлическом блеске», представленной Ломоносовым в начале лета 1745 г., мы находим слова, что «предусмотрительность высшего божества сделала так, что род человеческий, рассеянный на поверхности земли, какую бы часть ее ни населял, всюду находит металлы, необходимые для удовлетворения своих потребностей. Так как для образования их требуется огромное количество дающего блеск флогистона, то премудрость того же провидения наполнила в изобилии глубочайшие недра гор жирным минералом, который мы называем серою, благодаря чему металлы были созданы не только некогда, в младенческие времена мира, но рождаются в большом количестве и до сего дня».[48] Интересно, что даже здесь Ломоносов привел оговорку, сохранившуюся в копии, но исключенную из текста: «Многие, впрочем, уверены, что все металлы были при сотворении мира созданы богом там, где они открываются трудами рудокопов. Однако существуют весьма веские данные, подтверждающие обратное». Ломоносов пытается это доказать ссылками на современные ему геологические сочинения и даже на «Энеиду». Несмотря на ошибочность этого суждения, в нем заключалась смелая для того времени мысль о постоянном изменении в природе.

Ломоносов начинает «Слово о рождении металлов от трясения земли» (1757 г.) с пышного вступления, в котором утверждает, что среди самых ужасных для человека явлений природы «нет ни единого толь опасного и вредного, которое бы купно пользы и услаждения не приносило». Посему и землетрясения «не токмо для нашей пользы, но для избыточества служит, производя, кроме многих угодий, преполезные и многочисленные металлы».[49]

Ломоносов произнес это «Слово» в обстановке всеобщего беспокойства, вызванного знаменитым лиссабонским землетрясением

---

[48] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 403. (Далее: Ломоносов, с указанием тома).

[49] Ломоносов, т. 5, стр. 296. Рассмотрению вопроса о землетрясениях с телеологической точки зрения посвящена «Сейсмотеология» Прейя (J. S. Preu. Versuch liner Sismotheologie oder physico-theologische Betrachtungen über der Erdbeben). Книга эта была нам недоступна, и мы не могли сравнить ее с высказываниями Ломоносова.

в ноябре 1755 г.[50] Он говорит несколько успокоительных фраз, служащих ответом на язвительную проповедь против «натуралистов»[51] придворного проповедника Гедеона Криновского, и затем переходит к изложению предмета.

Существование землетрясений приводит Ломоносова к идее изменчивости: «Таковые части в подсолнечной перемены объявляют нам, что земная поверхность ныне совсем иной вид имеет, нежели каков был издревле. Ибо нередко случается, что превысокие горы от ударов земного трясения разрушаются и широким разседшейся земли жерлом поглащаются ... Напротив того, в полях восстают новые горы и дно морское, возникнув на воздух, составляет новые островы. Сие, по достоверным известиям древних писателей и по новым примерам, во все времена действовала натура».[52]

Сквозь риторические украшения парадной академической речи явственно проступает величественная концепция, основывающаяся на идеях изменчивости и развития мира.

Дальнейшее развитие уже без всяких телеологических прикрас эти мысли получают в сочинении Ломоносова «О слоях земных». «Напрасно многие думают, что все, как видим, сначала творцом создано; будто не токмо горы, долы и воды, но и разные роды минералов произошли вместе со всем светом; и потому-де ненадобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно и натуральному знанию шара земного, а особливо искусству рудного дела, хотя оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три слова: бог так сотворил; и сие дая в ответ вместо всех причин».[53]

«Твердо помнить должно, — продолжал Ломоносов, — что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим, но великие происходили в нем перемены, что показывает история и древняя география, с нынешнею снесенная, и случающиеся в наши веки перемены земной поверхности». Только чтобы отвести от себя прямое обвинение, Ломоносов указывает тем, «кому противна долгота времени и множество веков, требуемых на обращение дел и произведение вещей в натуре», что «церковное исчисление» не есть «догмат веры», и притом советует считаться не

[50] А. Морозов. Михайло Васильевич Ломоносов, изд. 2-е. Л., 1952, стр. 554—567.

[51] См.: Собрание разных поучительных слов, при высочайшем дворе сказанных архимандритом Гедеоном, т. II. СПб., 1756, стр. 316—317.

[52] Ломоносов, т. 5, стр. 574.

[53] Там же, стр. 575.

только с библейской хронологией, но и с летосчислениями, «как оставили на память древние авторы о Халдеях, Египтянах, Персах и ныне о своем народе уверяют Китайцы, коих всех вовсе пренебречь есть то же, что за ложь и за басни поставить все древние исторические известия, несмотря на очевидные долговременных трудов человеческих остатки, каковы суть Египетские пирамиды, коих самые старинные авторы почитают за превеликую древность».[54]

В начале «127 заметок к теории света и электричества» Ломоносова, составление которых относится к апрелю—маю 1756 г. и которые посвящены разработке эфирной теории электричества, мы также находим несколько строк о «верховном мастере», который «построил органы, орудия, пригодные для всех случаев», и о том, что «не случайно материя образовала все». Здесь же неподалеку помещена и похвала Вольфу, уже приводившаяся нами. Истинный характер этих слов объясняет одна из последних заметок: «Предлагаю как ритор, докажу как физик» (№ 120).[55] Разработанная им вновь теория электричества сама по себе не имела никакого отношения ни к телеологии, ни к взглядам Вольфа на природу материи. Мысли, развиваемые Ломоносовым, об универсальной роли эфира как носителя световых и электрических явлений вытекали из его целостного материалистического понимания мира.

Некоторые рудименты вольфианства можно, пожалуй, усмотреть в отдельных параграфах «Риторики» Ломоносова 1748 г. Так, например, § 271 содержит такое рассуждение: «Ежели что из таких частей состоит, из которых одна для другой бытие свое имеет, опое от разумного существа устроено. Но видимый мир из таких частей состоит, из которых одна для другой бытие свое имеет. Следовательно, видимый мир от разумного существа устроен». В «Слове о происхождении света», произнесенном 1 мая 1756 г., Ломоносов, говоря об испытании натуры, восклицает: «Чем глубже до самых причин толь чудных дел проницает рассуждение, тем яснее показывается непостижимый всего бытия строитель. Его все могущества, величества и премудрости видимый сей мир есть первый, общий, неложный и неумолчный проповедник».[56] Засим следует спокойное и ничем не связанное с приведенным восклицанием изложение ломоносовской теории света и цвета и полемика со взглядами Ньютона.

Конечно, наличие таких пассажей свидетельствует об известной идейной слабости, трудностях роста и формирования Ломоносова, на что нам не следует закрывать глаза. Но все такие

[54] Там же, стр. 574—575.
[55] Там же, т. 3, стр. 239—240 и 261.
[56] Там же, стр. 317.

высказывания Ломоносова ни в какой мере не колеблют основ выработанного им мировоззрения, противоположного и противоборствующего подобным случайным или тактическим его уступкам.

Телеологические прикрасы становились особенно необходимы, когда Ломоносов касался в публичных выступлениях предметов, по тогдашним воззрениям весьма сомнительных. Так было, когда он выступил по поводу лиссабонского землетрясения. В еще более острой и напряженной обстановке было произнесено вскоре после трагической гибели его друга Георга Вильгельма Рихмана «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (1753 г.). Достаточно вспомнить, какие нелепые толки, волнения, злорадство, невежественные нарекания и наветы вызвало это несчастье в придворных и клерикальных кругах, среди всех и всяческих реакционеров. «Машиною старался о удержании грома и молнии, дабы от идущего грома людей спасти, но с ним прежде всех случилось при той самой сделанной машине», — писал в своем дневнике Василий Нащокин.[57] Граф Р. И. Воронцов видел в самом изобретении «громовой машины» «дерзкое испытание природы». Ломоносов имел все основания опасаться, чтобы «сей случай не был протолкован противу приращения наук», как писал он 26 июля 1753 г. И. И. Шувалову.[58]

Ломоносов счел своим долгом выступить в этой накаленной обстановке, чтобы защитить право ученого на научное исследование. Вместе с тем он докладывал о своих новых исследованиях, вводил в научное обращение новую плодотворную теорию происхождения атмосферного электричества, теорию восходящих и нисходящих воздушных течений, теорию происхождения северных сияний. Ломоносов убежден, что молчать о новых научных открытиях «противно общей пользы человеческого рода». Но он вполне отдавал себе отчет, что предлагаемая им для объяснения грозовых явлений неведомая электрическая сила выступает как опасная соперница провидения. Поэтому изложение своих научных выводов Ломоносов и предварил телеологической тирадой. Он говорит о боге, который создал «человека, дабы он, рассуждая безмерное сотворенных вещей пространство, неисчислимое множество, бесконечную различность и высочайшим промыслом положенного меж ними союза, его премудрости, силе и милосердию со благоговением удивлялся». Ломоносов обращается с молитвой, «дабы по отверстию и откровению толиких естественных таин» было открыто людям «к сохранению жизни и здравия» от вредных и опасных «воздушных стремлений» (атмосферных, в пер-

[57] Записки Василия Александровича Нащокина. Издал Д. Языков. СПб., 1842, стр. 116.
[58] Ломоносов, т. 10, стр. 485.

вую очередь грозовых явлений) «безопасное прибежище», под которым он подразумевает предложенные им громоотводы. Все содержание «Слова» Ломоносова противостоит его риторической тираде. Ломоносов говорит о явлениях, совершающихся, как он подчеркивает, «по незыблемым естества законам», связывает объясняемые им явления со своей теорией теплоты, говорит о возможности и необходимости научного «предзнапия» (предвидения) погоды. Он славит бессмертный подвиг ученого и говорит о том, что ничто не может остановить людей науки в их смелом и победоносном движении вперед. «Не устрашил ученых людей Плиний, в горячем пепеле огнедышащего Везувия погребенный, ниже отвратил пути их от шумящей внутренним огнем крутости. Смотрят по вся дни любопытные очи в глубокую и яд отрыгающую пропасть. Итак, не думаю, чтобы внезапным поражением нашего Рихмана натуру испытающие умы устрашились и электрической силы в воздухе законы изведывать перестали.[59]

Немыслимо представить в такой обстановке и в такой роли ни благочестивого и осторожного Христиана Вольфа, ни тем более кого-либо из его учеников.

Бросается в глаза внешний, искусственный характер таких телеологических замечаний Ломоносова, как бы роняемых им на ходу без глубокой связи с общим ходом его рассуждений. У Христиана Вольфа телеология пронизывала все воздвигаемое им здание умозрительно познаваемого мира. Ломоносов не пускал телеологию в глубь естествознания.

Пользуясь вольфианской рационалистической аргументацией, Ломоносов придавал ей радикальный смысл, который у Вольфа и его учеников отсутствовал. Это прежде всего моменты, исключающие возможность чуда, запрещающие объяснение ближайших причин вмешательством бога, утверждение естественного хода вещей, каузальности в природе. «Малейшее не должно причисляться к чудесам», — читаем мы среди 276 заметок по физике и корпускулярной философии.[60]

Ломоносов последовательно проводил эту точку зрения, отвергая самую идею первичного божественного толчка. И только полемизируя с богословами, Ломоносов подчеркивал «промежуточный» характер ближайших причин, что соответствует «Causa instrumentalis» схоластов.

Услышав в темноте внезапной треск и шум
И видя быстрый блеск, мятется слабый ум,
От гневного часа желает где б- укрыться,
Причины оного исследовать страшится,

---

[59] Там же, т. 3, стр. 23.
[60] Там же, т. 1, стр. 161.

Дабы истолковать, что молния и гром,
Такие мысли все считает он грехом.
«На бич, он говорит, я посмотреть не смею,
Когда грозит отец нам яростью своею».
Но как Он нас казнит, подняв в пучине вал,
То грех ли то сказать, что ветром Он нагнал?
Когда в Египте хлеб довольный не родился,
То грех ли то сказать, что Нил там не розлился? [61]

Однако в научном изложении своего понимания явлений природы Ломоносов великолепно обходится без божественной первопричины. «Промежуточные» причины выстраиваются у него в неумолимый ряд, практически устраняющий божество из природы.

То же самое относится и ко многим поэтическим произведениям Ломоносова, в которых он говорит о природе и славит ее чудеса:

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса...

Эти «чудеса натуры» хотя и провозглашены деяниями бога («но бог меж льдистыми горами велик своими чудесами»),[62] однако реализуются и в поэтической практике Ломоносова как величественные картины мира, из которого устранено все сверхъестественное. Ломоносов не стремится, подобно Вольфу, увидеть «намерения естественных вещей» в порядке, установленном богом; он видит природу, вплотную подходит к ней. И потому его небольшая поэма «Утреннее размышление о божием величестве» оказывается шедевром научной поэзии, в которой описаны бурные процессы, происходящие на солнце с такой глубиной, как если бы Ломоносов мог пользоваться позднейшими открытиями астрономии:

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.[63]

И если Вольф в своей книге «Разумные мысли о намерениях естественных вещей» выставляет положение, что северные сияния для того только и созданы, чтобы давать повод для размышления о величии бога, то Ломоносов действительно пишет «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния», в котором одну за другой разбирает сущест-

[61] Там же, т. 8, стр. 520.
[62] Там же, стр. 203 и 204 (оды 1747 г.).
[63] Там же, стр. 118.

вующие теории, предложенные для объяснения северного сияния, и, в частности, полемизирует с самим Вольфом:

Что зыблет ясный ночью луч?
Что топкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы раждал пожар?
Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль темных туч верьхи горят;
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в ефир? [64]

Недоуменное восклицание Ломоносова: «Как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар?» — и относится прежде всего к Вольфу, который утверждал, что причину северных сияний надо искать в образующихся в недрах земли «тонких испарениях», в том числе сернистых и селитряных, полностью не воспламеняющихся в северных холодных странах и потому не превращающихся ... в молнию. Ибо молния, по господствовавшим тогда воззрениям, также объяснялась мгновенным воспламенением горючих испарений. Северное сияние, по мысли Вольфа, это недоразвившаяся гроза.[65]

Везде и всюду, на земле и на небе, Ломоносов ищет не телеологические аргументы, а доказательства каузальности всех явлений природы.

Интересно сравнить, как относились к идее о множественности населенных миров Ломоносов и Христиан Вольф. Положение о множестве населенных миров, провозглашенное Джордано Бруно, было самым радикальным выводом из учения Коперника. Оно до конца разбивало антропоцентрические представления об устройстве вселенной. Мир, состоящий из множества светил и планет, подчиняющийся общим космическим законам, обособливался от человека. Учение церкви о первородном грехе и искуплении теряло свой смысл, ибо оно покоилось на представлении о земле как средоточии вселенной и человеке — единственном венце творения.

Христиан Вольф не обошел этот вопрос, уделив ему место в своей «Телеологии». На вопрос, почему планеты вращаются вокруг своей оси, он не задумываясь отвечает: оттого, «что бог употребляет движение вокруг оси, чтобы менялись день и ночь».

---

[64] Там же, стр. 122—123.
[65] Вольф поместил статью о северных сияниях в лейпцигском журнале «Acta eruditorum» за 1716 г. (перепечатана в его книге «Allerhand nützliche Versuche»). См. также Z e d l e r. Universallexikon, Bd. XXIV.

Но «понеже мы находим, что и на остальных планетах, точно так же как и на земле, сменяются лето и зима и что эта смена на земле в конечном счете происходит для того, чтобы ее обе половины могли быть обитаемы, то этим самым снова подтверждается мнение, что все планеты в совокупности обитаемы. Иначе зачем бы тогда на них сменялись четыре времени года в течение столь долгого времени, когда на земле это приносит столь великолепную пользу, а планеты так устроены, что позволяют и на них достичь той же самой пользы». «Понеже нет сомнения, что все планеты вообще не что иное, как земные шары, то у нас нет причин сомневаться, что также и планеты все в совокупности разукрашены травами и деревьями и населены животными и людьми ... Кто разрежет собаку и посмотрит, как там у нее внутри все устроено, ни мало не будет сомневаться в том, что точно так же и другие собаки устроены внутри». Вольф метафизически оправдывает, включает и в конечном счете «обезвреживает» остро поставленную и разрушительную для христианской догмы проблему. Он и ставит и решает эту проблему телеологически. Бог ничего не создает напрасно, следовательно, не впустую заведены вокруг своей оси планеты, а для того, чтобы разумные существа могли на них, как и на земле, дивиться благости и премудрости создателя.

Совсем иначе подходит к этому Ломоносов. Не «целесообразность» устройства планетной системы, а материальное единство мироздания — однородность и равнозначность законов самой природы — приводит его к мысли о множественности населенных миров. Ему недостаточно выведения этого как логической возможности. Он ищет физическое доказательство. Именно поэтому открытие атмосферы на Венере приобретает для него такую убедительность.

Вольф обосновывал возможность множества населенных миров логико-метафизическим путем. Ломоносов конструировал научную гипотезу и вел полемику в ее защиту. «Читая здесь о великой атмосфере около помянутой планеты, скажет кто: подумать-де можно, что в ней потому и пары́ восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде разные прозябания, ими питаются животные. И сие-де подобно Коперниковой системе: противно-де закону».[66]

Ломоносов развивает цепь естественных причин и следствий, допускающих научно обоснованный вывод. Главное для него наличие атмосферы, т. е. решающего физического условия для возникновения жизни. Весь ход мысли Ломоносова прямо противо-

---

[66] Ломоносов, т. 4, стр. 371.

положен Вольфу. У Вольфа — образец метафизического мышления, у Ломоносова — естественнонаучного.

И только, когда Ломоносов прибегает к защите своей гипотезы не от простых невежд, а от «людей грамотных», «чтецов писания и ревнителей к православию», то он пускает в ход и телеологическую аргументацию. «Несказанная премудрость дел божиих, — пишет Ломоносов, — хотя из размышления о всех тварях явствует, к чему предводительствует физическое учение, но величества и могущества его понятия больше всех подает астрономия, показывая порядок течения светил небесных. Воображаем себе тем явственнее создателя, чем точнее сходствуют наблюдения с нашими предсказываниями; и чем больше постигаем новых откровений, тем громчае его прославляем».[67] Обращает на себя внимание типичное для Ломоносова высказывание, что наблюдения должны сходствовать с предсказаниями, иными словами — научное предвидение должно вытекать из правильного постижения объективно существующего мира на основе естественных законов, раскрываемых и подтверждаемых опытом. Таким образом, даже этот телеологический заслон, по существу, скрывает требования научного изучения мира.

Вольф искал не только внешнюю, но и внутреннюю основу для оправдания религии. Ломоносов стремился прежде всего защитить науку от богословия. В то время как Вольф пытался обезвредить идею множественности населенных миров, растворив ее в телеологических рассуждениях, Ломоносов отлично сознавал ее разрушительную силу.

Мысль о множестве населенных миров была подхвачена радикально настроенными картезианцами. Книга Фонтенелля «О множестве населенных миров» привлекла к себе внимание в России. В 1730 г. ее перевел на русский язык Антиох Кантемир, но опубликовать ее удалось только в 1740 г.[68] В 1756 г. против нее

---

[67] Там же, стр. 372.

[68] Весьма вероятно, что Ломоносов познакомился с этим сочинением Фонтенелля еще за границей. Книгу эту перевел на немецкий язык Иоганн Готшед (B. Fontenelles Gespräche von mehr als einer Welt. Leipzig, 1726). К 1738 г. она уже вышла третьим изданием. В этой связи необходимо отметить, что Густав Ульрих Рейзер, посланный одновременно с Ломоносовым за границу, в своем рапорте в Петербург из Марбурга от 15 октября 1738 г. сообщает, в особом реестре, что среди приобретенных им книг были переводы Готшеда из Фонтенелля: «Gottscheds übersetzungen von Fontenelle» (Архив Академии наук СССР, ф. 20, оп. 5, № 145, л. 2 и 2 об.). И хотя Рейзер не называет, какие именно переводы и когда они были изданы, вряд ли можно сомневаться, что среди них находилась вышедшая в том же году популярная книга Фонтенелля. К тому времени Готшед перевел еще: B. Fontenelles Gespräche im Reiche der Toten. Leipzig, 1727; Fontenelles Heidnische Orakel. Leipzig, 1730. Подробности борьбы вокруг

поднял яростный поход Синод, требовавший изъятия ее по всей империи и одновременно строгого запрета, «дабы никто отнюдь ничего писать и печатать как о множестве миров, так и о всем другом, вере святой противном и с честными нравами несогласным не отваживался». В этой обстановке Ломоносов не только выступал в защиту идеи о множестве населенных миров, но и подкрепил ее новыми научными соображениями.

Крайний «соблазн» слышится поэтому в приведенных в «Письме о пользе стекла» рассуждениях о сошествии «сына божия» на грешную, ничтожную землю, затерявшуюся среди множества миров:

Во зрительных трубах Стекло являет нам,
Колико дал творец пространство небесам.
Толь много солнцев в них пылающих сияет,
Недвижных сколько звезд нам ясна ночь являет.
Круг солнца нашего, среди других планет,
Которую хотя весьма пространну знаем,
Но к свету применив, как точку представляем.
Коль созданных вещей пространно естество!
О коль велико их создавше божество!
О коль велика к нам щедрот его пучина,
Что на землю послал возлюбленного сына!
Не погнушался Он на малый шар сойти,
Чтобы погибшего страданием спасти.[69]

Еще более отчетливо высказывается Ломоносов в своем трактате «Явление Венеры на Солнце», где он язвительно спрашивает своих противников, которые не могут допустить мысли о том, что таинственная мистерия, разыгравшаяся на земле, могла повториться: а может быть, люди на других планетах «в Адаме не согрешили»? [70] Уже одним этим ставится под сомнение сама идея «искупления мира», являющаяся своеобразным апофеозом гелио- и антропоцентризма. Было от чего прийти в бешенство святейшему Синоду!

Подобные рассуждения должны были действовать ошеломляюще на представителей старого мировоззрения, которых Ломоносов побивал их же собственным оружием. Изощренная богословская мысль, логическая искушенность схоластики была обращена им против самих богословов и схоластов. «Противники Ломоносова, — писал еще академик Л. Н. Майков, — строили свои мнения на приемах господствовавшей тогда в школах схоластики, и Ломоносов, возражая им, как бы вспоминал уроки

издания книги Фонтенелля в России см.: Б. Е. Райков. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России, изд. 2-е, М.—Л., 1947, стр. 217—234, 259—263, 311—313.

[69] Ломоносов, т. 8, стр. 518—519.

[70] Там же, т. 4, стр. 375.

Славяно-греко-латинской академии и отвечал в духе схоластической диалектики».[71]

Ломоносов отстаивает для науки независимое поле деятельности. Он утверждает, что природу нельзя противопоставить богу, бога — природе; научное знание — вере, веру — науке. «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой — свою волю. Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — священное писание. В ней показано создателево благоволение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских боговдохновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учители. А в оной книге сложения видимого мира сего суть физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерять циркулом. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии».[72]

Это была единственная в то время возможность защитить право на научное исследование, отстранить от него богословие. Таким путем Ломоносов, как заметил Антон Будилович, отводил «своих противников на безопасную для себя почву».[73]

Академик М. И. Сухомлинов усматривал близость приведенных выше слов Ломоносова к замечанию Вольфа во второй части «Метафизики»: «Я вспоминаю покойного господина Неймана в Бреславле, ученого, рассудительного, скромного и благочестивого богослова, который придавал большое значение тому, чтобы книгу природы изучать одновременно с Библией. И не считал, что богослову вполне приличествует, когда он знает небо не только изнутри, но и снаружи. И как бы я хотел, чтобы у всех был такой же образ мыслей, как у него».[74] Однако как раз приведенная цитата и свидетельствует самым наглядным образом, что Ломоносов и Вольф занимали прямо противоположные позиции. Ломоносов в отличие от Вольфа и его учителя, Каспара Неймана, хочет размежевать науки и богословие, отвести каждому свою область, а вовсе не выдвигает мысль о том, что они должны,

---

[71] Л. Н. Майков. Очерки из истории русской литературы XVI и XVII столетий. СПб., 1889, стр. 240.

[72] Ломоносов, т. 4, стр. 375.

[73] А. С. Будилович. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869, стр. 19.

[74] Сочинения М. В. Ломоносова, т. V, СПб., 1902, стр. 81 (второй пагинации).

так сказать, работать рука об руку. И в то время как Вольф настойчиво привязывал естествознание к религии, Ломоносов в России всеми силами стремился освободить науку от засилья схоластики и богословия, требуя даже, чтобы в официальной привилегии Петербургскому университету, торжественную инагурацию которого он подготовлял, было объявлено: «Духовенству к учениям правду физическую для пользы и просвещения показующим не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях».[75] Где уж тут говорить о привлечении богословов к занятиям естественными науками!

Ломоносов не только требует, чтобы духовенство не мешало развитию естествознания и дало возможность спокойно работать ученым. Он с большим искусством и несомненным сарказмом доказывает представителям духовенства, что, вмешиваясь в дела ученых и досаждая им, они грешат против велений самого бога. По его словам, «толкователи и проповедники священного писания показывают путь к добродетели», тогда как «астрономы открывают храм божеской силы и великолепия, изыскивают способы и ко временному нашему блаженству, соединенному с благоговением и благодарением ко всевышнему». «Обои обще удостоверяют нас не токмо о бытии божием, но и о несказанных к нам его благодеяниях. Грех воевать между ими плевелы и раздоры!».[76]

Что же касается самого рассуждения Ломоносова о двух книгах — Природы и Писания, то его скорее надо сопоставлять с мыслями не Христиана Вольфа, а могучих умов европейского Возрождения. О великой книге Природы, «которая и является настоящим предметом философии», писал Галилей в посвящении к «Диалогу о двух главнейших системах мира» (1632 г.).[77] В письме к Е. Диодати от 15 января 1633 г. Галилей говорит: «Мир представляет собою дела, а Писание — слова одного и того же бога; и неужто же дела менее благородны и превосходны, нежели слова?».[78]

Дела мира, величие и значение земного бытия, необходимость его исследования — вот что волнует Ломоносова, подобно великим мужам Возрождения. Его роднит с ними изумление, восторг и трепет перед величием природы. Но в то время как даже у Кеплера восторженный экстаз перед природой переходил в мистическое созерцание («Paralipomena», 1609 г.), у Ломоносова, как человека нового времени, «чудеса натуры» хотя еще и провозгла-

[75] Ломоносов, т. 9, стр. 539.

[76] Там же, т. 4, стр. 375.

[77] Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира Птолемеевой и Коперниковой. Перевод А. Н. Долгова. М.—Л., 1948, Посвящение.

[78] Le opere di Galileo Galilei, vol. XV. Firenze, 1936, стр. 24—25.

шаются деяниями бога, однако реализуются в его поэтическом сознании лишь как величественные картины мира, из которых устранено все сверхъестественное.

Было бы неверно думать, что Ломоносов в борьбе за права науки, в острой полемике с православным догматизмом мог довольствоваться только вольфианскими аргументациями. Ломоносов проявил в этом отношении гораздо большую искушенность.

Вольф и его последователи стремились подновить обветшалое здание средневекового религиозного мировоззрения с помощью рационалистических доводов и объяснений. Даже физик Бильфингер, являвшийся последователем Вольфа, пытался объяснить рационалистически известный эпизод в Библии, когда по требованию Иисуса Навина солнце якобы прекратило временно свое движение по горизонту. Полное несоответствие этого эпизода научным представлениям побудило Бильфингера истолковать его как явление оптического обмана в пустыне.[79]

Иначе поступает Ломоносов. Он не стремится подыскать рационалистическое объяснение того, что по самому смыслу писания является чудом. Он предлагает понимать это метафорически! «Изъяснение священных книг не токмо позволено, да еще и нужно, где ради метафорических выражений с натурою кажется быть не сходственно», — утверждает он в своем сочинении «Явления Венеры на Солнце».

Ломоносов протестует против буквального понимания Писания. Он склонен рассматривать содержание религиозных книг как иносказательное, поэтическое. «Священное писание не должно везде разуметь грамматическим, но нередко и риторским разумом», — пишет он в том же трактате. Ломоносов ссылается на пример Василия Великого, который в своем «Шестодневе» священное писание «с натурою согласует». Ломоносов намекает, что уже Василий Великий не мог принять содержащееся в Библии наивное представление пастушеских племен, что земля стоит на столпах, и толковал его как поэтическую метафору. Василий Великий, — цитирует Ломоносов, — беседуя о земле обще пишет: *„Аще когда во псалмех услышиши: Аз утвердил столпы ея; содержательною тоя силу столпы речены быти возомни“*».[80]

Ломоносов даже противопоставляет более терпимую «богословскую систему» Василия Великого и Иоанна Дамаскина, принятую восточнохристианской (византийской) традицией, — западнокатолической. «Богословы западныя церкви принимают слова Иисуса Навина, глава 10, стих 12,* в точном граммматиче-

---

[79] Real-Encyclopedie für Protestantische Theologie und Kirche, Bd. XXI, Leipzig, 1908, стр. 463.

[80] Ломоносов, т. 4, стр. 373, 372.

*«Стой солнце и не движись луна».

ском разуме (т. е. буквально, — *А. М.*) и потому хотят доказать, что земля стоит», — указывает он.[81] Полемическая сила Ломоносова достигает здесь предела. Ломоносов буквально разит своих противников, издевается над ними, сталкивает их лбами с католическими богословами и таким образом обвиняет их чуть ли не в «ереси», коль скоро они не согласятся с его доводами. У Василия Великого Ломоносов даже подыскивает аргумент в пользу множественности населенных миров, толкуя в этом смысле его слова: «Яко же бо скудельник от того же художества тминные создав сосуды, ниже художество, ниже силу изнутри: тако и всего сего создатель не единому миру соумеренную имея творительную силу, но бесконечногубое превосходящу».[82]

Бросается в глаза, что Ломоносов стремится обосновать свою аргументацию, опираясь на безупречные с точки зрения православной традиции авторитеты — Василия Великого и Иоанна Дамаскина, бывших главными проводниками и истолкователями Аристотеля в древней Руси. Церковный автор IV в., известный под именем Василия Великого, обращаясь к своей пастве, состоявшей главным образом из малоазиатских купцов и ремесленников, черпал свои примеры из повседневного опыта и наблюдений над природой. Он отличался некоторой широтой взглядов и известной терпимостью к античной философии и естествознанию. Еще большее значение для усвоения античной философии имели для древней Руси творения поэта и философа XIII в. Иоанна Дамаскина. «Слова» Иоанна Дамаскина поддерживали и оправдывали поэтическое восприятие природы и открывали больший простор для размышления о ней, чем средневековая западноевропейская схоластика.[83]

Через посредство Василия Великого, Иоанна Дамаскина и других риторов проникали в древнерусскую образованность отдельные элементы античного миропонимания и мироощущения. На эту связь с античностью указывает сам Ломоносов в эпиграмме «К Пахомию» (около 1759 г.), где современному невежественному «проповеднику» противопоставляет старинных риторов Василия Великого и Иоанна Златоуста, которые

Гомера, Пиндара, Демосфена читали,
И проповедь свою их штилем предлагали;
Натуру, общую всей протчей твари мать,
Небес, земли, морей, старались испытать,
Дабы творца чрез то по мере сил постигнуть.[84]

---

[81] Там же, стр. 371.
[82] Там же, стр. 374.
[83] Т. Райков. Наука в России XI—XVII веков. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940, стр. 78—88.
[84] Ломоносов, т. 8, стр. 657.

Телеологическая аргументация Ломоносова получает культурно-исторический характер. Она восходит не только к вольфианству, но и к традиционным образцам старинной риторики.

Ссылка на натурфилософские взгляды Василия Великого и Иоанна Дамаскина имела для Ломоносова не только значение искусного полемического приема. Само обращение Ломоносова к «словам» и «поучениям», связанным с древнерусской книжной традицией, проливает свет на его поэтическое, а отчасти и научное понимание природы. «Великое пространство, хитросплетение и красота всея твари» равно открыты восхищенному взору и древнерусского книжника и русского ученого XVIII в. Восторг Ломоносова перед величием природы, радостное стремление к познанию выражены им в традиционных национальных формах «витийственного слова».

«Риторский разум» для Ломоносова теряет богословский смысл. Он равнозначен поэтическому восприятию мира, становится одним из средств его познания. Ломоносов стремился слить в едином процессе познания научное и художественное мышление. «Космическое чувство» Ломоносова реалистично, оно обращено к действительно существующему, а не воображаемому миру, к земному бытию в его красочной и звуковой гармонии, где сам человек лишь часть великой природы, познающий и воспринимающий ее такой, как она есть, без посторонних метафизических примесей. В этом отношении Ломоносов-поэт не противоречит Ломоносову-ученому, а только дополняет его.

Свежесть, простота подхода к природе, доверие к ней, умение прислушаться к ее голосу, конкретность и осязательность представлений, стремление постичь истину посредством простых и последовательных рассуждений в сочетании с живым опытом и ясным экспериментом роднят Ломоносова с представителями античной науки. «Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях, — говорит Энгельс об античной философии, — она является для греков результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, из-за которого она должна была впоследствии уступить место другим воззрениям. Но в этом же заключается и ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими противниками».[85] Преимуществом Ломоносова было то, что он как представитель новой науки мог изучать мир в подробностях. Однако дыхание античности, пронесенное через русскую национальную культурно-историческую традицию, живительным образом сказалось на его поэтическом и научном понимании мира.

---

[85] Фридрих Энгельс. Диалектика природы. М., 1946, стр. 26.

А. Н. ЕГУНОВ

ЛОМОНОСОВ — ПЕРЕВОДЧИК ГОМЕРА

I

Сведения о Гомере Ломоносов мог иметь еще и до поступления в Славяно-греко-латинскую академию, помимо преподававшейся там словесности, так как он знал и низовую литературу, обращавшуюся в широком читательском кругу. К числу таких народных книг, кроме «Бовы», относились и «Александрии» с их ссылками на Гомера и упоминаниями героев «Илиады» и не менее распространенные Троянские притчи, ве́домые русским грамотеям и книжникам начиная уже с XIV в. Несколько позднее стала на Руси популярным чтением и переведенная с латинского повесть о Трое Гвидо де Колумна. В Петровскую эпоху она была одной из первых печатных книг: «История о разорении града Трои» 1709 г. (многочисленные переиздания, ближайшее по времени к Ломоносову — 1717 г.). Невозможно допустить, чтобы Ломоносов в свои юные годы прошел мимо этой книги. Но от легкого, развлекательного чтения до переводов из Гомера ему надо было пройти долгий путь, через приобщение к образованности своей эпохи и через усвоение ее языка. В бытность Ломоносова в Академии греческий язык там не преподавался, и Ломоносов мог познакомиться с ним лишь через переводчиков, посещая Печатный двор сверх обязательных занятий в Академии. Так или иначе, но кроме латинского языка, Ломоносов несколько знал по-гречески, научившись этому языку еще в Москве, до выезда за границу.[1]

К 1738 г. относится его первый опыт стихотворного перевода с греческого — из Анакреонта («Хвалить хочю Атрид, хочю о кадме петь и т. д.). Сохранился переписанный рукой Ломоносова греческий текст этой оды[2] (кстати сказать, единственный связный греческий текст, дошедший до нас от него). Сравни-

---

[1] См.: Я. М. Боровский. Латинский язык Ломоносова. В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов, т. IV. Изд. АН СССР. М.—Л., 1960, стр. 206—218.

[2] Факсимиле приложено к статье: Е. Я. Данько. Из неизданных материалов о Ломоносове. «XVIII век», сб. 2, Изд. АН СССР, Л., 1940.

тельно с помещенным там же латинским текстом это не скоропись, буквы скорее нарисованы, чем написаны (что, может быть, сделано умышленно). Отсутствуют надстрочные значки ударений и придыханий. Ломоносов выписал данный текст из статьи Готшеда «Versuch einer Übersetzung Anacreon in reimlose Verse», где он напечатан также без ударений и, в общем, без придыханий.[3]

Руководимый Готшедом журнал, где напечатана данная статья, неровен в этом отношении: в том же номере, на стр. 87, греческие слова даны с ударениями и придыханиями. В последующие годы наблюдается то же самое.

Анакреонтическое стихотворение, и без того очень легкое по языку, сопровождалось в статье Готшеда, кроме немецкого перевода, еще латинским метрическим, двумя французскими переводами, английским, итальянским, а в дополнении к этой статье еще и старинным (1597 г.) латинским, тоническим и без рифм.[4] Все это могло служить пособием Ломоносову при его переводе 1738 г. К этой же оде он вернулся вторично, около 1761 г., дав окончательный вариант, с введением рифм, вопреки установкам Готшеда. В этой редакции исчез родительный падеж «Атрид» (словно от существительного женского рода: «хвалить хочу Атрид»), бывший первоначально, и имя «Кадм» дано уже с заглавной буквы. Таким образом, Ломоносов, переводя из Анакреонта, имел перед собой и греческий подлинник, и разъяснительную статью Готшеда, и семь переводов на другие языки, — из всего этого возникло одно из самых изящных стихотворений Ломоносова, рифмованное, вопреки и подлиннику и взглядам Готшеда. Русский же перевод Анакреонта, сделанный Кантемиром в 1736 г., нерифмованный, но и не размером подлинника, оставался в рукописи,[5] к 1743 г. готовой для подношения императрице через И. И. Шувалова. Быть может, именно у него Ломоносов имел случай ознакомиться с этим переводом, в противовес которому и ввел рифмовку в свой позднейший второй вариант перевода. Во всяком случае интересно, что в набросках филологических исследований имеются у Ломоносова и такие пункты: «3. Рифмы. Анакреон. . . 5. Кантемир» — без всякого, правда, дальнейшего пояснения.[6]

---

[3] Beiträge zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit, herausgegeben von einigen Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft in Leipzig, fünftes Stück, 1733, стр. 152—168.

[4] Там же, 6-tes Stück, 1733, стр. 363—364.

[5] Впервые напечатан в кн.: А. Кантемир, Сочинения, т. I, Пб., 1867, стр. 341 и сл.

[6] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 767. (Далее: Ломоносов, с указанием тома).

II

В понимании характера и стиля анакреонтической поэзии для переводчика — или подражателя — не встречалось тогда затруднений: Анакреонт — т. е. сборник позднеантичных и даже византийских стихотворений, приписанных лирику VI в. до н. э., от которого на самом деле дошло очень мало и который был автором не только «анакреонтических» стишков, но и гимнов богам и элегий — легко входил в русло «легкой поэзии» XVIII в., надо было только преодолеть неприспособленность русского языка той эпохи к передаче такого «салонного» жанра. Опыт анакреонтических стихотворений не мог служить пропедевтикой к переводу Гомера.

Понимание и оценка гомеровской поэзии, ее эпического стиля, в те десятилетия XVIII в., когда учился и пробовал свои силы в переводах Ломоносов, совершенно отличны от тех взглядов на Гомера, которые возобладали к концу того же столетия после переворота, произведенного трудами Вуда, Гердера, Лессинга и др., и своего рода открытия Эллады в духе веймарского классицизма. Во времена Ломоносова к Гомеру подходили с позиций французского классицизма, хотя бы и в его готшедовской версии. Вследствие величайшего почтения и похвал, расточаемых римскими поэтами Гомеру — так сказать, по рекомендации римлян — Гомер, конечно, признавался главой всех поэтов, но при ближайшем анализе его поэм эта оценка лишалась почвы. Влиятельным руководством по поэтике вплоть до середины XVIII в. продолжал оставаться трактат Юлия Цезаря Скалигера — или непосредственно в многочисленных переизданиях или через труды других теоретиков, шедших по его следам. В своей «Поэтике» (1561 г.) Скалигер преобразовал описательную поэтику Аристотеля в нормативную.

Пятая книга его «Поэтики», озаглавленная «Criticus», содержит сравнение греков с римлянами, Гомера с Вергилием: Скалигер признает величайшую одаренность Гомера (ingenium maximum), но считает, что Гомер не столько мастер, сколько изобретатель этого вида искусства. Поэтому, как замечает Скалигер, нечего удивляться, что у Гомера «наличествует лишь некая идея природы, но не искусство».

Подобный же взгляд, но только с обратной оценкой, т. е. то, что у Скалигера считалось отрицательным, будет признаваться положительным, получит через два столетия после Скалигера дальнейшее развитие у англичан и немцев: Гомер — поэт безыскусственный, близкий к природе (Naturdichter), что и составляет его величие и очарование в противоположность Вергилию. У Скалигера, однако, это суждение резко отрицательное: «На-

сколько велико расстояние между дамой и нелепой простонародной бабёнкой, настолько же божественный муж наш (т. е. Вергилий) превосходит того высочайшего мужа (т. е. Гомера)» («Quantum a plebeia ineptaque muliercula matrona distat, tantum summus ille vir a divino viro nostro superatur»).

Особо следует отметить скалигеровскую оценку такой характернейшей черты эпического стиля, как эпитеты (что скажется и в переводах Ломоносова). 3-я глава V книги «Поэтики» Скалигера посвящена подробному (на 74 страницах) и несколько беспорядочному сопоставлению аналогичных мест из Гомера и Вергилия. При полном непонимании роли украшающих постоянных эпитетов, свойственных народной поэзии и Гомеру, Скалигер возмущается тем, что Ахилл именуется «быстроногим», даже когда он плачет или спит. Эпитеты у Гомера, по мнению Скалигера, часто бывают вялыми, ребячливыми, нелепыми и не на своем месте (Homeri epitheta saepe frigida, aut puerilia, aut locis inepta).

Указанные примеры отрицательного отношения Скалигера к Гомеру не уравновешиваются положительными его отзывами — последние очень редки и своеобразны, например: «речи у Гомера обширны, пространны, приближаются к цицероновским (sic!)».[7]

У нас в России первым проводником скалигеровского учения был Феофан Прокопович. В своем курсе поэтики, читанном на латинском языке в Киевской Могилянской академии в 1705 г., Феофан признает, что Гомер превзошел всех прочих поэтов дарованием. Однако, назвав Гомера — традиционно — главным из поэтов, Феофан непосредственно вслед за этим сообщает, что Скалигер обнаружил в Гомере много несообразностей, а именно: солнце только от вестника узнало, что его быки съедены спутниками Улисса, между тем поэты изображают солнце всевидящим; далее, по Гомеру, Венера была ранена рукой смертного, но еще более безобразно то, что Ахилл плачет, рыдает и ищет утешения у своей матери, а в описания битв, где все должно совершаться быстро, Гомер вносит долгие речи. Поэтому Гораций справедливо сказал, что Гомер иной раз дремлет: «Quandoque bonus dormitat Homerus».

Учеником Феофана был Порфирий Крайский, непосредственный учитель Ломоносова, читавший риторику в Славяно-греко-латинской академии в 1733/34 учебном году. Сохранилась запись этого курса, сделанная, судя по почерку, вероятно, самим Ломо-

---

[7] Julii Caesaris Scaligeri a Burden, viri clarissimi Poetices libri septem. Editio quinta. In Bibliopolio Commeliano, 1617, стр. 493 и сл.

носовым.[8] Изложение Крайского ориентировано на римскую литературу: даются примеры из Сенеки, Марциала, Тибулла, Катулла. Неримские авторы привлекаются им редко: Плутарх, но опять-таки в латинском переводе; один раз даже Петрарка. Гомер упомянут наряду с Вергилием, Овидием, Горацием, но примеров из его не приводится.

В своем изложении Крайский опирался на весьма авторитетную уже в течение целого столетия и неоднократно переиздававшуюся риторику Коссэна (Nicolas Caussin), в латинизированной форме — Каусcина (Caussinus, 1580—1651),[9] иезуита, преподавателя словесности в Руане и Париже, королевского духовника, враждовавшего с Ришелье и изгнанного вследствие этого из Парижа. Крайский называет Коссэна в главе об амплификации. Таким образом, внимание Ломоносова к книге Коссэна могло быть привлечено еще в Академии. Находясь за границей, Ломоносов имел уже собственный экземпляр этого трактата; так, 7 апреля 1741 г. Ломоносов писал из Марбурга своему товарищу Д. И. Виноградову: «Monsieur! .. ich bitte ... Nicolai Caussini Rhetoricam...».[10]

III

Если даже не соглашаться полностью с митрополитом Евгением, который в своем «Словаре» утверждает, что «Риторика» Ломоносова «собрана» из тех книг, по которым преподавалась эта наука, на латинском языке, в школах, «а наипаче из латинской Каусиновой большой и Помеевой Риторики», то все же следует учитывать и эти источники ломоносовской «Риторики». Ломоносову были известны основные западноевропейские руководства. И Каусcинова и Помеева[11] риторики имели за собой к тому времени уже полувековую давность в школьном обиходе.

Кроме этих старинных руководств, Ломоносов пользовался и современной ему, текущей научной литературой, преимущест-

---

[8] Artis rhetoricae Praecepta tres in libros divisa atque ad instruendum oratorem selectionibus Eloquentiae fundamentis ad elegantiam styli in omni genere dicendi tradita Moscoviae. Ex Anno 1733 in Annum 1734. Оригинал хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, фотокопия — в Архиве АН СССР, ф. 20, оп. 6, № 64. См. также примечания М. П. Сухомлинова к 3-му тому «Сочинений» Ломоносова (СПб., 1895, Приложения, стр. 27).

[9] De eloquentia sacra et humana. (О духовном и светском красноречии), 1-е изд. Париж, 1626.

[10] Ломоносов, т. 10, стр. 431—432.

[11] Франсуа Помей (Pomey, 1619—1673), иезуит, преподавал в Лионе, составитель так называемого «королевского» французско-латинского словаря и автор сочинений по античной мифологии. В его трактате по поэтике «Novus candidatus rhetoricae» (1-е издание 1681 г.) примеров из Гомера нет. Большое место занимает там учение о панегириках.

венно немецкой — трудами Готшеда как в отдельных изданиях, так и в виде периодических выпусков. По вопросам перевода Готшед давал много нового материала. Немецкое чтение отразилось у Ломоносова в том, что слово «стиль» он передает в его немецком звучании: «штиль».

В ту эпоху римская словесность считалась не только равносильной эллинской, но даже заслоняла ее. Так и в «Риторике» Ломоносова цитат из римских авторов приводится значительно больше, чем из греческих: на 52 строчки из Гомера приходится около 200 Вергилия и примерно 50 строк из Овидия. Шагом вперед сравнительно с трактовкой Гомера у Феофана Прокоповича было то, что Ломоносов нигде не говорит о якобы слабых сторонах Гомера, о том, что тот иногда «дремлет». Но как перевод из Гомера, в смысле отдельно существующего литературного факта, эти примеры все же не имели значения для русского читателя, который знакомился по «Риторике» Ломоносова не с Гомером, тонувшим там во множестве других цитат, а вообще с литературой латинского Запада, монополизировавшего себе античность.

Внутри ломоносовской «хрестоматии» переводы из Гомера — 37 строк в § 114 («Илиада», IX, 225—261) и 15 строк в § 152 («Илиада», VIII, 1—15) — имели подсобное значение, как примеры, иллюстрирующие то или иное положение риторики; такие переводы находятся совершенно на периферии литературной деятельности Ломоносова, сам Ломоносов всего менее мыслил себя переводчиком Гомера или вообще переводчиком — вероятно, его самолюбие было бы даже задето, если бы его обозначили таким наименованием, — на то имелись присяжные академические переводчики. От ремесленных переводов, аккуратных, но равнодушных к тому, что они передают, каким был, например, перевод Гомера, выполненный в 1758 г. Кирпаком Кондратовичем,[12] лично знавшим Ломоносова и имевшим с ним столкновения, ломоносовские переводы отличаются тем, что в них есть своя концепция переводимого, поэтому анализ переводов Ломоносова из Гомера невозможен без рассмотрения ломоносовского восприятия Гомера.

Как воспринимал Ломоносов Гомера — вопрос далеко не простой. Было бы ошибочно, собрав из различных филологических сочинений Ломоносова все упоминания Гомера, затем припять их за личные суждения Ломоносова и сделать отсюда выводы. Дело в том, что большинство упоминаний Гомера в этих работах Ломоносова принадлежит к числу обычных в ту пору школь-

[12] Перевод Кондратовича остался в рукописи: «Илиада» — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 313, № 1256; «Одиссея» — Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, F.XV.64.

ных примеров, как то: «Гомер писал о гневе Ахиллесове» (пример на прошедшее неопределенное время); «Гомер, когда стихами своими других избавлял от забвения, тогда себя вечной памяти предал» (пример, «когда действие на самую действующую вещь обращается») и т. д.[13] Между тем такой метод иногда наблюдается даже там, где его нельзя было ожидать: на основании цитаты «старшего всех стихотворцев считаю Гомера» делается вывод, что Ломоносов «считал Гомера первым поэтом»,[14] тем не менее это не больше, как стертый риторический пример, несмотря на форму первого лица глагола; в тексте Ломоносова к тому же не «считаю», а «читаю», что меняет смысл, да и слово «старший» означает здесь «самый древний», т. е. родоначальник остальных поэтов. Такие примеры не носят характера личных высказываний, хотя бы данный автор — традиционно — и соглашался с ними. Но если, взятые в отдельности, такие упоминания Ломоносова о Гомере или его героях представляют собой «общее место», то, быть может, их подбор и сочетание может характеризовать отношение автора? Расширяя круг наблюдений и на стихотворные произведения Ломоносова, можно сделать вывод, что у него римские поэты обычно упоминаются перед упоминанием Гомера:

сладчайшим Нектор лей с Назоном...
с Гомером, как река, шуми.

Или в начале поэмы «Петр Великий»:

...во след иду Виргилию, Гомеру.

То же наблюдается и в «Руководстве по риторике» — пример на «переменение имен собственных и нарицательных»: «стихотворец вместо Виргилия или Гомера». Если в стихотворных примерах первое место римских поэтов еще можно объяснить условиями метра и рифмы, то в данном прозаическом примере эти соображения отпадают. Далее, образы гомеровских героев чаще берутся Ломоносовым из римских авторов: Одиссей — это «греческий король Уликс у Овидия», Андромаха — лицо из трагедии Сенеки «Троянки», оттуда же и плач над телом Гектора.[15] По количеству приводимых примеров на первом месте стоит у Ломоносова именно Гектор:

Расторгни смерти узы, Гектор...
Раздранный Гектор здесь страшил коней Ахейских...
Выходит Гектор сам, богов на брань выводит...

---

[13] Ломоносов, т. 7, стр. 47, 210 и 480.

[14] Д. К. Мотольская. Ломоносов. В кн.: История русской литературы, т. III. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 312.

[15] Ломоносов, т. 7, стр. 52, 76; т. 8, стр. 63 и сл., 83, 668, 696.

Это позволяет сказать, что в риторическом вопросе Ломоносова: «Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения?» [16] (риторическом в том смысле, что на него не требуется ответа) — сквозит личная нотка: это похоже на признание читателя, на которого описание гибели Гектора действовало больше, чем гибель Патрокла или скорбь Ахилла. Но то не было непосредственное восприятие Гомера — между Гомером и читателем стояли римские поэты, значительно более известные этому читателю. Кроме того, здесь могли действовать, хотя бы неосознанные и в сильно смягченном виде, реминисценции из «Истории о разорении града Трои», где предпочтение отдается Гектору: «Гектор, безмерныя храбрости воин, силою многою бранноносец. Но Омир стихотворец иже в книгах своих Ахиллеса толикими похвалами и проповедми описал ... толику злу и бесчеловечну мучителю и венчати цветы похвальными звериную ону главу, а не человеческу, еже и срам есть велми, мудру мужу тако без рассуждения творити».[17] Конечно, Ломоносов не доходит до такого отношения к Ахиллу и Гомеру: Ахилл у него — «огнь палящий»:

...Гомер, стихом парящий,
что древних Еллин мочь хвалил,
Ахилл в бою, как огнь палящий,
искусством чьем (sic!) описан был.

Однако Гектор — все же излюбленный герой Ломоносова. Но наиболее привлекавшая впоследствии внимание сцена, особенно в эпоху сентиментализма, относящаяся к Гектору, — его прощание в Андромахой — остается вне поля зрения Ломоносова. В подходе к Гектору Ломоносов совершенно расходился с трактовкой Скалигера, о которой он мог знать и непосредственно из курса словесности в Академии и из других руководств по поэтике. Скалигер отзывался отрицательно о Гекторе: Гектор все больше спит, т. е. бездействует, когда Диомед совершает подвиги. «Нет ничего хуже или противнее, — говорит Скалигер, — чем описание смерти Гектора и нелепого плача о нем» («Nihil putidius Hectoris morte, nihil illis ineptis epicediis»).[18] Впрочем, и Ломоносов берет плач о Гекторе не из «Илиады», а из трагедии Сенеки «Троянки».[19]

IV

При выборе примеров из Гомера Ломоносов руководствовался не их характерностью для «Илиады» — примеров из «Одиссеи» совсем нет, — а задачами своего трактата по риторике как руко-

[16] Там же, т. 7, стр. 231, 253, 283, 582; т. 8, стр. 177 и сл.; там же, стр. 183 — последний пример из Овидия.
[17] История о разорении града Трои. 1717, стр. 71, 380.
[18] Julii Caesaris Scaligeri..., стр. 497.
[19] Ломоносов, т. 8, стр. 668 и сл.

водства ораторского искусства. Хотя и указывается, что Гомер — творец героических поэм, он ставится тем не менее в один ряд с ораторами: «великие начальники красноречия — Гомер, Демосфен и Цицерон».[20] Оратор должен владеть своей аудиторией, уметь действовать не только на разум, но и на чувства, поэтому в старинных риториках уделяется немало места рассмотрению эмоций.

В главе шестой, § 114 — «О возбуждении, утолении и изображении страстей», Ломоносов говорит о чувстве, противоположном гневу, т. е. о «сожалении или милосердии», и приводит выдержки из древних, и прежде всего из речи Цицерона за Лигария. То же наблюдается в руководстве Готшеда «Ausführliche Redekunst» (Leipzig, 1736; 1-е изд.: 1728), где IX глава озаглавлена «Von Erregung und Dämpfung der Gemüths—Bewegungen» и т. д. На стр. 171 Готшед касается таких чувств, как «Zorn» и «Mitleid», и дает ту же цитату из Цицерона. И Готшед, и Ломоносов опирались при этом на 8-ю книгу (т. е. главу «De affectibus») трактата Коссэна. Но в выборе цитаты из Гомера («Илиада», песнь IX, стихи 225 и сл.) Ломоносов следует уже непосредственно Коссэну — у Готшеда ее нет.

Коссэн цитирует не полностью: у него приводятся по-гречески, без латинского перевода, стихи 225, 229—231, 252—256, 268, 301—303, в общей сложности 13 строк перемежаемых латинским связующим текстом, излагающим либо содержание опущенных стихов, либо оценочные суждения Коссэна.[21] Ломоносов дает цитату без пропусков, подряд 37 стихов: 225—261-й. Из этого следует, что, встретив цитату у Коссэна, Ломоносов обратился к другому источнику, т. е. к полному тексту Гомера. Коссэн предпосылает своей цитате изложение содержания IX песни «Илиады»: отправление и состав посольства к Ахиллесу и т. д. У Ломоносова все это опущено, зато вводящая цитату фраза Коссэна: «Ulysses accepto poculo sic Achillem sulutat» — несколько расширена: «Улисс, утоляя гнев Ахиллесов на Агамемнона, налив чашу вина и *хотя пить,* говорит у Гомера в Илиаде, Иота: „*За здравие твое*“ и т. д. (курсив мой, — *А. Е.*)». В рукописи Ломоносова 1747 г. можно наблюдать его работу над передачей этой вводной фразы: после слов «на Агамемнона» первоначально стояло «приняв чашу», что явно соответствует коссэновскому «accepto poculo», но затем было заменено выражением «налив чашу вина», а после «и хотя пить» зачеркнутое «за его здравие» оказалось перенесенным в первую строчку стихотворного пере-

[20] Там же, т. 7, стр. 205.

[21] N. Caussin. De eloquentia sacra et humana, гл. XXXIX, стр. 536—537.

вода.[22] Эта мелкая правка показывает, что Ломоносов несколько по-иному, чем Коссэн, понимал данное место из «Илиады». Ломоносов говорит, что Одиссей сам налил себе вина, а не принял чашу (как у Коссэна) от кого-нибудь другого. Очевидно, Ломоносов, не довольствуясь Коссэном, заглянул в греческий текст, где это действительно так: «plēsamenos d'oinoio depas» («наполнив вином кубок») (стих 224).

Что же касается дальнейшего, т. е. будто Одиссей хотел пить и притом за здоровье Ахилла, то это не подтверждается текстом поэмы. Вспомним ситуацию. Ахилл радушно угостил прибывшее к нему посольство, «и, когда питием и пищею глад утолили» (стих 222, Гнедич), Одиссей приступил к выполнению цели посольства: выбрав момент, имеющий сакральное значение, чтобы тем легче склонить Ахилла отложить свой гнев и принять участие в войне, он с кубком в руках, прежде чем совершить заключительное при пиршестве возлияние богам, обращается к Ахиллу с приветствием (у Гнедича: «кубок налил и приветствовал», причем Гнедич вводит отсутствующую в подлиннике подробность: «за руку взявши Пелида», относящуюся, собственно, к комментированию обрядового характера этого действия).

При этом возникает никем из переводчиков не преодоленная трудность в передаче приветствия Одиссея Ахиллу — «chaire». Ломоносовское «за здравие твое», гнедичевское «здравствуй» (словно Одиссей только что встретил Ахилла), церковное «радуйся» или современное нам «привет» — все будет неподходящим или по содержанию, или по боковым ассоциациям, или стилистически.

После обмена речами (Одиссей—Ахилл—Феникс), уже в заключение, «каждый ... возлил богам» (стихи 656—657, Гнедич). По Ломоносову же, действия Одиссея носят обычный — русский — бытовой характер: Одиссей хочет пить за здоровье Ахилла. Таким образом, вместе с вводной фразой перевод Ломоносова выглядит следующим образом:

«Уликс, утоляя гнев Ахиллесов на Агамемнона, налив чашу вина и хотя пить, говорит у Гомера в Илиаде:

За здравие твое. Мы как бы у Атрида
Твоею Ахиллес здесь пищею довольны.
Ты нас столом своим довольно угостил.
Не ради пиршества к тебе мы нынь пришли;
Нас Греческих полков погибель устрашает;
И наши корабли едва ли уцелеют.
Уже тебе пора во крепость облещись:
Трояна близ судов поставили свой стан,
И их союзники зажгли в полках огни,

[22] Ломоносов, т. 7, стр. 186.

Грозятся купно все, что с брегу не отступят,
Пока до кораблей Ахейских не достигнут,
И грянув сам Зевес дает им добрый знак.
Надеясь на него, Приямов храбрый сын
В ужасной ярости всех Греков презирает
И в бешенстве своем богов не почитает.
Желает, чтоб заря скорее началась,
И хвастает отсечь все носы у судов,
И флот весь истребить, возжегши хищный пламень,
И Греков всех убить смятенных в мрачном дыме.
Сего весьма страшусь, и чтоб сему Зевес
Так быть не попустил, и не судил бы рок
Под Троей умереть далече от Еллады.
Как естьли хочешь ты, то стань за нас, хоть поздно,
И Греческих сынов избавь от сей беды.
Ты будешь сам тужить, как нам случится зло,
И рад бы пособить, да способов не будет,
Подумай, чтобы нынь избыть от злой годины.
Приятель, вспомни, что родитель приказал,
В который день тебя к Атриду посылал:
Дадут тебе, сказал, Юнона и Минерва
Победу на врагов, ты будь великодушен.
Всего похвальнее добросердечным быть.
Блюдись всегда вражды и споры начинать,
То будут тебя чтить и стары и младые.
Он так тебя учил, а ты позабываешь.
Покинь свой лютый гнев и будь спокоен духом,
За то Агамемнон почтит тебя дарами».[23]

В подлиннике почти каждое существительное имеет при себе определительное прилагательное — неотъемлемая и существенная черта эпического стиля. Так, в порядке текста: пиршество будет, конечно, «прекрасным» (стих 225) и, через три строчки, «прелестным» (синоним); корабли — «добропалубными», «черными», троянцы — «надменными», заря — «божественной» и т. д. (см. передачу этих определений у Гнедича: «дружелюбные пиршества», заря — «денница святая» и т. п.). У Ломоносова эпитеты в большинстве случаев опущены, что меняет характер текста. Там, где они у него имеются, они ему удаются: «смятенных в мрачном дыме» выразительнее, чем гнедичевское «удушаемых дымом пожарным» (в подлиннике нет эпитета при слове «дым»).

К числу словесно-поэтических удач надо отнести и выражение «хищный пламень» (у Гнедича — «бурный»), а словосочетание «во крепость облащись» является несомненно предком гнедичевского «одеешься в крепость». Выражение «лютый гнев» намечает возможность пользоваться при передаче Гомера уже имеющимися народно-русскими эпитетами.

Встречающееся в ломоносовском переводе слово «великодушен» покрывает и двусоставное определение, и следующее за

[23] Там же, стр. 186—188.

ним существительное (megalētora thymon), а «добросердечен» не является передачей какого-либо двусоставного гомеровского эпитета: оно заменяет существительное «philophrosynē» подлинника, что Гнедич передает как «кроткость любезная».

Данная речь в высшей степени характерна для ораторской искушенности и вкрадчивости Одиссея: на ее протяжении он четыре раза пользуется прямыми обращениями, в звательном падеже, к Ахиллу, каждый раз варьируя их: «Ахилл» — «воспитанный, или вскормленный, взращенный Зевсом» (diotrephes — почти непередаваемый, причинявший затруднения всем переводчикам двусоставной гомеровский эпитет; в стертом значении: «благородный»); «полагающийся на Зевса»; «милый», «дорогой» — также почти непередаваемо. Из всей этой гаммы обращений Ломоносов оставляет только одно, последнее: «приятель». (У Гнедича их пять: Пелид, питомец Крониона, герой, храбрый, друг).

И все же нельзя согласиться с мнением А. Будиловича, что этот «перевод очень далек от греческого подлинника; едва ли он непосредственный», или: «с греческого подлинника, кажется, нет переводов, по крайней мере переводы из Илиады (§ 114) и пр. настолько далеки от подлинника, что их нельзя считать сделанными прямо с него».[24]

Напротив, если бы Ломоносов переводил с латинского перевода-подстрочника, как это делал Кириак Кондратович,[25] это неизбежно оставило бы свой след в его тексте и не могло бы повести к таким опущениям характерных особенностей эпического стиля. Отзвуки скалигеровского отношения к гомеровским эпитетам (см. выше, стр. 200) здесь очевидны, и отступления Ломоносова от греческого подлинника объясняются не тем, что между Ломоносовым и подлинником стоял какой-нибудь иноязычный перевод, как это полагает Будилович, но самой теорией перевода, господствовавшей тогда, в эпоху просвещения: на язык смотрели как на универсальную систему знаков, не было разграничения между переводом художественного произведения и наукообразного, все индивидуальное, характерное считалось случайным, и его, якобы без ущерба, можно было и не передавать.

Таким образом, наблюдения над этим первым отрывком из Гомера позволяют сделать вывод, что здесь нет таких явлений, которые заставляли бы сомневаться в непосредственном переводе

---

[24] А. Будилович. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869, стр. 106 и Приложение, стр. 57.

[25] Перевод К. Кондратовича был сделан, как он это открыто признает, с латинского перевода Спондана (Spondanus). Спондан (Jean de Sponde, 1557—1595) — французский филолог, прославившийся первым в Европе комментированным изданием Гомера: Homeri poematum versio latina ac notae perpetuae, 1-е изд. Базель, 1583.

с греческого (конечно, пользование иноязычными переводами как пособиями при этом не исключается — к этому прибегали и другие переводчики Гомера, включая Гнедича, но явных следов других языков, кроме языка подлинника, здесь нет). Получившаяся же в ломоносовском переводе деформация подлинника объясняется господствовавшими тогда взглядами на эпическую поэзию Гомера и на задачи или — лучше сказать — полномочия переводчика.

V

Второй отрывок из Гомера, переведенный Ломоносовым, выбран им самостоятельно: у Коссэна его нет. Это первые 15 строк VIII песни «Илиады». Они, так же как и первый отрывок, представляют собой речь — в этом смысле они однотипны; Ломоносов не берет из «Илиады» описательных мест — в руководстве красноречия, каким служит его «Риторика», естественны примеры ораторской речи; на этот раз это речь самого Зевса на собрании богов. Она предваряется у Ломоносова в § 152 [26] следующим введением: «Частные вымыслы разделяются на прямые и косвенные. Прямые предлагаются просто, наподобие подлинных деяний без всяких оговорок, как героические стихотворцы употребляют в своих поэмах. Пример из Гомеровой Илиады:

Пустила по земли заря червленну ризу:
Тогда, созвав богов, Зевес громодержитель
На высочайший верьх холмистого Олимпа,
Отверз уста свои, они прилежно внемлют:
Послушайте меня все боги и богини,
Когда вам объявлю, что в сердце я имею,
Ни мужеск пол богов, ниже богинь пол женский
Закон мой преступить отнюдь да не дерзает,
Дабы скорее мне к концу привесть все дело.
Когда увижу я из вас кого снисшедша
Во брани помощь дать Троянам либо Грекам,
Тот ранен на Олимп со срамом возвратится:
Или хватив его повергну в мрачный Тартар,
Далече от небес в преглубочайшу пропасть,
Где медяный помост и где врата железны
(и прочая)».

Начальный стих ломоносовского перевода дает образ зари, распускающей по земле свою одежду. Возможно предположение, что чрезмерная изысканность этого образа возникла вследствие грамматического недоразумения: «ekidnato» в этом стихе было принято за форму действительного залога, а «krokopeplos» — за винительный падеж якобы существительного, прямого дополнения, стоящего, как это бывает в латинском языке, перед управляющим глаголом; таким образом исчез характерный гомеровский

[26] Ломоносов, т. 7, стр. 223—224.

двусоставной эпитет зари — «шафраноризная»: такая, т. е. шафраноризная, заря и распростерлась — сама, а не ее риза — по всей земле; распространилась на всю землю (направление движения), говорит здесь Гомер. С этим не совсем справился и Гнедич: «В ризе златистой Заря простиралась над всею землею». Стих 7 ломоносовского перевода: «Ни мужеск пол богов, ниже богинь пол женский» — воспринимается по-русски как излишний плеоназм, так как из слов «богов» и «богинь» уже виден их пол. При обращении к подлиннику становится ясным, чем вызвано это странное выражение: по-гречески «theos» — слово и мужского и женского грамматического рода, смотря по артиклю; без артикля стих 7 дает определительные прилагательные к слову «theos», показывающие, что речь идет о божествах и женских и мужских: «thēleia theos ... arsēn». В любом латинском переводе этот грецизм непередаваем. Следовательно, Ломоносов имел здесь перед собой греческий текст. В этом же убеждает и (единственный раз у Ломоносова) передача составным существительным характерного гомеровского двусоставного эпитета «terpikeraunos» как «громодержатель» (у Гнедича смелее и ближе: «молнелюбец»). Другой подобный эпитет, встречающийся в этом отрывке, — «polydeiras» передан, однако, не двусоставным прилагательным, а простым: «холмистый». Во всяком случае ни одно из определений в этом тексте не опущено: «мрачный Тартар», «пропасть преглубочайшая». Делал ли Ломоносов этот перевод позднее, чем перевод из IX песни, и именно поэтому несколько усовершенствовался в передаче эпитетов, мы не знаем. Впрочем, данный текст по своему характеру легче для перевода, чем предыдущий, так как повелительно-грозная речь Зевса не так нюансирована, как изворотливая речь Одиссея.

Выражение Ломоносова «ме́дяный помост» сохранилось и у Гнедича с переменой ударения на «медя́ный»:

Где и медя́ный помост и ворота железные...

Гнедич несомненно знал ломоносовские опыты перевода и притом по ранним изданиям «Риторики», так как в собрании сочинений Ломоносова 1759 г. данный стих читается уже с изменением, вряд ли в лучшую сторону: «Где твердый медный пол и где врата железны». Варианты и черновики показывают, что Ломоносов неустанно работал над своими переводами.

По поводу отрывка из VIII песни А. Будилович замечает: «Перевод очень близкий, вероятно, с греческого».[27] В суждении Будиловича о переводах из IX и VIII песен не было бы противо-

[27] А. Будилович. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог, стр. 61.

речия, если бы эти переводы резко отличались между собой качественно и в смысле подхода к делу. Но этого нет. Оба отрывка переведены в одной манере, их роднит применяемое в них обоих просторечие. В IX песне, кроме невозможного в устах Одиссея фамильярного обращения к Ахиллу «приятель», встречаются такие выражения, как «тужить», «пособить»; в VIII песне: «со срамом возвратится», «хватив его», что по своему «низкому штилю» уже стоит на границе «перелицованного», травестированного эпоса и предваряет опыты, произведенные Осиновым и Котляревским над «Энеидой». Правда, юмор, в частности по отношению к богам, не чужд Гомеру; исследователи нового времени, привыкшие вращаться в кругу иных религиозных представлений, испытывали величайшие затруднения в понимании такой религии и мифологии, которая, как у Гомера, иногда допускает бурлеск, не переходящий в отрицание. Однако бурлескные сцены из быта богов нигде не меняют у Гомера обычной эпической дикции, т. е. не допускают никаких словарных вульгаризмов. Ломоносовское просторечие является в данном случае отзвуком скалигеровской теории о якобы простецком, тривиальном языке Гомера. Применение просторечия в данном отрывке тем более неуместно, что речь Зевса вовсе не бурлескна, она должна быть исполнена грозного величия, подобно Фидиеву образу Зевса. По мнению же Скалигера, убеждение греков, что Фидий вдохновлялся Гомером при создании своего Зевса, не что иное, как насмешка над Фидием: Гомеров Зевс якобы не имеет с ним ничего общего.

При суждении о просторечии необходима осторожность: отделяемые двумя столетиями языкового развития от времен Ломоносова, мы рискуем подчас принять за просторечие то, что тогда, в еще не сложившемся литературном языке, вовсе не ощущалось как таковое. Например, слово «повсядни» в плаче над Гектором из «Троянок» Сенеки (см. выше, стр. 203) для нас сейчас звучит как вульгаризм, но, можно думать, оно не было им во времена Ломоносова. Судить о степени просторечия можно путем сопоставления с его же переводами из римских поэтов: переводы Ломоносова из Вергилия в той же «Риторике» значительно выше по слогу. То же и в переводах из «Овидия» (хотя там попадается изредка и просторечие: «зуб на зубе трет», «огонь на тощем животе»).[28] Еще более показательна оригинальная эпическая поэма Ломоносова «Петр Великий», где совершенно были бы невозможны выражения, употребленные Ломоносовым при передаче Гомера, — она написана «высоким штилем» героической поэмы.

---

[28] Ломоносов, т. 8, стр. 142. Переводы Ломоносова из римских поэтов должны бы составить предмет особого исследования.

Для сравнения можно взять прозаический, с латинского, перевод Гомера, сделанный Кондратовичем и отделенный от Ломоносова лишь десятилетием, — срок настолько короткий, что язык не мог существенно измениться. Кондратович, «не мудрствуя лукаво» и не заботясь о литературных теориях, делал свой перевод обычным разговорным языком. Сопоставление его перевода с ломоносовским наглядно показывает установку Ломоносова на простую речь и его отказ от «высокого штиля» при переводе Гомера. Еще более показательным является сравнение этих обоих переводов с переводом Екимова (1776 г.), сознательно отказавшегося от просторечия и переносившего в свой прозаический перевод архаизирующий «высокий штиль», и в лексику и в синтаксис.

Кондратович, 1758 г.
(с латинского)

Багряно-ризная заря распространялась по всей земле, как Юпитер молниеносный на крайнем верху высокого неба в собрание богов призвал, и один всем говорил, а они все купно его слушали: Слушайте меня все боги и все богини! что я вам намерен говорить: ни какова богиня и ни которой бог[29] да не дерзнет преступить мое повеление, чтоб мне скорее те дела скончать. Кого-либо из богов я узнав, что он пойдет или троянцам или грекам помогать, тот ранен с бесчестием на небо возвратися. Или я, его схватив, вергну в темный ад, где есть глубочайшая подземная пропасть и где врата железны и медный пол.

Екимов, 1776 г.
(с греческого)

Красящаяся багряною одеждою денница уже по всей земле излилася, когда услаждающийся громом Юпитер созвал богов на сонм во превыспренние места многохолмного Олимпа. Послушающим же всем совокупно богам начинает тако: Впушите вси боги и вси богини, да возглаголю, что сердце в персях повелевает мне; да никакая убо жена от богинь или муж от богов дерзнет опровергнути слово мое, но вси совокупно утвердите, да вскоре совершу дела сии: кого я от богов проразумею особо волею своею отшедшего на помощь ко Троянам или Данаям, той не по приличию уязвлен возвратится на Олимп, или восхитив его низвергну в преисподнюю тьму зело далеко, где глубочайшая под землею есть бездна, где железные врата и медный пол.

Выдержав перевод обоих отрывков из «Илиады» в духе просторечия, Ломоносов в своих теоретических трудах нигде, однако, не выражает презрительного или пренебрежительного отношения к Гомеру — в этом он делает шаг вперед сравнительно со скалигеровской теорией. Скалигеру не нравились народные корни гомеровской поэзии, которые он ошибочно принимал за простонародные; смешению этому был постепенно положен конец лишь в XIX в. В своих переводах из Гомера Ломоносов показал, что,

[29] Ср. замечание по поводу этих слов на стр. 210.

в противоположность принятому в то время мнению, и героический эпос может не иметь искусственного, панегирического характера. Введение в высокие стихи простых разговорных оборотов означало начатки поэтизации обычной русской речи, что, безотносительно к Гомеру, было тогда моментом прогрессивным для развития русского стиха.

При переводах из «Илиады», которая во всех веках была образцом героической поэмы, Ломоносов не придерживался лексики «высокого штиля». Но в своей «Российской грамматике» 1755 г. он указывает и на синтаксическую сторону «высокого штиля», сожалея, что вышел из употребления Dativus absolutus (дательный самостоятельный, соответствующий греческому Genitivus absolutus и латинскому Ablativus absolutus). «В высоких стихах, — говорит он об этом обороте, — можно, по моему мнению, с рассуждением некоторым принять. Может быть, со временем общий слух к тому привыкнет, и сия краткость и красота в российское слово возвратится».[30]

Другие возможности высокого, возвышенного в эпосе намечены Ломоносовым при передаче третьего отрывка из Гомера в письме к И. И. Шувалову от 16 октября 1753 г. Причиной письма было желание Ломоносова «учинить отпор» его литературным противникам, или, как он выражается «моим ненавистникам», т. е. Елагину и Сумарокову, порицавшим гиперболичность ломоносовских од. Адресатом выбран И. И. Шувалов, так как в его доме и в его присутствии происходили ссоры Сумарокова с Ломоносовым. «Они, — пишет Ломоносов, — стихи мои осуждают и находят в них надутые изображения, для того что они самих великих древних и новых стихотворцев высокопарные мысли, похвальные во все веки и от всех народов почитаемые, унизить хотят. Для доказательства предлагаю Вашему Превосходительству примеры, которыми основательное оправдание моего им возможного подражания показано быть может».

Далее Ломоносов дает в своем переводе четыре строки из «Илиады» (XIII, 17—20):

Внезапно встал Нептун с высокия горы,
Пошел и тем потряс и лесы и бугры;
Трикраты он ступил, четвертый шаг достигнул
До места, в кое гнев и дух его подвигнул.

И в заключение говорит: «Сим подобных высоких мыслей наполнены все великие стихотворцы ... того ради я весьма тому рад,

30 Ломоносов, т. 7, стр. 567.

что имею общую часть с толь великими людьми, и за великую честь почитаю с ними быть опорочен неправо».[31]

Цитата из Гомера («Илиада», XIII, 18—21) почерпнута Ломоносовым из трактата Лонгина (псевдо-Лонгина, I в. н. э.) «О возвышенном» в переводе Буало. У Лонгина приводится не четыре стиха, а всего лишь полтора (половина 18-го и 19-й), которые Буало переводит двустишием:

Neptune ainsi marchant dans ces vastes campagnes
Fait trembler sous ses piés et forêts et montagnes.[32]

Ломоносов, найдя это место в трактате Лонгина — Буало, обратился к тексту Гомера, и если первые две строки Ломоносова можно рассматривать как перевод с французского, то следующие две восходят к самому греческому подлиннику, правда в очень вольной передаче: таких слов, как «гнев и дух его подвигнул», там нет, а взамен «до места» у Гомера имеется название города, связанного с культом Посейдона. Латинизация имени Посейдона — «Нептун», исчезновение эпитета при передаче глаголом «ступил» существительного «ноги» подлинника — все это больше, чем в переводах двух предшествовавших отрывков, отвечает традициям французских переводов той эпохи. Это особенно подчеркивается применением рифмованного александрийского стиха.

Выбор этого размера был тогда естествен вследствие повсеместного в Европе преобладания французской литературы, где этот метр был национальным. В третьем отрывке (в письме к Шувалову) Ломоносов дает «регулярно» построенное четверостишие — очевидно, здесь действовал пример стихов Буало. Все три отрывка переведены эквилинеарно, насколько это понятие применимо к передаче, жертвующей характерными чертами эпического стиля; синтаксический перенос из стиха в стих (enjambement) не соблюден. В отличие от третьего отрывка своеобразно применен александрийский стих в первых двух переводах из Гомера. В александрийском стихе строчки рифмуются попарно, у Ломоно-

---

[31] Там же, т. 10, стр. 491—492. Ср. у Гнедича:

Вдруг, негодуя, восстал и с утесной горы устремился,
Быстро ступая вперед; задрожали дубравы и горы.
Вкруг под стопами священными в гневе идущего бога
Трижды ступил Посейдон и в четвертый достигнул предела

(в подлиннике вместо «священными» — «бессмертными»).

[32] Oeuvres de Boileau Despréaux, t. IV, Amsterdam, 1772, Traité du Sublime traduit du Grec de Longin, стр. 328. Следует отметить опущение у Буало гомеровского эпитета при слове «piés» («ноги»).

сова на протяжении 37 строк первого отрывка парная рифмовка встречается только дважды:

В ужасной ярости всех Греков презирает[33]
И в бешенстве своем богов не почитает

и

Приятель, вспомни, что родитель приказал,
В который день тебя к Атриду посылал.

Кроме этих двустиший с глагольными рифмами, все остальные не рифмованы, что представляет собой отступление от норм александрийского стиха. Точно так же, вопреки полагающемуся регулярному чередованию двустиший с женским окончанием и двустиший с мужским окончанием, Ломоносов дает в стихах 6—8, т. е. в трех строчках подряд, сплошь мужские окончания, а в стихах 34—37-м — женские. Эти, вероятно, непреднамеренные нарушения александрийского стиха расценивались бы тогда, в плане школьного «стихотворства», как недочеты.

Второй отрывок из Гомера передан нерифмованными стихами, сплошь с женскими окончаниями. Сравнивая эти переводы с оригинальной поэмой Ломоносова «Петр Великий», где также применен александрийский стих, можно сделать вывод, что в переводах Ломоносов — сознательно или невольно — разрушал структуру александрийского стиха, что следует расценивать как факт положительный, поскольку этот метр совершенно не подходил для передачи Гомера.

В литературоведческих трудах, кроме оценки ломоносовских переводов из Гомера, данной Будиловичем (см. выше, стр. 208), имеются и более поздние отзывы. Невозможно, однако, согласиться, например, с утверждением, будто «как правило (?), именно в переводах Ломоносову удавалось добиться максимальной отточенности языка», или: «Язык ломоносовских переводов из Гомера, которого Ломоносов считал первым поэтом («Старшего всех стихотворцев считаю Гомера»), Анакреона, Вергилия, Овидия, Горация очень прост и выразителен».[34] Неправильность этих суждений в том, что они не дифференцированы: то, что, быть может, верно относительно перевода из Анакреонта, распространено и на перевод из Гомера и на совершенно не обследованные переводы из римских авторов. То же самое повторяется и в недавно вышедшем, вообще говоря, чрезвычайно ценном пособии по истории переводческой мысли: «В его (т. е. Ломоносова) „Риторике“

[33] В подлиннике говорится не о презрении Гектора к своим военным противникам — грекам, но о том, что Гектор — так его характеризует Одиссей — это человек, который не ценит, не чтит ни людей (вообще, следовательно и своих, т. е. троянцев), ни богов.

[34] Д. К. Мотольская. Ломоносов, стр. 312.

(1748) в точных (?) и художественно совершенных (?) переводах даны образцы творчества выдающихся (?) поэтов и ораторов древности: Гомера, Анакреона ... Демосфена, Лукиана, Цицерона, Тацита и других».[35] Как во всем этом понимается отточенность языка, точность и выразительность перевода, остается без разъяснения, и такие отписки похожи на комплименты, в которых не нуждаются ни Ломоносов, ни Гомер, названный здесь «выдающимся». Однако «простота» ломоносовских переводов из Гомера — далеко не такое простое явление, если к нему подойти исторически (см. выше, стр. 199). Кроме того, подобные суждения принижают достоинства оригинальных стихотворений Ломоносова, которые на самом деле стоят бесконечно выше его переводов.

Помимо стихотворных переводов из Гомера (в общей сложности 56 строк) Ломоносов дает в своей «Риторике» (§ 197) еще и прозаический пересказ одного места из «Илиады» (IX, 385 и сл.), тематически представляющий собой продолжение первого отрывка — ответ Ахилла на речь Одиссея:

«Ахилл, гневный на Агамемнона, говорит у Гомера, что он с Агамемноном не примирится, хотя бы он давал ему все богатство, которое в песке морском или в земных недрах скрыто, и дочери его за себя не примет, хотя бы она красотою с Венерою и искусством с Минервою могла сравниться».[36]

Стоит прочесть этот отрывок вслух, как сейчас же ухо почувствует наличие в нем, местами, ритма, и притом дактилического (правда, при сохранении нашего нынешнего ударения — Агаме́мнон, а не Агамемно́н, что могло быть во времена Ломоносова, на французский лад). Тут есть целый гекзаметр: «гово/рит у Го/мера что/ он с Ага/мемноном/ не прими/рится» — и почти целый, без первой стопы и со «спондеем» в пятой: «о/на красо/тою с Ве/нерою/ и и/скусством». Сюда же относится и меньший отрезок: «да/вал ему/ все бо/гатство».

Конечно, у Ломоносова это получилось непреднамеренно, из-за слуховой впечатлительности при чтении подлинника. Но как раз такие «случайности», встречающиеся в русской прозаической речи (и в народной поэзии), и являются природной, естественной основой возможности русского гекзаметра, потому что, как говорит Гнедич в предисловии к своей «Илиаде», «русский гекзаметр

---

[35] Русские писатели о переводе XVIII—XX вв. Л., 1960, стр. 17.

[36] В переводе Гнедича:

Или хоть столько давал бы мне, сколько песку здесь и праху, —
Сердца и сим моего не преклонит Атрид Агамемнон,
Прежде чем всей не изгладит терзающей душу обиды!
Дщери супругой себе — не возьму от Атреева сына,
Если красою она со златой Афродитою спорит,
Если искусством работ светлоокой Афине подобна.

существовал прежде, нежели начали им писать. Того нельзя ввести в язык, чего не дано ему природою». Это замечание Гнедича остается у него без дальнейшего развития, но оно совершенно справедливо, иначе филологически выведенный по античным образцам «ученый» гекзаметр (образцы его имеются и у Ломоносова) остался бы искусственной выдумкой.[37] Таким образом, Ломоносова надо считать первым, кто, благодаря верному поэтическому слуху, заставил Гомера звучать в дактилических ритмах русской речи.

В ломоносовском переводе третьего отрывка из Гомера чрезвычайно существенна еще одна сторона, а именно намечающийся там отказ от теории просторечия, т. е. попытка преодоления скалигеровской традиции. В самом деле, противники Ломоносова упрекали его оды в «надутости», т. е. выспренности, возвышенности, преувеличенности, иначе говоря, его винили за «высокий штиль» не только словесный, но и образный. Ломоносов отвечает на это: «они меня своей хулой хвалят», так как это же самое встречается у великих эпических поэтов, начиная с Гомера. Из Вергилия Ломоносов при этом приводит, правда, примеров вдвое больше, чем из Гомера (впрочем, данное место Вергилия представляет собою подражание Гомеру), далее следует у него Овидий. Смысл его защиты сводится к тому, что возвышенный, гиперболический стих не чужд и античному эпосу. Раз так, то тем самым упраздняется и вульгарность Гомера, прокламированная Скалигером. Нечто подобное было высказано Ломоносовым и в стихотворении «К Пахомию»:

Василий, Златоуст — церковные столпы —
. . . .
Гомера, Пиндара, Демосфена читали
и проповедь свою их штилем предлагали.[38]

Так как невозможно думать, чтобы Ломоносов предполагал в сочинениях «церковных столпов» слог своих собственных переводов из Гомера, с изложением церковно-библейских сюжетов тем языком, каким изъясняется ломоносовский Зевс, то, следовательно, Ломоносов не исключал возможности возвышенного, «высокого штиля» для Гомера.

Мысль, высказанная в письме к Шувалову, не получила у Ломоносова дальнейшего развития или применения. Между тем она

[37] Richard Burgi в своей превосходной книге «A History of the Russian Hexameter» (Jale University, 1954) не затронул этой стороны, т. е. рождения «стихийного» гекзаметра из русской прозы. Например, у Пушкина в «Пиковой даме»: «Дня через два, выходя с графиней садиться в карету...» (Б. В. Томашевский. Стих и ритм. «Поэтика», «Academia», Л., 1928, стр. 5).

[38] Ломоносов, т. 8, 1959, стр. 658.

любопытна в двояком отношении: 1) Ломоносов снимает перегородки жанров: образность од он оправдывает, ссылаясь на примеры из эпоса; 2) свое оригинальное творчество (за переводы ведь его не упрекали) он защищает переводной (потенциально, хотя бы тогда еще и не переведенной) литературой, стирая грань между ними и допуская возможность и в переводе сохранить систему образов подлинника, в данном случае речь шла о греческих и римских поэтах, авторитет которых был непререкаем в эпоху классицизма.

У Ломоносова не было предшественников в стихотворной передаче греческих стихов.[39] Он явился здесь зачинателем, как и во многих других областях. Благодаря ему Гомер впервые прозвучал в русских стихах.

Для овладения гомеровской тематикой и для прозаического пересказа Гомера подспорьем могли служить Троянские притчи и «История о разорении града Трои»; они не прошли бесследно, надо полагать, и для Ломоносова. И в прозаическом пересказе из Гомера Ломоносова ждала нечаянная удача — случайный, «стихийный» гекзаметр.

И если Ломоносов не передал характер эпического стиля Гомера, понимание которого с трудом далось и филологии последовавшего столетия, все же его переводы чрезвычайно продуктивны в том смысле, что они таили в себе зачатки последовавших русских переводов. Так, просторечье, но уже в прозе, было применено Кондратовичем (1758 г.), французский александрийский стих — Костровым (1787 г.), выспренность «высокого штиля» — Екимовым (1776—1778 гг.). Потребовалось около восьмидесяти лет неустанных попыток различных переводчиков, пока наконец не был найден Гнедичем свой язык для русского Гомера.

---

[39] Переводы Кантемира тогда еще не появлялись в печати.

Л. И. КУЛАКОВА

А. Н. РАДИЩЕВ О М. В. ЛОМОНОСОВЕ

I

Радищев перенес на русскую почву и развил учение французских просветителей о влиянии среды и обстоятельств на формирование характера человека. Он создал учение о революции как неизбежном результате угнетения и предсказал, что судьбу России будет решать народ. Наряду с этим через большинство его произведений красной нитью проходит мысль о человеке как существе деятельном, о личности как активной силе в историческом процессе. Убеждая, что каждый человек не вправе пассивно созерцать страдания миллионов, Радищев неоднократно возвращался также к вопросу об исторической роли людей, одаренных, по его терминологии, «изящным умом».

О роли выдающихся личностей в истории думал в XVIII в. не только Радищев, но его трактовка вопроса оригинальна. Так, великий французский просветитель Гельвеций, по книге которого, по словам Радищева, он и его товарищи «мыслить научалися», считал, что все люди от рождения одинаковы по своим умственным способностям. Различие привносится только воспитанием. Великим же человека делает случай. Если бы Шекспир не пристал к дурной компании, он не бежал бы в Лондон, не стал актером, а следовательно, и драматургом. Если бы дед Мольера не бросил случайного восклицания, его внук не стал бы великим писателем. Если бы Корнель не влюбился безрассудно, он не начал бы писать стихов, а затем пьес и т. д. «Гений есть отдаленный продукт событий или случайностей, примерно таких, о каких я упомянул».[1]

Радищев не соглашается с теорией «единомыслия разумов» и слово «случай» понимает иначе. Великий человек даровит от природы. Но чтобы природные дарования раскрылись полностью, нужны надлежащие условия. «Обстоятельства делают великого мужа». Неожиданность эпох великих открытий кажущаяся, ибо подготавливаются они исподволь. Наибольшие трудности падают на долю зачинателей. «Редко возмогает тот или другой вознестися

---

[1] Гельвеций. О человеке. М., 1938, стр. 18—19.

превыше окружностей своих. Уготовлено да будет место на развержение; великие мужи влекутся издали, и да явится Ньютон, надлежало, да предшествует Кеплер».[2]

Радищев говорит о преемственности мысли, о воздействии «разума на разум», сравнивая его с искрой, порождающей пожар, и опять возвращается к решающей роли соответствующих условий. «Но нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоган Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается. Но время, уготовление, отъемлет все препоны» (II, 129). Каковы бы ни были непосредственные результаты деятельности человека, значение личности определяется тем, насколько она прокладывает пути последующим поколениям.

Так рассуждал Радищев в философском трактате, написанном в ссылке. Так думал он вначале, еще только становясь на путь «уготовления» будущего. И естественно, что размышления о роли личности в истории, вызванные думами о судьбах России, привели мыслителя-революционера к образу великого сына русского народа М. В. Ломоносова, одного из тех немногих, кто сумел стать «превыше окружностей своих».

Однако «Слово о Ломоносове» Радищева не только конкретизация теоретических положений по вопросу о путях формирования и значении выдающейся личности, но и произведение, порожденное борьбой по вопросам литературы и культуры, которая шла в XVIII в. и в которой имя Ломоносова в разное время играло разную роль.

В 1780 г., когда Радищев начал писать «Слово», печатных материалов, посвященных Ломоносову, было немного.

Огромное стечение народа на похоронах Ломоносова, отмеченное даже его старым врагом Таубертом,[3] было данью уважения русских людей к памяти великого соотечественника. Но горестное для страны событие почти не нашло отклика в русской печати. В этом сказалось неприязненное отношение к Ломоносову со стороны Академии наук и правительства, в первую очередь самой императрицы Екатерины II, позаботившейся лишь о том, чтобы бумаги покойного были опечатаны.[4]

Молчала печать, молчали старые коллеги в Академии наук. Первое слово сказал чужой человек: избранный уже после смерти Ломоносова почетным членом Академии наук доктор медицины

---

[2] А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. II, АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 129. В дальнейшем цитирую по этому изданию, указывая в скобках том и страницу.

[3] П. Пекарский. Дополнительные известия о биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 88.

[4] Там же.

Н.-Г. Леклерк. На академическом заседании 15 апреля 1765 г. Леклерк, поблагодарив за избрание, произнес небольшое похвальное слово Ломоносову. «Не стало человека, имя которого составит эпоху в летописях человеческого разума, обширного и блестящего гения, обнимавшего и озирающего вдруг многие области», — начинает Леклерк, переходя далее к дифирамбам в честь поэтического творчества Ломоносова.[5] Похвалы Леклерка показались академикам преувеличенными. Определение в протоколе гласило, что в речи следует кое-что исправить, кое-что выпустить. Однако ни в подлинном, ни в исправленном виде речь напечатана не была.

Долгое время не печаталась и стихотворная эпитафия Ломоносову И. Голеневского.[6] «Надгробная песнь в бозе почившему ученому российскому мужу Михайле Васильевичу Ломоносову. От усерднейшего имени его почитателя Луки Сичкарева. 1765 году апреля 15 дня» была напечатана без обозначения года.[7] Оба произведения невысоки по своим художественным достоинствам, и оба исполнены искренней печали. Более интересна «Надгробная песнь» Сичкарева, в которой сквозь замысловатую форму проступает лирический образ Ломоносова — учителя молодых поэтов.

Первый печатный панегирик Ломоносову появился за границей. Летом 1765 г. граф А. П. Шувалов издал на французском языке брошюру, в которую вошли небольшое предисловие, ода на смерть Ломоносова и прозаический перевод «Утреннего размышления о божием величестве».[8]

Почитатель великого поэта, писавший о нем и при его жизни, А. П. Шувалов говорит о всенародной скорби русских людей, оплакивающих Ломоносова во всех концах необъятной страны, видит в нем первого просветителя России, сочетавшего «пальму Архимеда и лавры Пиндара, перо Тацита и цветы Цицерона». Желая возвысить Ломоносова, Шувалов пренебрежительно отзывается о его предшественниках и современниках («Правда, до Ломоносова у нас было несколько рифмачей вроде князя Канте-

---

[5] П. Пекарский. История императорской Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, стр. 877—879.

[6] Эпитафия вошла в книгу И. Голеневского «Дар обществу» (СПб., 1779, стр. 37—38).

[7] В. С. Сопиков указывает, что она была напечатана в 1766 г. (см. его «Опыт российской библиографии». Ред. В. Н. Рогожина. СПб., 1905, ч. IV, № 9346, стр. 171).

[8] Перепечатана в книге: А. Куник. Сборник материалов для истории императорской Академии наук в XVIII веке, ч. I. СПб., 1865, стр. 202—210. Предисловие переведено на русский язык в книге П. Н. Беркова «Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765» (АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 277—278).

мира, Тредиаковского и др.»). Ничтожным завистником, рабским подражателем Расина именует он Сумарокова.

Брошюра Шувалова не прошла незамеченной. Один из первых ответов на нее содержится в напечатанном в 1768 г. в Лейпциге «Известии о некоторых русских писателях». Автор называет Ломоносова «великим гением», но отмечает и историческое значение деятельности В. К. Тредиаковского, который «проложил в своем отечестве дорогу изящным наукам, преимущественно же стихотворству».[9] С похвалой отозвавшись об оде Шувалова в целом, автор называет несправедливыми и личными нападки на Сумарокова, говорит об успехах и недостатках писателей, о том, что они *вместе* стали «истреблять несвойственные слова и значительно обогащать нашу речь из древнего коренного языка нашего — славянского».[10]

Особенности литературной борьбы 1769 г. объясняют тенденцию к объективной оценке писателей в журналах Н. И. Новикова. Как бы ни относилась реакция к Ломоносову, открыто нападать на него было трудно, да и для гонителей сатиры не он в это время представлял опасность. Замалчивание заслуг великого ученого и поэта, выдвижение «второго Ломоносова», В. Петрова, — осторожный путь, по которому шла Екатерина II. Зато «Всякая всячина» осмеяла «Тилемахиду» Тредиаковского и не уставала нападать на Сумарокова, чья сатира не раз выводила из себя правительницу российского государства. В этих условиях противопоставление двух старейших деятелей русской культуры, возвышение одного за счет другого играло на руку реакции. Поэтому, вопреки тенденции к забвению памяти Ломоносова, Новиков помещает стихотворную «Надгробную» неизвестного автора,[11] пространное описание памятника, воздвигнутого на могиле Ломоносова,[12] и т. д. Но одновременно с ними появляются сатира Аблесимова «Стыд хулителю», осмеивающая назойливое противопоставление «лирика» и «драматиста», и многочисленные выступления в защиту Сумарокова.

Начало изучения биографии Ломоносова и объективной оценки его творчества положила статья Новикова в «Опыте исторического словаря о российских писателях». В нее введен ряд биографических фактов, впервые отмечено значение образования, полученного Ломоносовым в России, разносторонность научной деятельности и поэтического творчества, сделана попытка рассказать о Ломоносове-человеке. Как бы желая окончательно отмести про-

[9] П. А. Ефремов. Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867, стр. 130.

[10] Там же, стр. 131—132.

[11] «Трутень», 1769, л. XX.

[12] Там же, 1770, л. X.

тивопоставление Ломоносова и Сумарокова, Новиков вводит в статью восторженные строки из сумароковской «Эпистолы о стихотворстве»:

Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен.

Следующее слово о Ломоносове сказал начинающий поэт М. Муравьев. Воспитанник А. А. Барсова, одного из видных учеников Ломоносова, Муравьев и позднее многократно писал о великом ученом, человеке и поэте, обращал внимание на самобытность его гения, был одним из немногих людей XVIII в., признавших самостоятельность исследований Ломоносова в области химии и физики. Он считал (в отличие от Радищева), что Ломоносов изучал явления электричества независимо от Франклина и «силою собственного размышления доходил до тех же заключений и разделял с ним славу изобретения».[13]

В «Слове похвальном Михайле Васильевичу Ломоносову» 1774 г. Муравьев в первую очередь славит Ломоносова-поэта. По мере сил автор пытается приблизиться к самой манере похвальных слов Ломоносова и защищает такие «антисумароковские» принципы ломоносовской поэзии, как «стихотворческая пышность», «восторг», «великолепие», «громкость». Одним из первых Муравьев понял, что суть поэзии Ломоносова не только прославление, но и поучение: «Повелители народов, наместники божеския власти, градоначальники, притеките на глас гремящего витии, научитеся в стихах его должности своей», — обращается автор к сильным мира сего.[14] Возможно, что от Барсова Муравьев услышал о проектах Ломоносова в области общественных реформ и сказал о желательности напечатания трудов, «где б явился в удивленных очах многочисленных сограждан не один в нем стихотворец, не один вития, не один природы испытатель, мудрец и мира гражданин, но честный человек, сын отечества, ревнитель добрых дел, рачитель общественного блага, Росс и мнением и делом».[15]

Муравьев знал о прижизненной вражде Ломоносова и Сумарокова и не любил последнего. Знал о претензиях В. Петрова, читал журналы, в которых доказывалась несамостоятельность научных трудов Ломоносова.[16] О многом он мог слышать от Барсова. Ему самому пришлось присутствовать при споре Г.-Ф. Мил-

---

[13] М. Н. Муравьев, Полн. собр. соч., ч. III, СПб., 1820, стр. 216.
[14] Михаил Муравьев. Слово похвальное Михайле Васильевичу Ломоносову. СПб., 1774. стр. 13.
[15] Там же, стр. 8—9.
[16] «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах», 1763, ноябрь, стр. 454—455; «Санктпетербургские ученые ведомости», 1777, ч. IV, стр. 161.

лера и И. И. Мелиссино, когда Миллер доказывал подражательный характер поэзии Ломоносова.[17]

Всем врагам Ломоносова автор «Слова» грозит судом потомства: «А вы, живые, завидующие славе мертвого, не будьте соперники Ломоносова, будьте подражатели его. Уже наступает тот час, где будет судить его справедливое потомство. Зависть не будет в состоянии затмевать заслуги его. Вотще восстанете вы против его, падение ваше посрамит вас, потомство презрит усилия ваши, а достоинство будет жить во веки».[18]

«Слово похвальное» Муравьева было последним значительным произведением, посвященным памяти Ломоносова, к моменту, когда Радищев начал писать свое «Слово», ибо биография, приложенная к «Собранию разных сочинений» Ломоносова 1778 г., была перепечатана из «Опыта» Новикова.[19]

Работа над «Письмом к другу, жительствующему в Тобольске» и одой «Вольность» в начале 80-х годов, а затем над основным текстом «Путешествия из Петербурга в Москву» отвлекла Радищева на некоторое время от образа Ломоносова.

В 1783 г. по инициативе президента Российской Академии Е. Р. Дашковой (племянницы М. И. Воронцова, воздвигнувшего памятник Ломоносову) началась подготовка полного собрания сочинений основоположника русской поэзии. За дополнительными биографическими сведениями Дашкова обратилась к академику Я. Штелину, который много лет проработал с Ломоносовым и был автором латинского текста на надгробном памятнике поэту. Свои материалы Штелин озаглавил «Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов Штелиным».[20]

Когда были написаны «Черты и анекдоты», неясно. Проходящее в них от названия до последних строк желание подчеркнуть дружескую близость к Ломоносову отсутствует в «Записке» Штелина, намечающей хронологический ход развития русской литературы до 1763 г.[21] Крайняя сухость оценки Ломоносова в «Записке» сменяется откровенной неприязнью в заметках «О моза-

---

[17] См. мою статью «О некоторых вопросах эстетики М. В. Ломоносова» («Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института», Факультет языка и литературы, вып. 3, 1956, стр. 11).

[18] Михаил Муравьев. Слово похвальное Михайле Васильевичу Ломоносову, стр. 14.

[19] См. об этом статью Д. С. Бабкина «Биографии М. В. Ломоносова, составленные его современниками» в книге «Ломоносов. Сборник статей и материалов» (т. II, АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 10).

[20] Перевод напечатан М. Погодиным в журнале «Москвитянин» (1850, ч. I, Науки и художества, стр. 1—14).

[21] Перевод напечатан в книге П. А. Ефремова «Материалы для истории русской литературы» (стр. 161—167).

ике».[22] Недоброжелателен и набросок, принятый за проект похвального слова Ломоносову.[23] Замечания: — «мужиковат»; «с низшими и в семействе суров; желал возвыситься, равных презирал», напоминания о «сатирах на духовных», о преследовании Тредиаковского мало похожи не только на похвальное слово, но и на простое дружеское воспоминание. И только когда прошли годы, когда «широкие круги передовых людей поняли, что Ломоносов — это залог дальнейшего неустанного и глубокого развития отечественной науки, отечественного искусства и государственного гения»,[24] Штелин изменил позицию, и в 80-е годы передал «Черты и анекдоты» Дашковой, составив их, по-видимому, на основании старых записей, но придав соответствующий тон.[25]

Многое запутали записки Штелина, по дело не в отдельных ошибках, естественных для мемуаров, а в основном пафосе «Черт и анекдотов». Деятельности Ломоносова в Академии наук посвящено пятнадцать строк. О поэзии говорится больше, но на первый план выдвинута мысль о заимствованном характере ломоносовской реформы стихосложения и оды на взятие Хотина. «В особенности любил он стихотворения Гюнтера и знал их почти наизусть. По тому же размеру стал он сочинять русские стихи. Первым его опытом в этом роде (в 1739 г.) была торжественная ода на взятие Очакова ... Мы были очень удивлены таким, еще небывалым в русском языке размером стихов и нашли, между прочим, что эта ода написана в гюнтеровом размере и именно в подражание его знаменитой оде: Eugen ist fort! Ihr Musen nach etc. — и даже целые строфы были из нее переведены».[26]

Таким образом, если Шувалов назвал «подражателем» Сумарокова, то Штелин и его друзья ту же роль отвели Ломоносову.

Единственный метод, принятый Штелиным для возвышения Ломоносова, — унижение Сумарокова. Зная, что вельможам нравилось раздувать вражду между поэтами, зная о немилости к Сумарокову Екатерины II, Штелин с удовольствием пересказывает известные факты, свидетельствующие о вражде поэтов, и, пользуясь тем, что Сумароков уже умер, вводит в записки свой разговор с Сумароковым у гроба Ломоносова.

---

[22] Перевод опубликован в книге В. К. Макарова «Художественное наследие М. В. Ломоносова. Мозаики» (АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 288—298).

[23] П. Пекарский. История императорской Академии наук, стр. 879.

[24] С. Н. Вавилов. Предисловие к книге А. А. Морозова «Михаил Васильевич Ломоносов». Л., 1952, стр. 3.

[25] О том, что «Черты и анекдоты» Штелина написаны в несколько приемов и в основном в 1783 г., писал А. А. Куник (Сборник материалов для истории императорской Академии наук в XVIII веке, ч. II. СПб., 1865, стр. 390).

[26] «Москвитянин», 1850, ч. 1, Науки и художества, стр. 4.

Штелин был для Сумарокова одной из тех «немецких блох», которые мешают развитию русской культуры. Они враждовали со времен издания «Трудолюбивой пчелы» (1759 г.). Конечно, Сумароков был оскорблен одой Шувалова, но, жалуясь на Шувалова, он не порочил Ломоносова.[27] Конечно, он до конца жизни пытался доказать свою независимость от Ломоносова и не соглашался с некоторыми принципами его поэзии. Но все же он не снял восторженную характеристику «Эпистолы» 1748 г. из издания своих сочинений в 1774 г. Он писал, что «истинную честь российскому Парнасу» приносят только имена Ломоносова и Поповского. «Воспомянем его (Ломоносова, — *Л. К.*) с воздыханием, подобно как творца „Тилемахиды" со смехом, и утвердим тако: что г. Ломоносов толико отстоит от Тредиаковского, как небо от ада», — воскликнул Сумароков в статье «О стопосложении».[28]

О коль ватага здесь Прадонова числа
Без Ломоносова в России возросла! —

такие слова приписывали Сумарокову его друзья.[29]

Утверждение Штелина, что его «Черты и анекдоты» перепечатаны в первом томе собрания сочинений Ломоносова, неверно.[30] Они не удовлетворили Дашкову, и по ее приказанию биографию написал М. И. Веревкин, который использовал материалы Штелина, многое добавил, кое-что сократил (в том числе и мнимый разговор на похоронах).

II

Из перечисленных статей и высказываний Радищев мог знать все, кроме речи Леклерка. С материалами Штелина он мог познакомиться через Воронцовых, а если даже рукопись осталась неизвестной ему, то в основной части «Черты и анекдоты» были повторены Веревкиным. О том, что никакая из предшествующих работ не удовлетворила Радищева, говорит «Слово о Ломоносове», впервые воссоздавшее образ великого поэта и полемичное по отношению к утвердившимся взглядам на Ломоносова. Забегая вперед, можно сказать, что лишь в одном случае Радищев остался верен традиции — в оценке деятельности Ломоносова-естествоиспытателя, и эта часть «Слова» слабее других. Во всех остальных разделах Радищев совершенно самостоятелен.

27 «Библиографические записки», 1858, № 15, стр. 453.

28 А. П. Сумароков, Полн. собр. всех сочинений, т. X, М., 1782, стр. 81.

29 Послание А. Сумарокова, писанное им при смерти к одному его другу, и последнее завещание мелким стихотворцам с приобщением сочиненной им себе надгробной надписи. СПб., 1777, стр. 4.

30 Д. С. Бабкин. Биографии М. В. Ломоносова, составленные его современниками. «Ломоносов. Сборник статей и материалов», т. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 13—27.

Описывая памятник на могиле Ломоносова, автор статьи в «Трутне» писал: «Монумент, воздвигнутый его (М. И. Воронцова, — *Л. К.*) тщанием и иждивением в честь имени покойного г. Ломоносова, возвестит позднейшим потомкам состояние словесных наук нашего века». Радищев начинает «Слово о Ломоносове» с прямого опровержения этой мысли, почти сохраняя конструкцию фразы: «Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомстве. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу в будущие столетия» (I, 380).

«Гробницы великолепные» — плод суетности человеческой. Бессмертие человека — в его делах, бессмертие Ломоносова — в его творчестве. «Слово твое, живущее присно, и во веки в творениях твоих, слово Российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий» (I, 380). Уже в этих начальных строках дан основной тезис оценки поэта, великого не только силою своего гения, но и опорою на народные основы языка, а потому подлинно национального и истинно бессмертного.

Располагая теми же материалами, что и другие биографы Ломоносова, Радищев хочет озарить их светом истины. «Истина есть высшее для нас божество», — говорит он, подчеркивая, что в его задачи не входит сделать Ломоносова «богом всезиждущим» или поставить «истуканом на поклонение обществу». Истина нужна для правильного понимания деятельности Ломоносова, как необходимо было ее присутствие в «Спасской полести», ибо только она могла освободить образ Ломоносова от канонических ложных представлений. А представления эти были очень устойчивы. Гениальный одиночка, выросший в дикой стране, великий поэт, не имевший ни предшественников, ни последователей, — таким выглядит Ломоносов в панегирике А. П. Шувалова 1765 г. Однако уже Шувалов не забыл сказать о благодеяниях, которыми осыпали Ломоносова русские государи: Анна, Елизавета и в особенности Екатерина II.[31] О благодеяниях Елизаветы, Екатерины II, Шуваловых, Воронцовых говорило большинство биографов, в том числе и Веревкин. При всем отличии академической биографии от более ранней оды Шувалова пессимистический оттенок ей придают якобы сказанные Ломоносовым Штелину предсмертные слова: «К сожалению, вижу теперь, что благие намерения мои исчезнут вместе со мною».[32]

В повествовании Радищева нет ни пессимизма, ни комплиментов в адрес меценатов. Он исключает сентиментальные рассказы

---

[31] См.: А. Куник. Сборник материалов для истории императорской Академии наук в XVIII веке, ч. I, стр. 203.

[32] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., ч. I, СПб., 1784, стр. XVII.

Штелина—Веревкина о том, как плакал и молился Ломоносов, попав в Москву, приключенческую новеллу о вербовке в рекруты и многое другое, но зато как бы заново проходит со своим героем тернистый путь: видит метания гениального юноши в поисках знаний, испытывает трудности, изучая языки, спускается с ним в рудники Фрейберга. Он показывает значение человеческой воли, настойчивости в достижении задуманного — те индивидуальные черты, которые в соединении с необычайной одаренностью помогли сыну помора преодолеть неблагоприятные обстоятельства и превратиться в великого ученого.

Позднее, в «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» Радищев назовет те же черты характера национальными качествами русского народа: «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский» (II, 146—147).

«Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении» Радищев раскрывает на примере жизни-подвига Ломоносова. Прослеживая шаг за шагом биографию великого человека, он разрушает представление о Ломоносове как чудом появившемся одиночке, поддержанном лишь монархами и меценатами. Перед читателем возникает образ гениального человека, вышедшего из «среды народныя» и кровно связанного с нею. Радищев не говорит прямо о деятельности Ломоносова как о результате петровских реформ, вернее — не распространяется на эту тему, но помнит о них. Предшественники Ломоносова в прозе писали так, как можно было писать «до сообщения Россиян с народами европейскими» (I, 390). В прямую связь с общим прогрессом России поставлен такой, казалось бы, сугубо индивидуальный успех Ломоносова, как ода на взятие Хотина. Она является доказательством, что, «когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг» (I, 385).

III

Не принижая значения немецкой науки и культуры в становлении Ломоносова-ученого, не отрицая роли немецкой поэзии в формировании теории стихосложения, Радищев развенчивает легенду о подражательности «русского Гюнтера». Вслед за Новиковым и с большими подробностями говорит он о важности знаний, полученных Ломоносовым в России, в «обители иноческих Мусс». Здесь Ломоносов изучил иностранные языки, ознакомился с античной культурой и с древнерусской литературой. «Представил бы его ищущего знания в древних рукописях своего училища и гоняющегося за видом учения, везде, где казалося быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но

частным чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога; какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство Российского слова» (I, 382; курсив наш, — *Л. К.*)

Церковные книги — основание «изящного слога» Ломоносова, национальный источник его поэзии и реформы в области литературного языка, которая явилась основанием для реформы стихосложения.

Здесь же, в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, Ломоносов ознакомился и с античной литературой. Греческие и римские писатели открыли ему красоту поэзии. «С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъявлять чувствия свои, давать тело мысли и душу бездыханному» (I, 382).

Античная поэзия дала Ломоносову то, чего не могли дать церковные книги. Она раскрыла «уловки стихотворства», учила пониманию природы, изображению простых человеческих мыслей и чувств, показала, до какой степени совершенства может дойти художественное слово.

Ломоносов как поэт родился в России, — настаивает Радищев. Церковные книги раскрыли красоту родного языка. Античность, усвоенная в России, привила вкус к поэзии. Русская книга послужила толчком к пробуждению поэтического дарования. «Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтырь Симеона Полоцкого, в стихи преложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец» (I, 385).

И мысль о реформе стихосложения родилась в России. Сравнение русских стихов с греческими и латинскими показало, что силлабическое стихосложение не соответствует природе русского языка, стесняет его возможности, не раскрывает всех заложенных в нем богатых данных. Эти выводы подтвердились за границей наблюдениями над немецкой поэзией. «Беседуя с Горацием, Вергилием и другими древними писателями, он *давно уже* удостоверился, что стихотворение Российское весьма несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее Российского, что *стопы в стихах* были расположены *по свойству языка их*. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперьва Российскому стихотворению *правила, на благогласии нашего языка основанные*» (I, 385; курсив наш, — *Л. К.*).

Каждая строка этой части «Путешествия» опровергает академическую биографию, в которой утверждалось, что во время пре-

бывания в Марбурге Ломоносов «от обхождения с тамошними студентами и слушая их песни возлюбил немецкое стихотворство. Лутчей для него писатель был Гинтер. Многих знатнейших стихотворцев вытвердил наизусть. По тамошним ямбам, хореям и дактилям начал размерять стопы и в русских стихах». Ода на взятие Хотина написана была «ямбическими стопами на вкус Гинтеров, подражательно славной его оде».[33]

Таким образом, оказывалось, что Ломоносов принес чужую систему в русское стихосложение, что его вдохновенные поэтические создания не что иное, как хорошие переводы, как говорил Штелин, или подражания, как мягче выразились академические биографы. Этим точкам зрения и противостояли радищевская оценка оды 1739 г.: «первородное чадо стремящегося воображения не по проложенному пути» — и его указание, что ломоносовская система стихосложения глубоко национальна, ибо основана на учете особенностей русского языка.

Непроложенным путем шел гениальный поэт и ученый-филолог —в этом утверждении — пафос «Слова о Ломоносове», ибо Радищев видел в великом поэте один из тех «изящных умов», которые, как говорилось в «Житии Ушакова», «укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных стезей и вдаются в неизвестные и непроложенные» (I, 180—181). Но радищевская точка зрения на «изящные умы» не имела ничего общего с теорией гениальной исключительности, позволяющей гению презирать все образцы и руководствоваться лишь «безумством» поэтического вдохновения. «Мы называем тех людей гениями, которые сразу проникают в сущность всего, что им представляется, видят его насквозь; так что их познание вещей отличается такими же достоинствами, как если бы оно было приобретено продолжительным наблюдением при помощи всех семи чувств», — писал Ленц в своих «Заметках о театре», которые явились манифестом «бурных гениев».[34]

Радищеву чужды взгляды подобного рода и отношение к великим людям как божкам, которые, получив с неба «божественную искру», «восседают на земных тронах».[35] Правда, он решительно отвергает регламентацию искусства «правилами», считает бесплодной теоретическую часть ломоносовской «Риторики», видит значение «изящных умов» в их оригинальности, осуждает эпигонство, признает истинно великими писателей, идущих «непроложенным путем», но постоянно говорит о необходимости укре-

---

[33] Там же, стр. VIII—IX.

[34] Цитирую по кн.: М. Н. Розанов. Поэт периода бурных стремлений Якоб Ленц. М., 1901, стр. 176.

[35] Там же.

пить природное дарование учением, советует проникнуть в тайны художественного мастерства великих художников. Если не побояться упреков в модернизации, можно сказать, что конфликт между романтическим и классическим отношением к искусству не существует для Радищева: «Сила воображения и живое чувствование не отвергает разыскания подробностей» (I, 385).

По мнению Радищева, не только «сила природы», но и внимательное изучение лучших образцов художественной литературы дали возможность Ломоносову понять, что «изящность слога состоит на правилах, языку свойственных». Глубокое знание общенародного языка, понимание его особенностей, возможностей, законов явились источником успеха Ломоносова, помогли ему снять с русских стихов «несродное им полукафтанье» силлабической системы и создать новое стихосложение, основанное «на благогласии нашего языка».

Ломоносовскую реформу в области стихосложения нельзя оторвать от его работы в области грамматики. Они неотделимы и равно национальны, ибо Ломоносов опирался на древнерусскую культуру. Но, найдя «истинное свойство языка российского ... забытое в книгах церковных», великий поэт и ученый «понесся путем непроложенным, где ему вождало остроумие» (II, 215). Будучи человеком нового времени, он не мог писать так, как писали когда-то «красноречивые пастыри церкви». И содержание его произведений иное, и язык не «славенский», а русский, и учился он светскому красноречию у Демосфена и Цицерона, а искусству поэзии — у древних греков и римлян.

Великий поэт и ученый сторицей вернул долг воспитавшей его стране и ее культуре. Он создал литературный язык своей эпохи, новую поэзию, новую систему стихосложения, оказал огромное влияние на все последующее развитие русской литературы. Не восседал он божком на земном троне, а отдавал народу плоды своего труда. «Прияв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народныя толщи, великий муж действует на оную... Тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные отверзал общему уму стези на познании» (I, 388).

Большой труд, опора на национальные свойства языка, понимание «уловок искусства», «вкус и разборчивость в выражении и в сочетании слов и речей» вместе с гениальностью помогли Ломоносову создать поэтические шедевры. Великий поэт дал русской поэзии не только язык и стих: он не оставил ее «при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай оными самую неосязательность» (I, 388).

Великолепная радищевская формула противостояла всем определениям «поэтической материи» XVIII в. Она ломала ограниченные рамки эстетики и классицизма и сентиментализма, ибо «мечтания» Радищева — не уводящая от действительного мира богиня Фантазия дворянских сентименталистов. «Беспредельность мечтаний и возможности» означает, по Радищеву, что весь мир конкретно-чувственный, мир материальной природы, и все, что постигает человек посредством мысли, абстракции, достойны поэтического вдохновения.

Содержание, вложенное Радищевым в его формулу, до конца может быть понято в связи с другими его высказываниями на примере его собственного творчества, которое включало изображение «блистательных картин обновляющейся природы» и нищей крестьянской избы, ставило глубочайшие философские вопросы и рассказывало о браке барона Дурындина, потрясало картинами человеческого страдания и позволяло заметить «краснопевую овсянку на смородинном кусточке». Но само открытие беспредельных возможностей поэзии, умение давать «тело мысли и душу бездыханному» Радищев приписывает Ломоносову, доказывая свою мысль ссылками на философскую лирику Ломоносова.

Только выяснив истинную роль создателя нового литературного языка и новой поэзии в истории русской культуры, Радищев переходит к тому, с чего начинали все поэты и критики, писавшие о Ломоносове в 80-е годы, что считалось главной его заслугой, затмевающей все остальное, — к оценке Ломоносова как «певца Елисаветы».

IV

В 1783 г. в «Собеседнике любителей российского слова» Екатерина II начинает печатать «Записки касательно Российской истории», в которых старательно доказывает, что благоденствие народа, его культура и даже язык зависят от государей. Соответственно от поэтов требовалось прославление государыни и благоденствующего под ее эгидой государства. Но похвальная ода, лишившаяся под пером В. Петрова, В. Рубана и других широкой программности, которая составляла суть поэзии Ломоносова, все чаще и чаще подвергалась осмеянию.

Для поддержания подающего престижа одической поэзии и как свидетельство благодетельного влияния меценатства вызывается величественная тень Ломоносова, на которую набрасывается одеяние придворного и только придворного поэта. Подретушированный лик поэта прошлого становится как бы образцом для поэтов настоящего.

Характерным примером такой фальсификации является статья И. Богдановича «О древнем и новом стихосложении».[36] Теоретических рассуждений в статье немного. Автор скромно говорит, что право разбора «стихотворческих достоинств принадлежит любимцам Аполлоновым», его же цель — подобрать стихи Ломоносова «одинакового содержания под общие приличные им оглавления». Подбирает и распределяет стихи Богданович примерно по тому же принципу, что и пословицы в сборнике 1785 г. Как «Русские пословицы» открываются главою «Благоверие», за которой следует «Служба государю», так и стихи Ломоносова сначала служат доказательством «истинного богопочитания» поэта, затем его «благонамеренности» и т. д. Стрелы в адрес сатириков («кто во всяком действии изыскивает худые намерения, тот всегда и везде найдет лесть, ложь и обманы») раскрывают до конца замысел статьи: поэзия «благонамеренного» Ломоносова противопоставлена сатире. То, до чего не додумались в 1769 г., когда память о непокорном поэте и «Гимне бороде» была свежа, сделали в 1783 г.

Выдвинутый по указанию свыше тезис Богдановича становится выражением официальной точки зрения. Подавляющее большинство статей и стихотворений, посвященных Ломоносову в 80—90-е годы, объединены мыслью: Ломоносов велик, как «певец Елисаветы». Роль Ломоносова в истории русского литературного языка, стихосложения, деятельность ученого, неутомимая борьба за науку, прославление ее в поэтических произведениях, страстная любовь к родине, даже поэтическое достоинство стихов Ломоносова — все замалчивалось либо оттеснялось на второй план. На первый выдвигалось пресловутое «певец Елисаветы» и — добавлялось иногда — Шувалова.

Елисаветины душевны красоты
У Россов навсегда в сердцех оставил ты,
И покровитель твой любезен нам пребудет,
Доколь Россия Муз совсем не позабудет, —

писал один из бывших воспитанников Лейпцигского университета О. П. Козодавлев.[37] Н. П. Николев, который издал свое «Лиродидактическое послание» после выхода в свет «Путешествия», уделяя внимание научным трудам Ломоносова, считает особенно важным, что «Ломоносово перо славило Елизавету», и говорит о нем в первую очередь как певце «владычицы Россов», «владычицы корон».[38] Еще позднее Г. Городчанинов в «Акро-

[36] «Собеседник любителей российского слова», 1783, ч. II, стр. 132—144; ч. III, стр. 6—23; ч. V, стр. 16—36.
[37] «Собеседник любителей российского слова», 1784, ч. XIII, стр. 168.
[38] «Новые ежемесячные сочинения», 1791, июнь, стр. 5—39.

стихе к творениям бессмертного российского стихотворца», прославляя «громкие оды» «певца Елисаветы», выделяет начальными буквами то, что, очевидно, по его мнению, было главным: «Статской советник Михайло Василиевич Ломоносов».[39]

Статский советник, милостью меценатов достигший славы,[40] официальный одописец, певец «владычицы Россов» — таким должен был войти Ломоносов в сознание потомства. Радищев борется против этого позолоченного облика, так же как и против легенды о подражательности Ломоносова. «Оставив чиновника, воззрим на обновителя российского стихотворства и краспоречия», — прямо писал он в одном из ранних вариантов «Путешествия» (I, 436), а в окончательном варианте, исключив фразу, сохранил мысль. То, что признавалось главным, Радищев отнес за счет наносного, влияния окружающей среды. Ломоносов действительно хвалил Елизавету, но в этом не сила его, а слабость, объясняемая обстоятельствами жизни поэта и примерами окружающих. «Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, по пиже гудочного бряцанья; ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательныя твоея души ко благодеяниям» (I, 388).

Умолчать об этой слабости нельзя. Ее нужно было назвать соответствующим именем и показать то незначительное место, которое занимала лесть Елизавете в поэзии и тем более общей грандиозной деятельности великого поэта-новатора: «Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый» (I, 389).

V

Доказывая, что не мундир статского советника, а обновление «российского стихотворства и красноречия» определяет облик великого сына русского народа, Радищев отвоевывал Ломоносова для общенациональной, а не придворной культуры. Далее Радищев показывает плодотворность деятельности Ломоносова, его влияние на последующих писателей, из которых самым крупным он считает Сумарокова: «Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова» (I, 389).

---

[39] Там же, 1794, октябрь, стр. 37.
[40] См.: «Собеседник любителей российского слова», 1783, ч. I, стр. 73—77.

Слова эти полемичны не менее, чем все «Слово о Ломоносове». Радищев возражал ими и самому Сумарокову, до конца жизни не признавшему своей зависимости от Ломоносова, и его почитателям, которые утверждали, что Сумароков «своими бессмертными стихотворениями открыл еще прежде славного господина Ломоносова истинный путь к Российскому Парнасу».[41]

Одновременно радищевская характеристика была прямо противоположна враждебной недооценке Сумарокова, которая прозвучала в оде Шувалова, насаждалась «Всякой всячиной» и др. И, наконец, признав Ломоносова реформатором русской поэзии, а Сумарокова его достойным продолжателем-современником, Радищев отказался от противопоставления двух крупнейших поэтов.[42]

Равного Сумарокову последователя Ломоносова в области прозы Радищев не находит и усматривает влияние его прозы более на «общем образе письма», чем в области гражданского красноречия. Подобно Фонвизину, утверждавшему, что недостаток ораторов в России объясняется отсутствием условий, способствующих развитию искусства красноречия, Радищев, не говоря о причинах, называет «бесплодно употребленными» блестящие ораторские приемы похвальных слов Ломоносова, не удовлетворявших писателя-революционера своим содержанием. Он предсказывает появление прозаика, который, учтя великолепное искусство Ломоносова, проложит путь новому, действительно гражданскому витийству, незнакомому самодержавной России. «Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитаяся в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться» (I, 389).

Выдвинув принцип «истины в люблении», Радищев борется против канонизации образа Ломоносова. В оценке деятельности Ломоносова-естествоиспытателя он несправедлив. Подобно тому как «Ежемесячные сочинения» снисходительно похваливали автора «Первых оснований металлургии» как одного из тех, кто умеет «избирать полезнейшее из иностранных книг» и «оное сообщает российским согражданам»,[43] так и Радищев считает, что в «исследовании истины естественности ... шествие его было шествие последователя» (I, 390).

Более интересны критические замечания Радищева по поводу творчества Ломоносова. Писателя конца XVIII в. не удовлетво-

---

[41] «Санктпетербургский вестник», 1778, ч. I, стр. 39.

[42] В «Памятнике дактилохореическому витязю» (1801 г.) Радищев восполнил существенный пробел «Слова о Ломоносове», остановившись на деятельности В. К. Тредиаковского.

[43] «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах», 1763, ноябрь, стр. 455.

ряет драматургия Ломоносова, велеречие похвальных слов, многословие некоторых од, отсутствие чувствительности в стихах, их метрическое однообразие. Не в «Слове», а ранее, в главе «Тверь», Радищев сказал о двойственной роли стихотворной реформы и поэзии Ломоносова. Открыв перед русской поэзией новые возможности, Ломоносов остановил ее развитие уздой великого примера. Он и последовавший ему «отменной стихотворец» Сумароков написали свои лучшие произведения ямбами, и ямб стал господствующим размером во всех жанрах. Но ни несогласие с рядом поэтических принципов отца русской поэзии, ни понимание несовершенства следующего за ним этапа русской литературы не должны уменьшать признательности потомства. Ограничены возможности са́мого великого человека, но неодолим прогресс человечества. Бессмертие личности заключается в воздействии ее на умы современников и грядущие поколения.

«Слово о Ломоносове» было закончено в 1788 г. и не вошло в представленную первоначально в цензуру рукопись «Путешествия». Затем, будучи введено в окончательный текст, как опыт «парнасского судьи», стало органической частью, оптимистическим финалом трагической книги. Утверждая силу прогрессивной мысли, художественного слова, Радищев отвечал на поставленный в начале «Путешествия» вопрос о целесообразности борьбы с стозевным чудищем. На широко известном примере он показал богатые возможности русского народа. Отбросив легенды и кривотолки, Радищев раскрыл истинное значение деятельности Ломоносова, который вышел из народа, жил и творил ради него, решал насущные вопросы русской культуры, обогащая то, что давало ее прошлое, многовековым опытом европейской цивилизации и тем открывая пути будущему. «В стезе Российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно» (I, 392).

Т. А. БЫКОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ПЕРЕВОДОВ «ДРЕВНЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ» М. В. ЛОМОНОСОВА

Вышедшая в 1766 г., уже после смерти Ломоносова, его «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава первого или до 1054 года» явилась крупным событием не только в русской исторической науке, но и в русской литературе. Как известно, почти во всех европейских литературах до начала XIX в. история рассматривалась как часть художественной прозы, отличавшаяся от последней не манерой изложения, а характером используемого материала. Исторические произведения ценились преимущественно за красноречие, а не за документальную точность при освещении событий. Ораторские произведения Ломоносова конца 40-х—начала 50-х годов XVIII в. создали ему заслуженную славу крупнейшего русского прозаика, и именно поэтому Елизавета Петровна пожелала прочитать историю России, написанную «штилем господина Ломоносова». Однако работа над историей затянулась, и книга Ломоносова появилась в свет, когда в европейской историографии стали предьявляться новые требования к историческим трудам. Да и в России во второй половине 60-х годов XVIII в. наряду с долго еще державшимися традициями стали появляться иные взгляды на задачи и стиль трудов по истории.

Все это не могло не сказаться на литературной судьбе «Древней российской истории» Ломоносова.

Это была первая работа по истории России, выпущенная после напечатания в 1674 г. в Киеве «Синопсиса», составление которого приписывается Иннокентию Гизелю.

Академия наук в самом же начале своей деятельности наряду с целым рядом научных задач поставила и вопрос об изучении истории России. Первые статьи на исторические темы были напечатаны в «Комментариях» Академии Т.-З. Байером, крупным ученым, вполне владевшим научными методами своего времени. Однако полное незнание русского языка ограничило круг доступных ему источников; в результате этого статьи Байера не являлись подлинными исследованиями по истории России. Несколько позднее Г.-Ф. Миллер также стал заниматься русской историей, но очерки по истории Киевской Руси, напечатанные

им в первых томах «Sammlung Russischer Geschichte», свидетельствуют о том, что он, как и Байер, не владел в то время русским языком. Тексты летописи ему переводили переводчики Академии наук, среди них был и И.-В. Паузе, в ряде случаев допустивший неточность в своих переводах. Вследствие этого у Миллера имеется ряд ошибок, которые внесли путаницу в вопросы начального периода русской истории.

В 1730-х годах писал свою «Историю Российскую» В. Н. Татищев, но издана она была значительно позднее, в 1769—1784 гг.

В 1747—1748 гг. Ломоносов принимал участие в обсуждении исторических работ Миллера в Академии наук, — очевидно, уже тогда его интересовала история России и он знакомился с источниками.

В 1749 г. Академия наук отвергла речь, приготовленную Миллером для произнесения в день тезоименитства Елизаветы Петровны, о происхождении народа и имени российского. В этой борьбе активную роль, со свойственной ему горячностью, принимал Ломоносов.

Миллер в своей приготовленной речи не сумел должным образом прославить русский народ. Вероятно, это натолкнуло И. И. Шувалова на мысль поручить написание русской истории русскому человеку. Через И. И. Шувалова Ломоносов получил «всемилостивейшее повеление» написать историю. С этого времени начинается планомерное изучение Ломоносовым источников и в Академию представляются отчеты о ходе работы.

С точки зрения научного подхода к материалам и исторических выводов «Древняя российская история» стоит неизмеримо выше «Синопсиса», статей Байера и Миллера.

К сбору материала для составления истории Ломоносов приступил в 1751 г., привлекая, в противоположность Т.-З. Байеру и Г.-Ф. Миллеру, не только иностранные, но и русские источники. В течение трех лет он изучал русские летописи и законодательные акты, сличая разные списки между собой, ознакомился с тогда еще не напечатанной «Историей Российской» В. Н. Татищева, где в первом томе разобран ряд источников. Большое внимание Ломоносов уделил античным и византийским писателям, пользовался сочинениями западных историков. К 1758 г. первый том был готов, в 1759 г. он начал печататься.

Ломоносов сам приостановил печатание, ему не понравилось избранное им оформление — ссылки на источники, как было тогда принято, были помещены на полях, примечания автора — под текстом. Он решил свои «филологические изыскания» перенести в конец книги. Вторично рукопись была им представлена в Академию в 1763 г., но аппарата примечаний он не успел дать. Книга вышла после смерти автора, с кратким предисловием

Шлецера; впоследствии Шлецер жаловался, что это предисловие было в Академии переделано. Рукопись пропала, отпечатанные листы варианта были уничтожены; таким образом, «филологические изыскания» Ломоносова были утрачены; они не обнаружены и до сих пор.

«Древняя российская история» состоит из двух частей: «О России прежде Рурика» и «От начала княжения Рурикова до кончины Ярослава первого».

Первую часть Ломоносов посвятил вопросу происхождения русского народа, доказывая его древность и наличие у него своей самостоятельной культуры. Ломоносов считал, что заселение славянами теперешней территории относится к древнейшим временам. В результате переселений произошло смешение народов, и в процессе эволюции русский народ образовался из слияния скифов, чуди (Ломоносов их считает одним народом) и славян: «В составлении Российского народа преимущество славян весьма явствует, ибо язык наш от славянского происшедший, немного от него отменился». Эти мысли для того времени были совершенно новыми. Вопрос о происхождении русских от Мосоха Ломоносов обходит осторожно: «... ни положить, ни отрещи не нахожу основания». Б. Д. Греков объясняет эту осторожность Ломоносова боязнью столкновения с церковной цензурой, которая могла в этом видеть попытку подрыва веры в священное писание.[1]

Второй вопрос, в решении которого Ломоносов разошелся с норманистами Т.-З. Байером и Г.-Ф. Миллером (хотя их взгляды были господствовавшими, их разделял и В. Н. Татищев), — вопрос о происхождении Рюрика с братьями. Он называет их «варягами-россами», а не «руссами-шведами».

В России «Древняя российская история» была перепечатана в XVIII в. дважды в «Полном собрании сочинений» Ломоносова: в 1784—1787 и 1794 гг., оба раза в пятом томе. Серьезный труд В. Н. Татищева «История Российская» вышел только одним изданием, а «Синопсис» после 1766 г. был перепечатан Академией наук четыре раза, последнее издание относится к 1810 г.

Какой же интерес возбудила «Древняя российская история» у современников за рубежом, какие были сделаны переводы и какую оценку они получили?

Пользуясь имеющимися в Государственной Публичной библиотеке и Библиотеке Академии наук СССР периодическими изданиями, а также находящимися в Государственной Публичной библиотеке сочинениями иностранных авторов по истории России, мы попытаемся охарактеризовать отношение к «Древней

---

[1] Б. Д. Греков. Ломоносов-историк. «Историк-марксист», 1940, № 11, стр. 29.

российской истории» в Германии, Франции и Англии. Надо помнить, что, по тогдашним научным требованиям, авторы не были обязаны указывать и характеризовать использованные ими источники, поэтому прямая оценка труда Ломоносова встречается лишь в немногих сочинениях по истории России, авторы которых опирались на «Древнюю российскую историю».

На немецкий язык книга Ломоносова была переведена Г.-Я.-Х. Бакмейстером: Alte russische Geschichte von dem Ursprunge der Russischen Nation bis auf den Tod des Grossfürsten Jaroslaws des Ersten bis auf das Jahr 1054, abgefasst von Michael Lomonossov ... Aus dem russischen ins Deutsche übersetzt. Riga und Leipzig, bei Johan Friedrich Hartknoch, 1768. 16 нн., 192 стр. «Предисловие переводчика» подписано Бакмейстером. Содержание этого предисловия не оставляет сомнений в том, что оно составлено самим переводчиком. Поэтому непонятно, почему в каталоге Парижской Национальной библиотеки,[2] в примечании к французскому изданию, немецкий перевод приписывается R** d'Hottal.

В переводе Бакмейстера сохранено предпосланное русскому изданию «Древней российской истории» предисловие; Бакмейстер указывает, что вся вторая часть книги заимствована Ломоносовым в основном из русских источников, чем его сочинение выгодно отличается от предшествующих и интересно для иностранцев. Если при переводе возникали неясности, то для точного уяснения смысла текста Бакмейстер привлекал подлинный источник, а цитаты сам переводил па немецкий язык с оригинала.

Перевод сделан Бакмейстером добросовестно, без искажения смысла (исключая некоторые мелкие неточности) и снабжен рядом подстрочных примечаний, разъясняющих текст. Примечания имеют разнообразный характер: иногда Бакмейстер приводит в латинской форме имена авторов и названия народов; поясняет русские географические названия, в частности указывает, что русские называют Варяжским морем Ost-See или что город Киев состоял из трех частей; дает толкование некоторых русских слов: гривна, тризна. В нескольких случаях Бакмейстер отсылает читателя за справками к очеркам Миллера.

Таким образом, перевод Бакмейстера надо признать не только добросовестным, но и доброжелательным. Этот перевод познакомил Европу, и в первую очередь Германию, с книгой Ломоносова. В Германии, где раньше, чем в других странах Европы, историю перестали рассматривать как художественную прозу, а стали видеть в ней самостоятельную науку, работа Ломоносова

---

[2] Catalogue général des livres imprimés de la Bibliotheque nationale, t. XCIX, Paris, стлб. 687.

вызвала ряд откликов, большей частью недоброжелательных. Во многом, вероятно, это объясняется тем, что немецкие читатели были знакомы со статьями Байера и Миллера и новые, противоречащие им взгляды Ломоносова шли вразрез с установившимися и считавшимися авторитетными воззрениями.

Первая известная нам заметка появилась в «Allgemeine historische Bibliothek» [3] в 1767 г., т. е. еще до поступления в продажу немецкого перевода. Автор ее резко отрицательно оценивает «Историю» Ломоносова: «Auszug aus einem Schreiben von St. Petersburg den 20 sten Febr. 1767. Von des verstorbenen Staatsrath und Professors der Chemie Lomonosov; Russische Historie sind 2 Theile (1766 auf 140 Quartseiten) herausgekommen: mehr wird nicht erscheinen. Der erste Theil ist unbrauchbar: denn er enthält ein Gewirre von Scythen, Sarmaten und Szuden, der zweite ist aus den Annalen und gehet bis 1054. Gott bewahre das Publicum vor solchen Russischen Historien».[4] Далее, в заметке сообщается о том, что в России не один Ломоносов изучает русскую историю. Кроме него, А.-Л. Шлецер занимается сличением многочисленных списков летописи Нестора, разнящихся между собой, а Тауберт закончил первую часть «Российской исторической библиотеки», которая доведена до 1206 г.

Из характера этого отзыва явствует, что его автор был хорошо осведомлен в академических делах. Скорее всего, автором его был Шлецер, который придавал большое значение своей работе над летописями и у которого были обостренные отношения с Ломоносовым. В пылу спора по вопросам русской истории Ломоносов, со свойственной ему необузданностью, называл Шлецера «сумасбродным», говорил, «каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина».

Вероятнее всего Шлецером была инспирирована и резкая критика книги Ломоносова в издании Фридриха Николаи,[5] где отзывы вообще бывали необоснованно резкими. Статья подписана «Nk» и принадлежит, видимо, перу самого издателя. Автор говорит, что покойный профессор Ломоносов, химик, не сможет

---

[3] «Allgemeine historische Bibliothek von Mitgliedern des königlichen Institutes der historischen Wissenschaften zu Göttingen», hrsg. von Johann Christoph Gatterer, Bd. 2, Halle, 1767, стр. 333—334.

[4] «Выписка из письма из Петербурга от 20 февраля 1767. Вышло две части (1766 г. 140 страниц в четверть листа) Русской истории, составленной скончавшимся статским советником и профессором химии Ломоносовым; больше не появится. Первая часть непригодна, она содержит путаницу о скифах, сарматах и чуди; вторая извлечена из летописей и доходит до 1054. Сохрани господь читателей от таких русских историй».

[5] Anhang zu dem ersten bis zwölften Bande der Allgemeinen deutschen Bibliothek. Berlin, Stetin, verlagt Friedrich Nicolai, 1771, стр. 231—236.

больше бесчестить свою страну и вредить русской истории. Подобные истории писались в Германии 200 лет назад, когда не существовало исторической критики и ученых исследователей. Ошибки, которые по отдельности допустимы у разных историков, собраны у него все вместе. Ломоносов никогда не думал, что при использовании многочисленных бесценных русских летописей нужен критический подход. Без знания исторической науки вообще и работ по русской истории за последние сорок лет он одним мазком дает картину малоизвестного периода русской истории, до IX в., и говорит о скифах, сарматах, славянах и вендах так, как об этом говорили во времена до Байера его коллеги. О второй части работы Ломоносова сказано, что к ней нельзя относиться с доверием, так как русские летописи не опубликованы, среди них много апокрифических, и возможно, что неученый автор «Древней российской истории» выбрал неверные тексты.

И в этой рецензии явно чувствуется ход рассуждений, свойственных Шлецеру, особенно пропагандировавшему критический метод в истории. Не исключена возможность, что Николаи опирается на какие-то суждения Шлецера о «Древней российской истории», может быть на письма или беседы с ним.

В немецкой журналистике имеется отзыв на французский перевод (с немецкого) «Древней российской истории» с общей отрицательной оценкой книги, особенно первой ее части. Автор рецензии упрекает Ломоносова в том, что за недостатком исторических источников он пользуется для своей работы лингвистическим толкованием имен и историей слов и что он больше, чем другие писатели, допустил произвольных истолкований неясных текстов. Автор рецензии считает также, что французский переводчик недостаточно владел немецким языком.[6]

На фоне этой резкой критики выделяется положительный отзыв Hartknoch'а.[7] Его похвала книге Ломоносова и ее немецкому переводу понятна, так как он был издателем перевода. Интересно, что, давая положительную оценку второй части работы Ломоносова, он умалчивает о первой.

Французский перевод «Древней российской истории»[8] вышел через год после немецкого: Histoire de la Russie depuis l'origine de la nation russe, jusqu'à la mort du grand Duc Jaroslavs premier. Par Michel Lomonossow, conseiller d'Etat ... Traduit de l'allemand par M. E***. Augmentée de deux cartes géographiques. Paris, chez Guillyn, Dijon, chez François Des Ventes, 1769. К изданию при-

---

6 «Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen auf das Jahr 1770», 108. Stück von 8. Sept. Göttingen, 1770, стр. 937—939.

7 «Neue Zeitungen von gelehrten Sachen auf das Jahr 1769», № 3, стр. 18—20.

8 Biographie universelle ancienne et moderne, t. 12, стр. 575.

ложены две карты южной и северной России. Перевод сделан Марком Антуаном Эду, плодовитым, но не всегда точным переводчиком XVIII в.

В предисловии Эду говорит, что в переводимом им сочинении речь идет о народе, о котором до сих пор известно мало. Отдаленность эпохи, географическое положение страны, незнание языка, скудость материалов способствовали тому, что все написанное о России окутано таким мраком, что невозможно отличить правду от вымысла. Для ознакомления с историей страны Эду обратился к Пуфендорфу, но не нашел там сведений. Ломоносов, русский по происхождению, хорошо владеющий родным языком и необходимыми материалами, составил историю своей страны. Он сделал все возможное, чтобы выполнить взятую на себя задачу; доказательством успеха работы служит появление немецкого перевода. Все в этом сочинении ново и занимательно. Переводчик просит его извинить, если в переводе обнаружатся ошибки, это произошло от сложности текста и трудности языка, с которого сделан перевод. Эду говорит: «...c'est moins à moi que le Public en est redevable, qu'à un homme (здесь сделана сноска и на полях вставлено: «M. le Baron d'Holbach») distingué par sa probité, ses lumières et son amour pour les lettres, lequel a eu la bonté de me prêter l'original Allemand».[9] Это сообщение Эду показывает, что «История» Ломоносова не прошла незамеченной в кругу энциклопедистов, и Гольбах считал необходимым ознакомить с ней французских ученых, предоставив свой экземпляр книги для перевода.

Перевод Эду, следующий немецкому тексту Бакмейстера, не всегда, точен, в некоторых случаях это объясняется небрежностью. Он называет великую княгиню Ольгу императрицей; передавая эпизод с пророчеством жреца о смерти Олега, Эду пишет про коня: «...il l'envoya dans une province eloignée» («...он его отправил в отдаленную провинцию»), хотя у Бакмейстера текст Ломоносова переведен точно: «...поставить и кормить на особливом месте».

В некоторых случаях приходится подозревать Эду в сознательном пропуске текста. Во фразе: «Троя, Антенором созданная на берегу Адриатическом — во имя прежнего отечества, также Новая Ишпания, Франция, Англия и другие новые преселения, и в самой славянской Померании Новые Римы» — у Эду опущен конец, начиная со слов «во имя прежнего отечества». У Ломоносова фраза о том, что в прусский язык вошли многие латинские слова, кончается следующими словами: «с коими готские от сообщества с норманцами и ливонские по соседству великую

[9] «...публика менее обязана мне, чем человеку, выдающемуся своим прямодушием, своею просвещенностью и своей любовью к науке, который был так добр, что снабдил меня немецким оригиналом». На полях глосса: «г. барон Гольбах».

произвели в нынешнем наречии отмену»; в переводе Эду эта часть отсутствует. Полностью опущена фраза: «Шведы и датчане, несмотря что у их грамота едва ли не позже нашего стала быть в употреблении, первых своих королей прежде рождества Христова начинают, описывая их домашние дела и походы». В рассказе о том, что для выбора человеческой жертвы «жрецы метали жеребей, который нарочно направили, чтобы пал па сына некоторого в Киеве жившего знатного варяга, христианство содержащавшего», опущено указание, что метание жребия было подтасовано и пало на варяга.

Сохранив почти все подстрочные примечания Бакмейстера, Эду добавил несколько новых: о том, что страна Wagren, или Wagerland, находится в Германии; объяснил слово «посадник». Любопытное примечание сделано к седьмой главе второй части, где Ломоносов говорит о кротости Владимира после крещения: «... когда и для достойной казни не хотел единого человека лишить жизни». Эду делает сноску: «La defunte imperatrice de Russie (Elissbeth) a imité son exemple» («Покойная русская императрица Елизавета подражала его примеру»).

Во французском переводе имеется несколько неточностей, связанных с тем, что в шрифте немецкого текста прописные буквы «K» и «R» по начертанию очень похожи. Там, где речь идет о Киеве, название передается правильно, но уже «по горам Киевским» переведено «les montagnes de Riewitsch», названы «Рий» вместо «Кий», «Рупала» вместо «Купала», «Роляда» вместо «Коляда».

В общем, перевод Эду можно признать немного вольным, но удовлетворительным.

Принято считать, что были три французских издания «Древней российской истории». Помимо указанного, второе: Histoire de la Russie, depuis l'origine de la nation Russe jusqu'à la mort du grand duc Jaroslaws premier. Par Michel Lomonossow... Traduit de l'Allemand par M* * * *. Paris, chez Dupour, chez Gostard, 1773, и третье издание: Nouvelle histoire de la Russie, depuis l'origine de la nation Russe, jusqu'à la mort du Grand-Duc Jaroslaws premier. Par Michel Lomonossow... Traduit de l'Allemand par M. E * * *. Paris, chez Nyon, 1776.

Детальное сличение изданий показало, что все три издания отпечатаны с одного набора; очевидно, тираж не разошелся и дважды был пущен в продажу с новым титульным листом. В обоих переизданиях приложены те же карты России. В экземпляре третьего издания, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке, имеются разрешение на печатание, королевская привилегия и список книг, продающихся у де-Вента, которые были приложены к первому изданию; это косвенно подтверждает, что в третьем издании механически заменен титульный лист.

К сожалению, мы не можем судить, вызвал ли французский перевод «Истории» Ломоносова интерес во Франции. Комплекты «Journal des Savants» за 1766—1776 гг. не полны как в Государственной Публичной библиотеке, так и в Библиотеке Академии наук СССР, и нет возможности сказать, появился ли в журнале отзыв на книгу. Можно предполагать, что особой популярностью она не пользовалась, что и заставило издателей выпускать ее в продажу под видом новых изданий.

Значительно позднее в «Biographie universelle» «Древняя российская история» оценена положительно: «Il entreprit aussi d'écrire l'histoire ancienne de sa nation; et le volume qu'il publia, résulta de recherches profondes, lui fit le plus grand honneur; [10] далее указывается на наличие немецкого перевода и французского 1769 г. В каталоге Парижской Национальной библиотеки приведено только первое издание 1769 г.; в личной библиотеке Вольтера книга вообще отсутствует. В Библиотеке Академии наук СССР также имеется только первое издание.

Судя по просмотренным сочинениям по истории России на иностранных языках, «Древняя российская история» Ломоносова была недостаточно широко известна за рубежом. В ряде работ упоминаются имена русских историков, но это имена академиков-немцев Байера, Миллера, позднее Шлецера, иногда имеются указания на «Синопсис»; в некоторых случаях упоминается «История России» Вольтера.

Даже Н.-Г. Леклерк, проживший несколько лет в России, избранный 11 апреля 1765 г. академиком, в своем трехтомном труде «Физическая, моральная, гражданская и политическая история древней России» [11] упоминает только «Историю Российскую» Щербатова.

В своем пятитомном труде «История России» Левек [12] дает список использованных им источников с краткой их характеристикой. Он пользовался рукописями, летописями и рядом работ русских историков. «Древнюю российскую историю» Ломоносова он характеризует следующим образом: «Auteur était le meilleur poète de sa nation et est en même temps un exellent ecrivain en prose; mais il n'avait pas cette saine critique qui est la première qualité d'un historien».[13]

---

[10] Biographie universelle, t. 24. Paris, 1819, стр. 661. «Он предпринял также написание древней истории своего народа, и напечатанная им книга, являющаяся результатом глубоких исследований, создала ему большую славу».

[11] Le Clerc. Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne, tt. 1—3. Paris, 1783.

[12] Levesque. Histoire de la Russie, tt. 1—5. Paris, 1782.

[13] Там же, т. 1, стр. XXIII. «Автор был лучшим поэтом нации и одновременно превосходным писателем в прозе; но у него отсутствовала та здравая критика, которая является первым качеством историка».

В 1802 г. вышел пятитомный труд А.-Л. Шлецера «Нестор».[14] Шлецер довольно пренебрежительно отзывается о состоянии русской исторической науки: «Freilich hat man seit 120 Jahren, vorzüglich aber erst seit 40 Jahren, im Lande selbst Hand-Bücher und grössere Werke über die Landesgeschichte, von der Synopsis an bis zur Kratk. (aja) Istor. (ja), durch Tat(iszew), Lom(onossov), Emin und Sczerb(atow) hindurch, drucken zu lassen; aber nicht Eines darunter ist von einem eigentlichen Geschichts-Gelehrten, an den doch die geringste aller Foderungen (!) wäre, dass er Latein, Deutsch und Französisch verstünde und auswärtige Bücher-Kentnisse besässe. Auch konnten jene Inländer schon deswegen nichts Brauchbares liefern, weil sie selbst noch keine gereinigten Quellen hatten aus denen sie schöpfen müssten».[15]

О «Древней российской истории» Шлецер дает очень краткий отзыв: «So war also doch nun ein erträgliches Handbuch der Russischen Geschichte vorhanden».[16]

На английский язык «Древняя российская история» не была переведена. Очевидно, в Англии Ломоносов был известен по ранним изданиям собраний сочинений, где в первых томах помещались его поэтические произведения и произведения, касающиеся русского языка. Первый по времени обнаруженный нами отзыв[17] оценивает Ломоносова в основном как поэта и реформатора языка. Затем сказано: «Besides these various subjects Lomonosof made no inconsiderable figure in history, having published two small works relative to that of his own country... the second is the Antient (!) History of Russia, from the origin of the nation to the death of the great-duke Jaroslav I in 1054; a performance of great merit, as it illustrates the most difficult and obscure period in the annals of this country».[18]

---

[14] A. L. Schlözer. Нестор. «Russische Annalen in ihrer slavonischen Grundsprache verglichen, übersetzt und erklärt», Bd. 1—5, Göttingen, 1802—1809.

[15] Там же, т. 1, стр. 82. «Правда, уже в течение 120 лет, и преимущественно за последние 40 лет, в самой стране (России, — *Т. Б.*) печатались руководства и более крупные произведения по истории страны от Синопсиса до Краткой истории, Татищевым, Ломоносовым, Эминым и Щербатовым. Но ни одна среди этих работ не написана настоящим ученым-историком, которому можно было бы предъявить как наименьшее требование понимание латыни, немецкого и французского и знание иностранной библиографии. Не могли также эти русские создать что-нибудь пригодное и потому, что у них не было очищенных источников, из которых они должны были черпать».

[16] Там же, стр. 95. «Итак, наконец, появилось сносное руководство по русской истории».

[17] William Coxe. Travels into Poland, Russia, Sweden and Denemark..., vol. 2. London, 1784, vol. 1, стр. 198—199.

[18] «Помимо этих разнообразных предметов Ломоносов являлся весьма заметным историком, опубликовав две небольшие работы, относящиеся к истории его собственной страны... вторая — это Древняя история России

В третьем издании «Encyclopaedia Britannica[19] Ломоносову посвящен целый столбец; после оценки его поэтических и прозаических произведений говорится о нем как о химике, и лишь в конце статьи дается оценка Ломоносова как историка, из слова в слово повторяющая фразы из книги Кокса.

Эта высокая оценка, по-видимому, долго держалась в Англии; в издании 1824 г.[20] только упоминается «История» Ломоносова, о которой сказано: «сочинение большого достоинства».

Вторая историческая работа Ломоносова «Краткий российский летописец»[21] пользовалась за рубежом большей известностью и чаще упоминалась. Она была переведена на английский язык (1767 г.) и дважды на немецкий (1765 и 1771 гг.). Хронологические таблицы русских князей постоянно использовались западными историками. Однако первые шесть страниц этой книги, где Ломоносов в конспективной форме повторил свои взгляды на происхождение русского народа, вызывали всегда резкие отзывы.

Современники не смогли оценить сделанного Ломоносовым крупного вклада в русскую историческую науку. Вопреки утверждениям Шлецера, Ломоносов применял подлинно научные методы изучения русских и иностранных источников, дал передовые для своего времени истолкования документов, создал представление о древней русской истории, близкое с современному, хотя не все его положения оказались правильными.

Как мы видели, заслуги Ломоносова в области истории были признаны в Англии, пробудили меньше интереса во Франции и вызвали резкие нападки в Германии. Это вполне объяснимо. Академия наук была гораздо ближе связана с немецким ученым миром; там несомненно было известно о борьбе Ломоносова с академиками Миллером и особенно Шлецером, придерживавшимися иных, чем он, взглядов на русскую историю, и это, конечно, при связях обоих его противников с современной им немецкой журналистикой, не могло не наложить отпечатка на отношение к «Истории» Ломоносова в Германии.

от происхождения этой нации до смерти великого князя Ярослава в 1054 г.; сочинение большого достоинства, так как оно разъясняет трудный и неясный период в летописях этой страны».

[19] Encyclopaedia Britannica. Third edition. (Ed. by C. Macfarquhar and C. Gleig). Vol. 1—18. Edinburgh, 1797, vol. 10, стр. 232.

[20] R. Watt. Bibliotheca Britannica or a general index to Britisch and foreign literature, vol. 1—4. Edinburgh, 1824, vol. 2, authors, стр. 615.

[21] Краткой российской летописец с родословием. Сочинение Михайла Ломоносова. СПб., 1760. «Летописец», написанный после «Древней российской истории», был напечатан раньше.

М. Я. МЕЛЬЦ

ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО И МОРСКОЙ ЦАРЬ В ПОЭМЕ «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

В первой песне поэмы М. В. Ломоносова «Петр Великий» (1761 г.) строки 170—220 посвящены подводному царству и морскому царю. В них описаны пышные чертоги из кораллов и витых раковин, создан величественный образ владыки, подобного «волнам седым», богато одетого, сидящего на троне из янтаря и жемчуга, с порфирой и сапфирным скипетром; упомянуты сирены и чудища морские. Естественно, что такая красочная картина — единственная в русской литературе XVIII в. — привлекла внимание исследователей, которые увидели в ней отражение поэтичности устного народного творчества. Впервые на это указал А. Н. Соколов: «...в образе Морского царя русский поэт восходит ... к колоритному образу русских былин и сказок, которые хорошо были знакомы уроженцу нашего Севера, столь богатого фольклором».[1] Такого же мнения придерживается С. Ф. Елеонский: «Обрисованный Ломоносовым в поэме „Петр Великий" мифический образ Нептуна, несмотря на свое античное имя, походит, пожалуй, больше на морского царя русских былин (или сходных по сюжету сказок)».[2] Однако это положение требует фактической проверки.

Действительно, как доказывают современные литературоведы и фольклористы,[3] Ломоносов хорошо знал русскую устную поэзию: пословицы,[4] песни (даже не зафиксированные собирате-

[1] А. Н. Соколов. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. М., 1955, стр. 107.

[2] С. Ф. Елеонский. Литература и народное творчество. Пособие для учителей средней школы. Учпедгиз, М., 1956, стр. 55.

[3] П. Н. Берков. 1) Ломоносов и народное творчество. «Научный бюллетень Ленинградского университета», 1945, № 4, стр. 33—36; 2) Ломоносов и фольклор. В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов, II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 107—129; М. К. Азадовский. История русской фольклористики. Учпедгиз, М., 1958, стр. 88.

[4] Г. И. Бомштейн. 1) Русское народное поэтическое творчество как материал филологических работ Ломоносова. «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», 1957, т. XVI, вып. 2, стр. 158—168; 2) Антиклерикальная поэзия Ломоносова и русские народные пословицы. «XVIII век», сб. 3, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 65—90.

лями), плачи, сказки, былины (до нас дошли выписки, сделанные им, вероятно, из цикла о Садко: «Насад, звончаты гусли, понизовной, низовской» и т. д.). В 50-х годах XVIII в., ко времени замысла поэмы, фольклор становится предметом научных изысканий Ломоносова. В рукописях этого периода сохранились материалы с сопоставлением античных и славянских богов (заготовки для «Древней российской истории», «Российской грамматики», а может быть, Ломоносовым подготовлялся словарь синонимов для специальной работы по мифологии). В таблицах, или «нотах», подчеркивается соответствие античных божеств русским фольклорным образам: Нептун — царь морской, Тритоны — чуда морские и т. п.[5]

В русском народном творчестве эпизод встречи героя с подводным владыкой фигурирует в произведениях о Садко (былины и сказки), а также в сказочных повествованиях о водяном царе и чудесном бегстве.[6]

Новгородская былина о Садко, особенно в 3-й части (подводное царство), весьма архаична и сохранилась довольно плохо (возможно, что этот мотив был внесен в эпос из сказки).[7] Опубликовано всего около 40 вариантов, которые распадаются на несколько групп, причем наиболее полными и художественными являются беломорские и олонецкие тексты; в образцах фольклора из других районов эпизод встречи с морским царем подчас вовсе отсутствует.

Былина о Садко считается наиболее характерной именно для Севера, но архангельских записей ее сравнительно мало, хотя сделаны они от крупных мастеров, таких, как Г. Л., А. М. и М. С. Крюковы — представители трех поколений знаменитой семьи сказителей. Два варианта опубликовал А. Марков.[8] В трехтомном собрании А. Д. Григорьева «Архангельские былины и исторические песни» на 424 номера приходится лишь один текст «Садко», снабженный следующим примечанием: «Старину о Садке Е. Д. Садков считал своим долгом знать ввиду носимой

---

[5] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 709.

[6] Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Изд. Русск. геогр. общ., Л., 1929, № 313, стр. 28.

[7] В. Я. Пропп. Русский героический эпос, изд. 2-е. Гослитиздат, М., 1958, стр. 87—109; А. М. Астахова. Былины Севера, т. II. Прионежье, Пинега и Поморье. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 793—794; Р. С. Липец. Местные мотивы в былине о Садко у М. С. Крюковой и других сказителей. В кн.: Былины М. С. Крюковой, т. II. Изд. Гос. литературного музея, М., 1941, стр. 719—767.

[8] Беломорские былины. М., 1901, № 21, стр. 135—139; № 95, стр. 491—493.

им самим фамилии».[9] Одна былина опубликована в «Трудах музыкально-этнографической комиссии» (т. I, М., 1906, № 17). Развернутый вариант дала М. С. Крюкова (Былины, т. II, № 78); в репертуаре М. Д. Кривополеновой сюжет о Садко не зафиксирован.

Ни в одной из известных записей нет описания подводных владений и внешнего облика царя. Обычно певцы только констатируют встречу героя с морским повелителем(который всегда именуется в былинах морским царем), изредка упоминают белокаменные палаты (в чем можно видеть дань эпической традиционности). Даже М. С. Крюкова, имевшая склонность к развертыванию в обширное повествование отдельных эпизодов, лишь намеченных у других сказителей, ограничивается при рассказе о появлении Садко на дне моря двумя скупыми строками (№№ 415 и 416):

Во ту пору, во то времецко царь морьской же всё
Он сидел, сидел на троне-то на царьском-то.

Исключение составляют варианты олонецкого исполнителя А. П. Сорокина, записанные дважды: сначала П. Н. Рыбниковым (более поэтический текст) и позже А. Ф. Гильфердингом. У Сорокина наличествуют броское пейзажное изображение подводного царства, игры волн и краткое описание внешности царя. В. Я. Пропп высоко оценивает художественную деталь, введенную сказителем; не вызывает сомнения она и у Р. С. Липец, которая допускает возможность влияния былины на картину И. Е. Репина «Садко в подводном царстве».

А волной-то бьет, паруса рвет
. . . .
Проснулся Садке во синем море,
Во синем море на самом дне.
Сквозь воду увидел пекучись красное солнышко,
Вечернюю зорю, зорю утреннюю.
Увидел Садке, — во синем море
Стоит палата белокаменная,
Заходил Садке в палату белокаменну:
Сидит в палате царь морской,
Голова у царя как куча сенная.[10]

В поэме Ломоносова встречаем:

И воду вихрями крутят и к верьху бьют
(Стих 184).

Ни мразы, ни Борей туда не досягают,
Лишь солнечны лучи сквозь влагу проницают.
(Стихи 209, 210).

[9] Т. II, Изд. Чешской Академии наук и искусства, Прага, 1939, № 24 (236), стр. 190.
[10] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, ч. I. М., 1861, стр. 375, 377.

Возможно, что поэтическое описание солнечного луча, пронизывающего водную толщу, пришло к Сорокину из литературы. Он был грамотным человеком, общался с различными людьми: в его избе останавливались проезжающие, которых он развлекал пением старин. Как указывает А. Ф. Гильфердинг, Сорокин «имел склонность к сочинительству», привнесению дополнительных моментов, пробовал распевать сказки в виде былин. Тем не менее при разработке почти совсем неизученной проблемы взаимоотношения творчества Ломоносова с устной поэзией [11] следует так или иначе принять во внимание близость художественных деталей произведений северного сказителя и великого русского писателя.[12]

Записей сказок о Садко совсем мало; [13] в них и в немногочисленных вариантах повествований о герое, опускающемся на дно моря,[14] нет не только величественного, но даже в какой-либо мере подробного описания подводного царства и его владыки. Любопытное сопоставление имеется в одной из сказок собрания А. Н. Афанасьева (без указания места записи): Иван-царевич видит, что в подводном мире «и там свет такой же, как у нас; и там поля, и луга, и рощи зеленые, и солнышко греет»,[15] — последняя деталь весьма отдаленно перекликается с поэтическим штрихом Сорокина.

Итак, при описании подводного царства в поэме «Петр Великий» Ломоносов лишь в самом общем плане отталкивался от русских былин и народных сказок; создавая эпическое произведение по канонам XVIII в., он привнес в него обязательный мифологический элемент и традиционную торжественную тональность. А. Н. Соколов подчеркивает, что «Ломоносов подходит к мысли о замене античной мифологии в русской эпической поэме мифологией отечественной или во всяком случае о равноправии обеих мифологических систем. Там, где в картине моря Ломоносов рисует мифологический *образ*, он опирается на русское народное творчество, оставляя имя Нептуна в качестве

[11] Библиографию вопроса см.: Г. И. Бомштейн. Роль Ломоносова в истории русской этнографии и фольклористики. В кн.: Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии, вып. I. Изд. АН СССР, М., 1956 (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, Новая серия, т. XXX), стр. 85.

[12] П. Н. Берков отмечает наличие в поэме непосредственных отголосков народной поэзии; так, слово «ветер» дважды дано с эпитетом «буйный» (Ломоносов, Сборник статей и материалов, II, стр. 113).

[13] Н. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1908, № 90, стр. 241—243.

[14] См., например: А. М. Смирнов. Сборник великорусских сказок архива Русского географического общества, вып. II. Пгр., 1917, №№ 280 и 281, стр. 728—733.

[15] А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки в трех томах, т. 2. Гослитиздат, М., 1957, № 222, стр. 187.

метонимического, по теории Феофана Прокоповича, обозначения моря».[16] Такое новаторство не было до последнего времени правильно понято, и даже В. Г. Белинский, не говоря уже об А. Н. Пыпине, именно в этом видел причину творческой неудачи писателя и незавершенности поэмы. „Понятно, — замечает Белинский, — почему Ломоносов не кончил своей дикой, напыщенной поэмы: у него было от природы столько здравого смысла и ума, что он не мог кончить подобного tout de force воображения, поднятого на дыбы“».[17]

В художественной практике Ломоносов-писатель шел не путем прямого, формального использования русского фольклора, а творчески переосмыслял образы отечественной народной поэзии в духе литературных традиций своего времени.

---

[16] А. Н. Соколов. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века, стр. 107—108.

[17] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 110.

Г. Н. МОИСЕЕВА

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТРАГЕДИИ М. В. ЛОМОНОСОВА «ТАМИРА И СЕЛИМ»

В октябре 1750 г. М. В. Ломоносов закончил работу над трагедией «Тамира и Селим», которую он писал по приказу императрицы Елизаветы Петровны с мая того же года.[1] Свое новое произведение М. В. Ломоносов читал И. И. Шувалову, которому трагедия, по-видимому, понравилась, так как вскоре дважды состоялось представление «Тамиры и Селима» при дворе.[2] В ноябре 1750 г. она была издана «первым тиснением», а на следующий год переиздана обычным по тому времени тиражом (600 экземпляров).[3]

Можно полагать, что одной из причин успеха трагедии «Тамира и Селим» явился выбор самой темы. В трагедии раскрывались героические страницы русской истории: победа русских войск во главе с великим князем московским Дмитрием Ивановичем над татарами на поле Куликовом.

В науке давно уже высказана точка зрения, что основа сюжета этой трагедии была целиком заимствована М. В. Ломоносовым из «Синопсиса», откуда он почерпнул не только тему произведения, но даже и характеристики действующих лиц.[4] Новейшие исследователи подтверждают эту точку зрения,[5] добавляя, что М. В. Ломоносов в работе над трагедией «Тамира и Селим» заимствовал материал и из повести о Мамаевом побоище.[6]

События, связанные с освещением Куликовской битвы, получили в литературе разнообразное отображение: «о Куликовской битве рассказывают «Задонщина», Летописная повесть и Сказание о Мамаевом побоище.[7] Последнее из произведений — Сказа-

---

[1] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 8, Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 971. (Далее: Ломоносов, с указанием тома и страницы).

[2] Там же, т. 10, стр. 468—469.

[3] Там же, т. 8, стр. 972.

[4] В. И. Резанов. Трагедии Ломоносова. «Ломоносовский сборник», СПб., 1911, стр. 238—241.

[5] Ломоносов, т. 8, стр. 973.

[6] Там же.

[7] Л. А. Дмитриев. К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище. В кн.: Повести о Куликовской битве. М.—Л., 1959, стр. 406.

ние о Мамаевом побоище — дошло в огромном количестве списков, образуя своеобразные циклы, имеющие иногда очень сложное происхождение.[8]

Какими же повестями из цикла произведений о Мамаевом побоище воспользовался М. В. Ломоносов при создании трагедии «Тамира и Селим»?

Естественно думать, что Сказание о Мамаевом побоище М. В. Ломоносов знал в том виде, в каком оно вошло в 3-е издание «Синопсиса» (1680 г.), где впервые оно было опубликовано целиком.[9] Но еще В. И. Резанов отмечал ряд расхождений в описании Куликовской битвы между «Синопсисом» и трагедией М. В. Ломоносова (например, последовательность моментов боя, описание выступления «засадного полка»).[10] Главное же отличие между Сказанием о Мамаевом побоище в редакции «Синопсиса» и трагедией М. В. Ломоносова — в описании гибели Мамая. В «Тамире» (д. III, явл. 1 и 2) он приезжает в Кафу, скрывая от крымцев свое поражение в Куликовской битве. Его принимают как победителя. Царь Мумет готов даже выдать замуж за могущественного хана, каким представляет себя Мамай, свою дочь Тамиру. И только случай раскрывает истинное лицо Мамая. Он гибнет в схватке с кафинским царевичем Нарсимом, к которому приходит на помощь возлюбленный его сестры Тамиры, багдадский полководец Селим. По Сказанию о Мамаевом побоище, входящему в состав «Синопсиса», Мамая убивают во время бегства его приближенные «князи» после разгрома на поле Куликовом.[11] Если исключить в описании гибели Мамая романтическую фабулу (роль багдадского царевича Селима, возлюбленного кафинской царевны Тамиры), явно вымышленную М. В. Ломоносовым согласно требованиям жанра классицистической трагедии, то и тогда остается различие в раскрытии образа Мамая и обрисовке его смерти. Откуда же М. В. Ломоносов мог почерпнуть иное по сравнению с «Синопсисом» освещение этих событий?

Повествование о Куликовской битве и гибели Мамая, близкое к тому, которое мы видим в трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим», отражено в так называемой «киприановской» редакции Сказания о Мамаевом побоище, входящей в состав Никоновской летописи.[12] Первое издание Никоновской летописи начало

[8] Там же, стр. 406—447.

[9] С. Л. Пештич. «Синопсис» как историческое произведение. «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР», т. XV, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 285.

[10] В. И. Резанов. Трагедии Ломоносова, стр. 239—240.

[11] Синопсис, или краткое описание от различных летописцев о начале славянского народа, изд. 5-е. СПб., 1762, стр. 176.

[12] Л. А. Дмитриев. Обзор редакций «Сказания о Мамаевом побоище». В кн.: Повести о Куликовской битве. М.—Л., 1959, стр. 476—479. Как ука-

выходить в 1767 г. под редакцией А. Шлецера и С. Башилова.[13] М. В. Ломоносов не принимал участия в подготовке этого издания.[14] До выхода историко-литературных работ М. В. Ломоносова: «Краткого российского летописца» (1760 г.) и «Древней российской истории об начале российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 г.» (напечатана в 1766 г., после его смерти), подготовкой которых он занимался начиная с середины 50-х годов XVIII в., — мы не имеем возможности судить о его знакомстве с Никоновской летописью. Между тем трагедия М. В. Ломоносова «Тамира и Селим» свидетельствует об очевидном использовании автором данных этой летописи, что сказывается не только в описании смерти Мамая, но и в рассказе о последовательности моментов боя.

В трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим» Нарсим, крымский царевич, посланный отцом на помощъ Мамаю, рассказывает о Куликовской битве (д. V, явл. 4):

Уже чрез пять часов горела брань сурова,
Сквозь пыль, сквозь пар едва давало солнце луч».[15]

В «киприановской» редакции Сказания о Мамаевом побоище сообщается, что татары вначале одолевали русских, так как солнце слепило им глаза и «веаше ветр велий противу им в лице и бьяше зело».[16] Когда же солнце стало светить в спины русским воинам и «внезаапу потяну ветр созади их, понужаа их изыти на татар,»[17] они стали одерживать победу. О пыли, поднятой ветром, М. В. Ломоносов не мог узнать из рассказа «Синопсиса». Описание «видения» «аггелов», помогающих «христианом», приурочено в «киприановской» редакции Сказания к моменту окончательной победы русских над татарами, — это «видение» поразило Мамая

зывает С. К. Шамбинаго, «киприановская» редакция Сказания о Мамаевом побоище создана на материале «летописной» редакции этого Сказания, которое основывается в значительной степени на исторических данных XIV в. — синодиках убитых в бою, летописных записях современников и др. (С. К. Шамбинаго. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, стр. 48—134).

[13] Русская летопись по Никонову списку, изданная под смотрением императорской Академии наук, 44. I—VIII. СПб., 1767—1792. Подготовка Никоновской летописи к изданию началась в 1762 г. (см.: Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947, стр. 475).

[14] Отрицательное отношение к подготавливаемому А. Шлецером изданию русских летописей изложено М. В. Ломоносовым в отзыве о плане его работ (см.: Ломоносов, т. 9, стр. 411—416) и в «Представлении в Сенат о копировании А.-Л. Шлёцером неизданных исторических рукописей» (там же, стр. 416—417).

[15] Ломоносов, т. 8, стр. 360.

[16] Полное собрание русских летописей, т. XI. СПб., 1897, стр. 60—61.

[17] Там же, стр. 61.

и его приближенных. Они «со страхом, велми восстонав и рече: „Велик бог крестианеск, велика сила его!“».[18] В «Синопсисе» о «видении» говорится перед моментом ослабления русской рати: оно («видение») явилось стимулом выступления засадного полка.

В описании Куликовской битвы М. В. Ломоносов следует рассказу Никоновской летописи. Нарсим передает, что в момент напряженного сражения русских с татарами «сила Росская, поднявшись из засады с внезапным мужеством, пустилась против нас, —

Тогда над Росскими полками отворились
И ясный свет на них спустили небеса».[19]

Все эти сопоставления свидетельствуют о том, что М. В. Ломоносову была известна так называемая «киприановская» редакция «Сказания о Мамаевом побоище», отраженная в Никоновской летописи.

Особенно ясно обращение к данным этой летописи проявилось в описании гибели Мамая. В Никоновской летописи рассказано, что после поражения на Куликовом поле «Мамай со остаточными своими князи не во мнозе дружине учете з Доновскаго побоища и прибежав в свою землю, пакы начят на великого князя Дмитрия Ивановичя гневатися и яритися».[20] Собрав «многую силу», он снова идет в поход на Русскую землю, но встречается с ханом «Синии орды» — Тахтамышем. На Калке «бысть им бой». Побежденный Мамай «вниде ... в Кафу з думцы своими и с единомысленикы своими, и со множеством имениа, злата и сребра и камениа и жемчюга».[21] По рассказу этой летописи, Мамай был убит кафинцами.

В 1748 г. в Санкт-Петербург из Астрахани приехал В. Н. Татищев. Он привез в Академию наук свой многолетний труд — «Историю российскую с самых древнейших времен», состоящую из четырех частей. «Предизвещение», первая и вторая части «Истории» были им окончательно отредактированы и переписаны набело.[22] Третья и четвертая части обработаны до конца не были (не снабжены примечаниями), но они имели основу — текст Никоновской летописи, данные которой В. Н. Татищев предполагал пополнить известиями из других летописей.[23] В январе 1749 г. М. В. Ломоносов прочел «Историю российскую» и сообщил В. Н. Татищеву

[18] Там же, стр. 63—64.
[19] Ломоносов, т. 8, стр. 362.
[20] Полное собрание русских летописей, т. XI, стр. 68—69.
[21] Там же, стр. 69.
[22] С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века. Л., 1961, стр. 232—236.
[23] Там же, стр. 235—236.

свои замечания.[24] Тогда же по просьбе автора он написал «Посвящение» «Истории» Петру III.[25]

Об отношении к работе В. Н. Татищева свидетельствует письмо М. В. Ломоносова, в котором он очень высоко оценивает его «Историю».[26]

Рассказ о Куликовской битве и о гибели Мамая, основанный на данных Никоновской летописи, находился в третьей части «Истории российской».[27]

В «Истории» В. Н. Татищева находим сведения о выступлении засадного полка в тот момент, «егда ветр потяну руским в тыл и солнце созади ста, а татарам в очи»,[28] и окончание битвы во время яркого захода солнца[29] (ср.: «ясный свет на них спустили небеса»); именно это совпадение ясно показывает, что М. В. Ломоносов пользовался данными не непосредственно Никоновской летописи, а рассказом В. Н. Татищева, основанным на этой летописи. Из «Истории российской» М. В. Ломоносов почерпнул и описание гибели Мамая, пришедшего в Кафу «с думцы своими и единомысленниками своими со множеством имения, злата, и сребра, и каменья и жемчуга».[30] Он погиб от рук «кафимцев», сотворивших «над ним лесть».[31]

Таким образом, выясняется вероятный источник знакомства М. В. Ломоносова с данными «киприановской» редакции Сказа́ния о Мамаевом побоище, находящейся в составе Никоновской летописи. Творческое общение В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова способствовало тому, что красочный и вместе с тем наиболее исторически достоверный рассказ из цикла повестей о Куликовской битве оказался художественно претворенным в трагедии «Тамира и Селим».

Этот вывод представляется тем более убедительным, что при подборе материала для «Древней российской истории» М. В. Ломоносов, как пишет он сам в отчете президенту Академии наук за 1751 г., использовал в числе других источников и «Историю» В. Н. Татищева.[32]

[24] П. П. Пекарский. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 34—36.

[25] Ломоносов, т. 10, стр. 463—464.

[26] Там же, стр. 461—462.

[27] В. Н. Татищев. История российская с самых древнейших времен, кн. IV. СПб., 1784, стр. 261—291. При издании в 1768 г. «Истории российской», «Предизвещение» было напечатано как часть первая, и, таким образом, в настоящее время этот рассказ читается в четвертой части (См.: С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, стр. 274).

[28] В. Н. Татищев. История российская с самых древнейших времен, кн. IV, стр. 279.

[29] Там же.

[30] Там же, стр. 290—291.

[31] Там же, стр. 291.

[32] М. В. Ломоносов, т. 10, стр. 389.

М. М. ДЫХНЕ

ЗАМЕТКИ К ТЕКСТУ «ПИСЬМА О ПОЛЬЗЕ СТЕКЛА» М. В. ЛОМОНОСОВА

I

В «Письме о пользе стекла» обращает на себя внимание та его часть, которая посвящена теме, исключительно свежо и ярко звучащей в наши дни, — теме осуждения колониальных захватов и колониальной эксплуатации. Речь идет о стихах 145—185, которые, надо сказать, не привлекли внимания исследователей поэтического творчества Ломоносова.[1]

В этих стихах своего «Письма о пользе стекла» он дает сжатую, но удивительно точную, исторически верную картину открытия и завоевания испанцами Центральной и Южной Америки. Перед взором читателя проходят основные этапы одной из самых кровавых страниц мировой истории: открытие Америки, разгром алчными конкистадорами древних цивилизаций Мексики и Перу, бесчеловечная эксплуатация индейцев в печально знаменитых серебряных рудниках Потоси (Верхнее Перу, нынешняя Боливия), караваны галионов с золотом, плывущие через Атлантику, флибустьеры, англо-испанское морское соперничество. Важно подчеркнуть, что к оценке этой цепи явлений Ломоносов подходит с прогрессивных философско-исторических позиций. Он прежде всего говорит о трагической судьбе коренного населения Америки — индейцев, тут же указывая на основной экономический стимул великих географических открытий и конкисты — жажду золота:

Им оны времена не будут в век забвенны,
как пали их отцы, для злата побиенны.[2]

Такая позиция позволяет Ломоносову в следующих стихах вскрыть острое противоречие эпохи — противоречие между огром-

---

[1] Например, в комментариях к новейшему «Полному собранию сочинений» Ломоносова мы найдем упоминание об этих стихах, но только упоминание — всего несколько строк, без какого-либо анализа (М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 8, АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 1007, прим. 8).

[2] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 8, АН СССР. М.—Л., 1959, стр. 514. (Далее все ссылки на этот том даются в тексте).

ным значением открытия Америки для познания поверхности нашей планеты и трагическими последствиями этого открытия для индейцев:

О коль ужасно зло! На то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег,
На то ли, разрушив естественны пределы,
На утлом дереве обшол кругом свет целый,
За тем ли он сошел на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепого врага?
(Стр. 514).

Поэт говорит о губительной силе золота, со всей силой ненависти и возмущения обрушивается на европейцев-завоевателей, безжалостно истреблявших коренное население покоренных стран:

С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом, и тиранством.
Иных, свирепствуя, в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.
Смятение и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тиранны,
Препятствовали им подземну хлябь крепить,
Чтоб тягота над ней могла недвижна быть.
Обрушилась гора; лежат в ней погребенны
Бесчастные или по истине блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и мук![3]
(Стр. 514).

Нельзя не упомянуть в этой связи шеститомную «Философскую и политическую историю о заведениях и коммерции Европейцев в обеих Индиях» (1770) видного деятеля французского Просвещения и историка аббата Гийома Рейналя (1713—1796). Книга эта была создана при участии Д. Дидро и П. Гольбаха. Многие описания Рейналя явно перекликаются со стихами 145—185 ломоносовского «Письма о пользе стекла».[4] Весьма вероятно, что часть сведений Ломоносова и Рейналя об эксплуатации индейцев восходит к одному общему первоисточнику — трактату Бартоломе де Лас Касаса (1474—1566) «Кратчайший рассказ о разрушении Индии»,[5] неоднократно переводившемуся в XVI—XVIII вв. на французский, итальянский и другие европейские

[3] В переводе оды Ж.-Б. Руссо «На счастье» (1759 г.) Ломоносов вновь осуждает завоевателей, которые ценой крови порабощенных создавали себе славу и богатство.

[4] Г. Рейналь. Философская и политическая история о заведениях и коммерции Европейцев в обеих Индиях, тт. I—VI. СПб., 1805—1811, т. II, 1806, стр. 365, 366; т. III, 1806, стр. 321, 425; т. IV, 1806, стр. 55—58; т. VI, 1811, стр. 4.

[5] B. de Las Casas. Brevissima relacion de la destruicion de las Indias. Sevilla, 1552.

языки. Оставив в стороне вопрос о путях использования этого труда Рейналем, попытаемся выяснить, что же послужило в данном случае непосредственным источником для Ломоносова.

За два—два с половиной столетия, отделяющих эпоху Ломоносова от эпохи открытия и завоевания стран западного полушария, в Европе получили самое широкое распространение многочисленные и разнообразные историко-географические описания испанских владений в Америке. Особенно много таких описаний появляется в XVIII в. Здесь сказалось, с одной стороны, особое внимание общественной мысли эпохи Просвещения к первобытным народам, а с другой — интерес к истории географических открытий и путешествий (в связи с дальнейшим широким развитием в XVIII в. мореплавания и новыми выдающимися географическими открытиями), поскольку историко-повествовательный материал, посвященный Америке, неизменно включался в различные труды по истории путешествий. Труды эти в подавляющей своей части носили чисто компилятивный характер; для описаний путешествий Колумба, завоевания Мексики и Перу, колониального режима в испанских владениях авторы используют — обычно из вторых и третьих рук — данные испанских хронистов XVI в.: Петра Мартира, Овьедо, Гомары, Эрреры и, конечно, Лас Касаса, ибо только у него могли быть почерпнуты описания жестокостей испанцев в колониях.

Нельзя исключить возможность непосредственного знакомства Ломоносова с трактатом знаменитого испанского хрониста: в его распоряжении вполне мог оказаться выполненный Бельгардом (на рубеже XVII и XVIII вв.) французский перевод этого и других произведений Лас Касаса под общим названием «Открытие Западных Индий испанцами».[6] Но также возможно, что сведения о завоевании Америки и эксплуатации ее коренного населения были почерпнуты Ломоносовым из тех историко-географических трудов, о которых говорилось выше. В какой-то мере таким источником могла послужить книга Шарлевуа о Вест-Индии[7] или «Всеобщая история путешествий», приписываемая Бельгарду.[8] Весьма

---

[6] B. de Las Casas. La découverte des Indes Occidentales par les Espagnols, Paris, 1697; Amsterdam, 1698; Paris, 1701. В 1701 г., по данным Л. Хэнки, книга выдержала в Париже 5 изданий; см.: L. Hanke. M. Gimenez Fernándež. Bartolomé de Las Casas (1474—1566). Bibliografia critica. Santiago de Chile, 1954, стр. 241, 245—246.

[7] P. F. X. Charlevoix. Histoire de l'isle Espagnole ou de S. Domingue, tt. I—II. Paris, 1732.

[8] Histoire universelle des voyages. Paris, 1707. Указанная книга принадлежит перу Бельгарда по данным «Cataloge générale des livres imprimés de la Bibliotheque nationale» (vol. 119, Paris, 1933, стр. 196) и «A Catalog of Bocks, represented by Library of Congress» (vol. 12, Ann Arbor, 1943, стр. 188).

вероятно знакомство Ломоносова с многотомным трудом аббата Прево д'Экзиль, хотя, строго говоря, к «Письму о пользе стекла» указанное произведение не имеет прямого отношения.[9] Наконец, Л. А. Шуром уже отмечалось, что в русской периодической печати по крайней мере дважды на протяжении первой половины XVIII в. появлялись историко-повествовательные материалы на испано-американскую тему.[10]

Можно предположить, что эти картины навеяны не только и не столько прошлым Америки, сколько современной Ломоносову русской действительностью. Как отмечено С. М. Соловьевым, «с половины 1751 года в разных местах империи начало обнаруживаться явление, которое в следующем году приняло небывалые размеры. Против своих властей ... встали крестьяне монастырей. Крестьяне выступают против заводчиков. Участились побеги в Польшу. Бегство было всеобщим, а не местным явлением».[11] По указаниям В. В. Данилевского, в 40—50-е годы в России «были достигнуты уже значительные успехи в добыче золота и серебра на Урале, Алтае и в Забайкалье, начались усиленные поиски драгоценных металлов в различных местах страны».[12]

Уместно сопоставить посвященные американским сюжетам стихи из «Письма о пользе стекла» с небольшим стихотворением А. П. Сумарокова «О Америке», написанным в 1759 г.:

Коснулись Европейцы суши,
Куда их наглость привела:
Хотят очистить смертным души,
И поражают их тела:
В руке святые держат правы,
Блаженство истинныя славы.
Смиренным мзду и казни злым,
В другой остр меч: ярясь пылают,
И ближним щастия желают,
Подобно как себе самим.[13]

[9] По данным А. Будиловича, М. В. Ломоносов был знаком по крайней мере *с тремя* томами *немецкого* перевода сочинения Прево (см.: А. Будилович. Ломоносов как писатель. СПб., 1871, стр. 262), однако к интересующему нас вопросу немецкое издание не может иметь отношения, так как тома XIII и XV, посвященные открытию и завоеванию Америки, во всех изданиях Прево (два парижских, амстердамское, лейпцигское, гаагское) вышли в свет в 1755 г. и позднее.

[10] Л. А. Шур. Испанская и Португальская Америка в русской печати XVIII—первой четверти XIX в. В кн.: Латинская Америка в прошлом и настоящем. Сборник статей. Соцэкгиз, М., 1960, стр. 344—345.

[11] С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, изд. 3-е, кн. 5, тт. XXI—XXV. СПб., 1911, стр. 686, 702.

[12] Ломоносов. Сборник статей и материалов, т. III. М.—Л., 1951, стр. 213.

[13] А. П. Сумароков, Полн. собр. всех сочинений в стихах и прозе, изд. Н. Новикова, ч. IX, М., 1781, стр. 168.

Нетрудно убедиться, что общая тема — завоевание Америки испанцами — получает у Ломоносова и Сумарокова различную трактовку. Если внимание Ломоносова, как мы попытались показать выше, направлено на раскрытие социально-экономической стороны конкисты, на обличение варварских методов эксплуатации порабощенных индейцев, то у Сумарокова социальные мотивы приглушены, подменяются моралистическими рассуждениями на тему о резком противоречии между официальной целью завоевателей — распространением христианства среди язычников и отнюдь не евангельскими методами претворения этих целей в жизнь.[14]

В дальнейшем обращение к примерам из истории и современного состояния Америки станет характерным и даже традиционным для передовых представителей русской литературы, русской общественной мысли, почти неизменно сочетаясь у них со стремлением в той или иной форме связать эти примеры с насущными вопросами отечественной действительности. Можно напомнить, что изображенные Ломоносовым в «Письме о пользе стекла» гнусные деяния испанцев — грабежи, насилия, убийства — предвосхитили подобную же картину, созданную позднее Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву».[15]

Пытаясь проследить последующие проявления отмеченной традиции, мы сталкиваемся с примечательным стихотворением Н. И. Гнедича «Перуанец к испанцу», написанным в 1805 г. Здесь обращают на себя внимание следующие стихи, идущие целиком в русле ломоносовской интерпретации событий XVI в.

Не прямо, как герой, — как хищник в ночь презренный
На безоруженных, на спящих нас напал.
Не славы победить, ты злата лишь алкал.[16]

И, разумеется, далеко не случайно, что это стихотворение, как уже отмечалось рядом исследователей, получило распростра-

---

[14] Аналогичными моралистическими тенденциями проникнуто и другое — на этот раз прозаическое — произведение А. П. Сумарокова на американскую тему «Разговор в Царстве Мертвых. Кортец и Монтесума. Благость и милосердие потребны Героям» (А. П. Сумароков, Полн. собр. всех сочинений в стихах и прозе, ч. IX ,стр. 269—274). Попутно следует отметить еще одно произведение русской литературы того времени, тематически связанное с конкистой, — комическую оперу И. А. Крылова «Американцы» (И. А. Крылов, Сочинения, т. II, ГИХЛ, М., 1946, стр. 631—686), написанную в 1788 г. и переделанную и изданную А. И. Клушиным в 1800 г.

[15] А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1790, стр. 249—251.

[16] Н. И. Гнедич. Стихотворения, изд. «Библиотеки поэта», Большая серия, изд. 2-е. Л., 1956, стр. 70.

нение в декабристских кругах, и в частности использовалось В. Ф. Раевским для революционной пропаганды среди солдат.[17] Представители первого поколения русских революционеров питали живейший интерес к прошлому Америки в силу двух обстоятельств: с одной стороны, как современники подъема и победы национально-освободительной революции 1810—1825 гг. в странах Латинской Америки, а с другой — как активные антикрепостники, с неизменным сочувствием и солидарностью относившиеся к положению угнетенных в разные времена и в различных странах.

Известна резко отрицательная оценка испанского колониализма В. Кюхельбекером, А. Бестужевым, Н. Тургеневым.[18] «В. Кюхельбекер, — отмечает советский историк Л. Ю. Слезкин, — клеймил суеверия и жестокости, ознаменовавшие все предприятия испанцев и португальцев в Индии и Америке. По его словам, Кортес и Писарро перенесли в новую часть света не только просвещение и христианство, но и рабство, убийство, грабеж и цивилизацию».[19]

В последующие десятилетия идейные наследники декабристов — русские революционеры-демократы, выступая в условиях резкого обострения в России всех социальных противоречий, использовали мотивы из прошлого и настоящего Америки для антикрепостнической пропаганды в подцензурной печати.

У Ломоносова, конечно, не могло быть таких обобщений, не было прямых антикрепостнических выступлений и высказываний, как у более поздних представителей передовой общественной мысли России. Нам важно подчеркнуть, что Ломоносов явился родоначальником той традиции обращения к событиям американской истории, о которой здесь говорилось. В этой связи нельзя не возразить Л. А. Шуру, считающему, что стихотворение А. П. Сумарокова «О Америке» было «первым из известных нам поэтических откликов в русской литературе на испано-американ-

---

[17] С. С. Волк. Исторические взгляды декабристов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 236; Вл. Орлов. Декабристы. ГИХЛ, М.—Л., 1951, стр. 634; И. И. Медведева. Комментарии к однотомнику избранных стихотворений Н. Гнедича. В кн.: Н. И. Гнедич. Стихотворения, изд. «Библиотеки поэта», Большая серия, изд. 2-е, Л., 1956, стр. 795.

[18] С. С. Волк. Исторические взгляды декабристов, стр. 236; Л. Ю. Слезкин. О солидарности передовой русской общественности с патриотами Латинской Америки. «Новая и новейшая история», 1960, № 4, стр. 72.

[19] Л. Ю. Слезкин. О солидарности передовой русской общественности с патриотами Латинской Америки, стр. 72. Нельзя не упомянуть, что в эти же годы к прошлому Латинской Америки проявлял интерес и А. С. Пушкин (см.: М. П. Алексеев. Пушкин и бразильский поэт. «Научный бюллетень Ленинградского государственного университета», № 14—15, 1947, стр. 54—61).

скую тему».[20] В действительности же, еще за семь лет до Сумарокова с гораздо большей идейной глубиной и в неизмеримо более яркой художественной форме разработал эту тему Ломоносов. Таким образом, первым русским стихотворным произведением, обличающим испанский колониализм, следует считать «Письмо о пользе стекла». Не менее важно отметить также, что уже у Ломоносова использование американских мотивов имеет ярко выраженную гуманистическую, антирабовладельческую окраску.

II

В «Письме о пользе стекла» Ломоносов с негодованием говорит о том, что «всегдашню брань вели с наукой лицемеры», вносившие в нее суеверия и предрассудки. Он утверждает, что наука призвана рассматривать все явления, даже самые грозные и непонятные, как естественные, открывая их причины.

Что может смертным быть ужаснее удара,
С которым молния из облак блещет яра?
Услышав в темноте внезапный треск и шум
И видя быстрый блеск, мятется слабый ум,
От гневного часа желает где б укрыться,
Причины онаго исследовать страшится,
Дабы истолковать что молния и гром,
Такия мысли все считает он грехом.
«На бичь, — он говорит, — я посмотреть не смею,
Когда грозит Отец нам яростью своею».
Но как Он нас казнит, подняв в пучине вал,
То грех ли то сказать, что ветром Он нагнал?
Когда в Египте хлеб довольный не родился,
То грех ли то сказать, что Нил там не розлился?
Подобно надлежит о громе рассуждать, —
(Стр. 520).

настаивает Ломоносов. В своем стремлении объяснить естественным путем все явления природы он очень близок к древнеримскому философу и поэту Лукрецию. Интересно, что и в шестой книге поэмы Лукреция «О природе вещей» говорится о громе, молнии, извержении Этны, разливах Нила, облаках, дожде и других явлениях природы. Сходство аргументации обоих авторов в их борьбе за уничтожение суеверных страхов свидетельствует о том, что материализм Лукреция был близок и дорог Ломоносову. Как уже отмечено П. Н. Берковым, Ломоносов ценит Лукреция прежде всего за то, что «он в натуре дерзновенен».[21]

---

[20] Л. А. Шур. Испанская и Португальская Америка в русской печати XVIII—первой четверти XIX в., стр. 347.

[21] П. Н. Берков. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. Изд. АН СССР, Л., 1936, стр. 88.

Лукреций в своей поэме неоднократно проводит мысль, что «страх людей» и «смущенье» рождаются «незнаньем», что

...изгнать этот страх из души и потемки рассеять
Должны не солнца лучи и не света сиянье дневного,
Но природа сама своим видом и внутренним строем.[22]

Истоки религиозных взглядов и суеверий Лукреций видит в том, что

В полном незнаньи причин вынуждаются люди ко власти
Вышних богов прибегать, уступая им царство над миром.
Этих явлений причин усмотреть и понять не умеют
И полагают, что все это божьим веленьем творится.
(Стр. 207).

Мысль о познаваемости мира и возможности достичь истинного знания представляется Лукрецию совершенно очевидной.

Если же думает кто, что немыслимо знанье, не знает,
Может ли это он знать, коль свое утверждает незнанье.
И с утверждающим так заводить не желаю я спора,
Ибо он голову там помещает, где ноги должны быть, —
(Стр. 139).

— говорит поэт. И далее:

Прочее все, что вверху вырастает, вверху возникает,
Все совершенно, что там в облаках образуется, словом:
Ветры, и град, и снега, и холодного инея иглы,
Как и всесильный мороз — оковы могучие влаги
И остановка для рек, что везде пресекает теченье, —
Крайне легко объяснить; и вполне для ума постижимо,
Как получается все и какой образуется силой,
Раз хорошо ты поймешь элементам присущие свойства.
(Стр. 220).

Ломоносов, однако, идет дальше Лукреция, считая, что все явления, происходящие в природе, можно объяснить не только простым созерцанием, «поняв элементам присущие свойства», но и благодаря экспериментальному изучению, научным поискам и открытиям. Так, в своем «Письме о пользе стекла» он отмечает, что

...блеск и звук (грома, — *М. Д.*), не дав главы поднять,
Держал ученых смысл в смущении толиком,
Что в заблуждении теряли путь великом
И истинных причин достигнуть не могли,
Поколе действ в Стекле подобных не нашли.
Вертясь, Стеклянный шар дает удары с блеском,
С громовым сходственны сверканием и треском.
(Стр. 520—521).

---

[22] Лукреций Кар. О природе вещей. Перевод Ф. А. Петровского. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 206. (Далее на это издание ссылки в тексте).

Речь здесь идет о изобретенных в Европе электростатических машинах. Восторженно пишет Ломоносов и о громоотводах:

О коль со древними дни наши несравненны!
Внезапно чудный слух по всем странам течет,
Что от громовых стрел опасности уж нет!
Что та же сила тучь гремящих мрак наводит,
Котора от Стекла движением исходит,
Что, зная правила, изъисканны Стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших гром.
(Стр. 521).

Величие Ломоносова как передового философа-материалиста XVIII в. особенно ярко проявляется при сопоставлении упомянутых здесь фрагментов из «Письма о пользе стекла» и прямых высказываний Ломоносова о Лукреции, с одной стороны, с отношением к великому античному мыслителю французских философов-материалистов эпохи Просвещения — с другой. В литературе уже отмечалось, что последние оказались не в состоянии воспринять как раз наиболее передовые, наиболее смелые идеи Лукреция, понять до конца его живую творческую мысль.[23]

III

Первый русский микробиолог, доктор медицины, профессор химии, ботаники и анатомии Мартын Матвеевич Тереховский — один из незаслуженно забытых выдающихся русских ученых XVIII в. Сохранившиеся сведения о нем довольно малочисленны, скудны, однообразны, и все же по ним восстанавливается, правда без достаточно исчерпывающей глубины, биография удивительно трудолюбивого человека.

Тереховский интересен для нас и как писатель. Из произведений, дошедших до нас, большой интерес представляет стихотворение «Польза, которую растения смертным приносят», увидевшее свет в год смерти автора (1796 г.). Второе издание было осуществлено в 1809 г. Эта дидактическая поэма популяризирует достижения ботанической науки. Советские исследователи Е. Н. Павловский и С. Л. Соболь, впервые обратившиеся к поэме, не заметили, однако, что написана она в подражание замечательнейшему по тому времени дидактическому произведению «Письму о пользе стекла» Ломоносова. Тереховский обращает внимание на многочисленные человеческие нужды, которые можно удовлетворить упо-

---

[23] См.: G. A. Fusil. Lucrèce et les philosophes du XVIII siécle. «Revue d'Histoire littéraire de la France», t. 35, Paris, 1928, str. 209—210.

треблением растений. Это прежде всего хлеб, вино и пиво — питательные плоды, добываемые в процессе земледельческого труда.

Когда ж растений всех лишится человек:
Тогда нещастнейший его бывает век! —

восклицает автор и в доказательство рассказывает об испанцах, варварски ограбивших коренное американское население. Наполнив золотом все свои суда,

Оставив на земле невинность так попранну,
С богатством в отчество спешат по океану,[24]

мечтают покорить всю Европу. Но разразившаяся буря застигает их в океане. Лишенные хлеба и воды, посреди богатств своих погибают варвары, вынужденные признаться, что единственной причиной их горькой участи была «несытая алчба имения и власти». Первую часть своей поэмы Тереховский заканчивает прославлением тех, «кто от своих трудов имеет множество питательных плодов», и утверждением,

Что хлеб насущный вам есть истое добро,
Что благо мнимое есть злато и сребро. —
Плененные сребром того не разумеют,
Что дар божественный в растениях имеют,
Что злата и сребра не льзя ни есть, ни пить,
Что златом и сребром не можно сыту быть.
(Стр. 7).

Во второй части поэмы автор говорит о мясной и рыбной пище, которая возможна лишь благодаря существованию растений. Третья часть посвящена предоставляющей покров и защищающей нас в ненастье одежде:

Без трав бы не было у нас ни волокна,
Ни пряжи, ни пеньки, ни льну, ни полотна.
Без трав бы не было хлопчатыя бумаги,
Без трав бы были все, как мать родила, наги.
(Стр. 9).

В последующих главах говорится о прочных и ярких красках, применяющихся в искусстве и технике и изготовленных из различных растений. Далее следует призыв размножать искусственным способом леса, ибо деревья — и хороший строительный материал, и надежный источник теплоты и света. Растения служат и удовлетворению эстетических потребностей городских и сельских красавиц. И, наконец, они исцеляют от всех недугов, ибо только из «недр растений царства врачи берут надежныя лекарства».

---

[24] М. Тереховский. Польза, которую растения смертным приносят. СПб., 1794, стр. 4. (Далее ссылки на это издание в тексте).

Восьмой частью подытоживается все сказанное прежде: растения служат

Для разных наших нужд, для разных и хотений,
Для пищи, пития, одежды, теплоты,
Для обоняния их благовонна духа,
Для поправления всеобщаго воздуха.
(Стр. 13—14).

А из этого органически вытекает столь назревшая, как говорится в заключительной, девятой части поэмы, необходимость изучать

...Науки те священны,
Которых знанием народы просвещенны
Умеют постигать растений естество,
Хранить и размножать их в свете существо.
(Стр. 14).

Дидактическая поэма «Польза, которую растения смертным приносят» свидетельствует о демократической позиции ее автора. Особенно ярко это сказалось в созданной им картине варварского ограбления испанцами коренного американского населения. Интересно, между прочим, отметить, что, воспользовавшись в общем-то ломоносовской картиной, Тереховский идет по пути дальнейшего углубления ее правдоподобия. И этого он достигает большой последовательностью в описании хода событий, введением дополнительных подробностей и прямой речи. В итоге — картина Тереховского в два раза больше ломоносовской: 76 стихов против 38 ломоносовских.

Как и «Письмо о пользе стекла» Ломоносова, «Польза, которую растения смертным приносят» написана шестистопным ямбом. Поэма Тереховского отличается четкой, логически выдержанной композицией, состоит из двухсот девяноста пяти стихов (против четырехсот сорока ломоносовских). И содержанием своим, и построением она перекликается с «Письмом о пользе стекла». Более того, Тереховский очень часто пользуется отдельными ломоносовскими образами («неистовый Борей»), картинами и даже целыми строфами «Письма» как своими собственными, не заключая их в кавычки, лишь заменяя слово «стекло» соответственно «растением». Таким образом написана половина его поэмы. Вот пример. У Ломоносова:

Во светлых зданиях убранства таковы,
Но в чем красуетесь, о сельски Нимфы, вы?
Природа в вас любовь подобную вложила,
Желанья нежны в вас подобна движет сила;
Вы также украшать желаете себя.
Затем прохладные поля свои любя,
Вы рвете розы в них, вы рвете в них лилеи,
Кладете их на грудь и вяжете круг шеи.
(Стр. 513).

И вот что читаем мы у Тереховского:

Во светлых зданиях убранства таковы.
Но чем красуетесь о! сельски нимфы! вы?
Природа в вас любовь подобную вложила:
Желанья нежны в вас подобна движет сила:
Вы также украшать желаете себя,
Пригожих пастухов на поле полюбя.
Вы рвете розы в нем, вы рвете в нем лилеи,
Кладете их на грудь и вяжете круг шеи.
(Стр. 11—12).

Как видим, изменения незначительны.

Ломоносовские строки:

Не дар ли мы в стекле божественный имеем
Что честь достойную ему воздать коснеем? —
(Стр. 515).

у Тереховского звучат так:

Мы дар божественный в растениях имеем
Почто благодарить творцу за них коснеем.
(Стр. 10).

Или еще пример. У Ломоносова:

Далече до конца стеклу достойных хвал,
На кои целый год едва бы мне достал!
Затем уже слова похвальны оставляю,
И что об нем писал, то делом начинаю.
(Стр. 520).

У Тереховского:

Далече до конца растеньям должных хвал,
На кои целый год едва бы мне достал.
Затем уже слова похвальны оставляю:
Растений более хвалой не прославляю.
Уж ясно видит всяк, на каковый конец
Велел растениям прозябнути Творец.
(Стр. 13).

Количество подобных параллелей можно легко увеличить. Но это не снижает всей важности и ценности произведения для того времени, не умаляет достоинств автора.

Поэма Тереховского «Польза, которую растения смертным приносят» и вся его жизнь как нельзя лучше свидетельствуют о том, что многогранная, кипучая и неустанная деятельность М. В. Ломоносова была для современников и потомков прекрасным, достойным подражания и фактически действенным примером.

Н. Д. КОЧЕТКОВА

ОТЗЫВЫ О ЛОМОНОСОВЕ В «СОБЕСЕДНИКЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СЛОВА»

Сотрудники «Собеседника любителей российского слова» (1783—1784) в своих стихах и прозе уделяли много внимания М. В. Ломоносову, его творчеству и вопросу о его месте в истории русской поэзии. Как известно, Екатерина II был вдохновительницей этого журнала и оказывала решающее влияние на его общественно-литературные позиции. Естественно поэтому, что оценка творчества великого поэта в «Собеседнике» была связана и с отношением к нему императрицы.

Переворот 28 июня 1762 г. Ломоносов приветствовал традиционой одой, в которой изложил желательную для него политическую программу нового царствования.[1] Эта попытка поучения в официальной торжественной оде, а в особенности близость Ломоносова к Шуваловым — в недавнем прошлом врагам императрицы, вызывали у Екатерины неприязненные чувства к русскому академику. Прошение Ломоносова об отставке, вызванное негодованием по поводу нового возвышения в Академии наук немцев, было принято.

Результатом последовавшего затем уничтожения указа об отставке и благосклонных бесед императрицы с Ломоносовым было лишь улучшение личного положения Ломоносова — производство в статские советники и повышение жалованья.

---

[1] Ода появилась через 11 дней после переворота. В комментариях академического собрания сочинений Ломоносова (т. 8, М.—Л., 1959, стр. 1171) указывается, что уже это «одиннадцатидневное молчание Ломоносова после такого шумного события, как дворцовый переворот, едва ли могло остаться незамеченным и «настороживало Екатерину». Однако этот срок был обычным для представления торжественных од. Например, «Поздравление для восшествия на престол Елизаветы Петровны», сочиненное Штелиным и переведенное Ломоносовым в 1741 г., было написано и отпечатано за тринадцать дней (там же, стр. 888). Ода Екатерине уже 8 июля была представлена в Академическую канцелярию и 10 июля поступила в Книжную лавку. 8 же июля была напечатана, а 9 июля поступила в продажу ода Сумарокова. Таким образом, оды Сумарокова (в это время приверженца Екатерины) и Ломоносова появились почти одновременно. И. П. Анненков в своем дневнике 11 июля записал о покупке оды Сумарокова, а 12 июля — о покупке оды Ломоносова (Дневник курского помещика И. П. Анненкова. В кн.: Материалы по истории СССР, т. I. Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 791).

Ломоносов не нашел у Екатерины II должного внимания к своим просьбам и предложениям, касающимся катастрофического положения дел в Академии наук. Занятая в 1762—1765 гг. упрочением собственной власти на российском престоле, Екатерина II не желала вникать в эти требования Ломоносова. В результате их отношения, как известно, оказались очень натянутыми, если не прямо враждебными.

Естественно, что Ломоносов не мог остаться в памяти современников как придворный поэт Екатерины. Поэтому сразу после его смерти императрица постаралась сделать все возможное, чтобы о Ломоносове поменьше вспоминали. Конечно, его заслуженной славы гения она не могла опровергнуть и сначала пошла по другому пути: нашла «второго Ломоносова» — В. П. Петрова. После его знаменитой оды «На карусель» (1766 г.) она стала усердно превозносить его и осыпать своими милостями.

В «Антидоте» Екатерина признает, что сочинения Ломоносова «исполнены гения и красноречия».[2] Но Петрову она расточает более многословные похвалы: «Сила поэзии этого юного автора уже приближается к силе Ломоносова и у него более гармонии; слог его в прозе исполнен красноречия и приятности ... стихотворный перевод «Энеиды» обессмертит его».

Однако неверно было бы утверждать, что и «современники видели в авторе оды „На карусель" прямого продолжателя громкой поэзии Ломоносова».[3]

Екатерина хотела, чтобы это было так, но в действительности было иначе. Многие пародии и нападки на громкие торжественные оды в сатирических журналах конца 60-х годов («Смесь», «Трутень», «Адская почта», «Вечера») относятся не к ломоносовскому направлению как таковому и никак тем более не к Ломоносову, а непосредственно к самому Петрову. Более того, самые резкие оценки творчества Петрова связаны со своеобразной защитой славы Ломоносова от его посягательств.

В этом отношении прежде всего заслуживает внимания известный отзыв о Петрове Н. И. Новикова в его словаре (1772 г.): «Он напрягается идти по следам российского лирика, и хотя некоторые и называют его уже вторым Ломоносовым, но для сего сравнения надлежит ожидать важного какого-нибудь сочинения и после того заключительно сказать, будет ли он второй Ломоносов или останется только Петровым».[4] Такая же оценка была дана

[2] «Осмнадцатый век». Исторический сборник, изд. П. Бартеневым, кн. 4, М., 1869, стр. 428.

[3] Л. Г. Бараг. О ломоносовской школе в русской поэзии. «Ученые записки кафедры литературы и языка Минского педагогического института», 1940, вып. 1, стр. 72.

[4] Н. И. Новиков. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772, стр. 162—163.

на страницах «Смеси»: «Сходнее сказать, что муха равна со слоном, нежели сравнять нескладные и наудачу писанные его (Петрова) сочинения с одами нашего славного стихотворца (Ломоносова)».

Таким образом, нападки на Петрова нельзя представлять только как продолжение борьбы сумароковцев с ломоносовским направлением, как это, например, получается у Л. Г. Барага. По справедливому указанию Г. А. Гуковского, «полемический задор повышался тем обстоятельством, что среди поклонников Петрова были люди и понимающие и высокопоставленные, как Потемкин и императрица».[5] Непризнание Петрова настоящим последователем Ломоносова, непризнание точки зрения Екатерины — вот что было здесь существенно, и это тогда имело значение некоторого общественного протеста. Но Екатерина сама ошиблась в Петрове: он оказался все-таки не тем, что ей было нужно. Он был не чужд общественных интересов и, особенно после поездки в Англию (1772 г.), довольно критически относился к русскому самодержавию, несмотря на все его словословия Екатерине. Он был не лишен чувства собственного достоинства.[6] Кроме того, Петров слишком ученый поэт, слишком тяжеловесны были его стихи и уязвимы для насмешек, а Екатерине нужен был общепризнанный придворный стихотворец, которым бы все восхищались и не могли бы серьезно ни в чем упрекнуть.

Правда, слава Петрова держалась в придворных кругах до конца 70-х годов. Так, во вступительной статье С. Г. Домашнева в «Академических известиях» за 1779 г. Петров назван «страшным соперником Виргилия». Однако уже в этой статье Петров больше не сравнивается с Ломоносовым. Напротив, о творчестве последнего дается восторженный отзыв и говорится, что «в письменах (т. е. в литературе, — *Н. К.*) его никто заступить еще не мог».

Вообще, в журналах конца 70 — начала 80-х годов все чаще попадается имя Ломоносова, и о нем говорят как о непревзойденном мастере в области поэзии. Так, например, автор «Оды на день рождения Екатерины» пишет, обращаясь к молодым поэтам:

Певец достойный, слава Россов,
Хвала Парнасу, Ломоносов,
Вас может научить один.[7]

Очень высокая оценка дается творчеству Ломоносова в статье «Рассуждения о зрелищах» (журнал «Утра» 1782 г.), где, казалось бы, больше было оснований подробнее говорить о Сумаро-

[5] Г. А. Гуковский. Русская поэзия XVIII века. «Academia», Л., 1927, стр. 47.

[6] Примеры, подтверждающие это, см. в указанной статье Л. Г. Барага.

[7] «Академические известия», 1781, ч. VII, стр. 395—396.

кове. Ломоносов здесь назван «несравненным лириком, божественным Витией, коего красоте завидуют Мусы и сам Аполлон дивится».[8] Кстати, еще в 1778 г. в «Утреннем свете» появилась статья М. Н. Муравьева «Дщицы для записывания», где автор прямо отдает предпочтение не Сумарокову, а Ломоносову. О последнем говорится самым восторженным тоном: «Какою живостью одушевлено выражение Ломоносова! Каждое являет знаменование изобильнейшего и приятного воображения. Вот чем он превзойдет всех своих последователей в лирическом роде! Сумароков иногда достигал до сего степени одушевления в некоторых нежных местах ... Но никогда не имеет сего равного духа выражения, по которому познаются все известные сочинения Ломоносова».[9]

Таким образом, время показало, как велика истинная слава Ломоносова, как высок его авторитет, и Екатерине пришлось признать это. Но и тут она сделала вид, будто как истинная ценительница таланта она всегда очень высоко ставила Ломоносова. Конечно, прямо она не говорила об этом, но люди, окружавшие ее и выражавшие ее мнение, достаточно ясно дали это понять. В этом отношении и представляет особый интерес «Собеседник любителей российского слова» (1783—7184 гг.), в редакции которого принимали участие Е. Р. Дашкова, О. П. Козодавлев и сама императрица. На страницах этого журнала сравнительно много внимания уделяется Ломоносову и его творчеству. Напомним, что с «Собеседника» начинается слава Державина как певца Фелицы. Екатерина, очевидно, считала, что без ущерба для славы последнего можно теперь было поговорить и о славе Ломоносова как поэта, уже отошедшего в историю.

Именно с таких позиций, очевидно, и подходил к этому вопросу И. Ф. Богданович, начавший печатать в «Собеседнике» (кн. II, III, V и VIII) свою большую историко-литературную статью «О древнем и новом стихотворении».

Вообще, Богданович много сотрудничал в «Собеседнике», и сочинения его принимались очень благосклонно: для лагеря императрицы они были орудием в ее борьбе с такими прогрессивными писателями, как Д. И. Фонвизин, С. П. Румянцев и др. Как было отмечено в литературоведении, в этом журнале «Богдановичу расточаются комплименты почти в равной с певцом Фелицы мере».[10] Следовательно, мнение Богдановича отражало и мнение правительственного лагеря в целом.

В первой части своей статьи (II книжка журнала) автор говорит о древности поэзии, о ее значении в старые времена. Все это

---

[8] «Утра», 1782, август, стр. 67.

[9] «Утренний свет», 1778, ч. IV, стр. 370—371.

[10] И. З. Серман. Вступительная статья в кн.: И. Ф. Богданович. Стихотворения и поэмы. Л., 1957, стр. 12.

как бы вступление к основному содержанию статьи, излагаемому в III и V книжках «Собеседника».

Здесь Богданович говорит о расцвете поэзии со времен Ломоносова и приводит многочисленные примеры из его сочинений. Эти иллюстрации из стихов Ломоносова настолько обширны, что занимают гораздо больше места, чем текст самого Богдановича. Автор статьи говорит, что он «приобщит здесь некоторые многими замеченные стихи господина Ломоносова». Интересно сопоставить строфы, приводимые Богдановичем, с теми строфами, которые выбрал А. С. Сумароков для своей статьи.[11] Совпадает только одна строфа, и это совпадение можно считать скорее всего случайным. Дело в том, что Сумароков подбирал те строфы, которые можно было как-то сравнить (например, по содержанию) с его собственными, при этом такое сравнение, по его мысли, должно было бы быть в его пользу. Поэтому Сумароков выбирал строки наиболее торжественные, «громогласные». Можно отметить также, что ломоносовской строфе, где прославляется Елизавета, Сумароков противопоставляет свою, в которой говорится о восшествии на престол Екатерины.

Богданович же совершенно по иному принципу выбирает цитаты. Прежде всего он приводит примеры стихов, которые должны вызвать, по его мнению, чувство «истинного богопочитания».[12] Потом тему бога Богданович хочет непосредственно связать с темой императорского дома и показать, что бог якобы благословляет все, что там происходит (в подтверждение этой мысли приводится несколько строф из «Оды Елизавете на рождение Павла Петровича» 1754 г.). Таким образом, Богданович подбирает цитаты очень обдуманно, используя тот порядок, в каком обычно составлялись стихотворные сборники: сперва стихи о боге, потом о царе и затем уже стихи разного содержания.

Перед тем как перейти к стихам собственно о царях, Богданович дает интересное пояснение: «Да будет мне позволено сказать нечто во оправдание стихотворных похвал и поэтических к украшению их вымыслов, когда стихотворцы обращают их к *достойному предмету* и с добрыми намерениями. Похвала есть самое достодолжное приношение безмездной добродетели ... *Образ наставления неприличен в некоторых случаях*, неприятен человеческому самолюбию и часто бывает излишним для тех, коих все подвиги и мысли устремлены во благо».[13] «Достойный предмет» для по-

[11] А. С. Сумароков. Некоторые строфы двух авторов. Полн. собр. всех сочинений, ч. IX, М., тип. П. Новикова, 1781, стр. 243—252.

[12] «Вечернее размышление о божием величестве» — 3 строфы; «Утреннее размышление о божием величестве» — последняя строфа; строфы из «Преложений» псалмов.

[13] «Собеседник любителей российского слова», 1783, кн. III, стр. 15.

хвал — это, конечно, Екатерина. В подтверждение своих мыслей Богданович приводит прежде всего строки из ломоносовской оды на Новый 1754 г.:

Геройских подвигов хранитель
И проповедатель Парнас,
Времен и рока победитель,
Возвыси ныне светлый глас,
Приближи к небесам вершины
И для похвал Екатерины,
Как наша радость расцветай и т. д.

Таким образом, все это имело, конечно, определенный политический смысл, тем более что знаменитые «Вопросы» Фонвизина были напечатаны именно в этой же III книжке. Смелое выступление Фонвизина — это, вероятно, и есть то самое наставление, которое «неприлично в некоторых случаях».

Екатерина сделала вид, как будто забыла о той независимости и даже дерзости, которую проявлял Ломоносов по отношению к ней. Теперь нужно было показать пример другим поэтам — как прославлял ее признанный всеми гений. Именно эту задачу и взял на себя Богданович. Чтобы сделать еще яснее свою мысль, он говорит в примечании: «Премудрой нашей самодержицы к наукам, и особо к российскому слову, всегдашнего благоволения новый знак (назначение Е. Р. Дашковой директором Академии наук, — *Н. К.*) подаст, конечно, *случай нашим стихотворцам разделить с господином Ломоносовым чувствия радости,* каковую он в сих стихах изобразить старался».[14]

Быть может, в рассуждении о том, что похвалы приносят бóльшую пользу, чем «наставления», Богданович пытался как-то объяснить и оправдать эволюцию своего собственного отношения к Екатерине. Так, например, словно возражая кому-то и отвечая на чьи-то обвинения, он пишет: «Кто во всяком действии изыскивает худые намерения, тот всегда и везде найдет лесть, ложь и обманы; но кто знает более сердце человеческое, тот, конечно, знает и благонамеренность, ему свойственную». После этого сразу же идет ссылка на авторитет Ломоносова: «Доводы сей истины могут быть более ощутительны в стихотворениях господина Ломоносова».[15]

Далее Богданович приводит много других стихов, в которых прославляются Петр, Елизавета, И. И. Шувалов и др., но все это уже получает второстепенное значение по сравнению с тем, что говорилось о Екатерине, и цитаты следуют одна за другой почти без пояснений самого Богдановича. Заслуживает внимания окон-

[14] Там же, стр. 15—16.
[15] Там же, стр. 14.

чание статьи, напечатанное в VIII книжке журнала: «Красоты сочинений господина Ломоносова завлекают меня в долгие выписки, но мысль моя течет с большею приятностью к *главному* намерению, изъявить *общее* чувствие народа». Далее автор говорит о достоинствах и заслугах императрицы в самых восторженных выражениях. Интересно также, что в качестве примера ее забот о «российском слове» приводится ее «отличная милость и благоволение к покойному господину Ломоносову».[16]

Так создавалось совершенно ложное, не оправданное действительными фактами мнение о Екатерине II как об умной и щедрой покровительнице русской науки и литературы, сумевшей высоко оценить гений Ломоносова. Однако в некоторых случаях, когда это было не так заметно для общественного мнения, императрица проявляла невольно свое безразличие к авторитету великого русского ученого и поэта.

Пример подобного рода можно найти здесь же, на страницах «Собеседника».

Во II книжке выступил один автор под псевдонимом Любослов с критикой на произведения, напечатанные в I книжке, в том числе и на «Фелицу». Эта критика касается в основном вопросов языка и стиля. При этом в своих поправках Любослов нередко ссылается на Ломоносова, о котором говорит с чувством подлинного глубокого уважения. Так, например, по поводу «Послания к слову „так"» Е. Р. Дашковой критик замечает: «Г. Ломоносов для красоты слова советует убегать частых повторений «я». А в послании к слову «так» в последних небольших периодах местоимение «я» пять раз, кроме многих окончательных, употреблено, где не более бы одного разу сказать должно было».[17] В своих поправках и замечаниях Любослов сылается на Ломоносова. Заключает Любослов свою статью так: «Не думайте, что противуположения сии суть нечто новое, что оне суть мечта тщеславия — нет, — оне основаны на правилах, приобретенных тщательным наблюдением и проницательным исследованием преобразителя Российского слова (т. е. Ломоносова, — *Н. К.*)».[18]

Автор критики — это очень серьезный исследователь, истинный почитатель таланта Ломоносова.[19] Однако после его статьи на него посыпался целый град грубых насмешек со стороны сотрудников «Собеседника», и прежде всего самой Екатерины. При этом среди всех многочисленных насмешек ни разу не были упомянуты ссылки Любослова на Ломоносова.

---

[16] Там же, кн. VIII, стр. 9—10.

[17] Там же, кн. II, стр. 109—110.

[18] Там же, стр. 117.

[19] Есть основания предполагать, что Любослов — это епископ Дамаскин, издавший в 1778 г. собрание сочинений М. В. Ломоносова.

Этот факт, быть может, и не такой уж крупный, не такой уж заметный, был во всяком случае характерен. Как ученый, как филолог, как поэт Ломоносов не интересовал Екатерину. Для нее была важна слава Ломоносова как ученого, филолога и поэта, и эту его заслуженную славу она хотела представить как отблеск славы своей — славы просвещенной мудрой правительницы. Роль мецената казалась ей очень выигрышной, и тот, кто хотел угодить ей, изображал ее именно в такой роли. Примеров этому в «Собеседнике» очень много. В «Письме к В. В. Капнисту» О. П. Козодавлева, одного из издателей журнала, настойчиво проводится мысль о том, что «стихотворство без покровителей процветать не может».[20] В подтверждение этой мысли приводятся «стихи Ломоносова, к Меценату его времени писанные».

Козодавлев играл активную роль в издании «Собеседника», и то, что писал он иногда от имени редакции, было или прямым или косвенным отражением мыслей и взглядов Екатерины. Поэтому особый интерес представляет его «Письмо к Ломоносову» в стихах, напечатанное в XIII книжке.[21] Прежде всего здесь дается высокая оценка деятельности поэта: «великий муж, и честь и слава Россов, бессмертных од творец, бессмертный Ломоносов»; «к Парнасу путь открыл нам творческой рукою и Росским музам дал ты образец собою» и т. д. Дальше говорится о его славе при Елизавете и о том, что похвалы «придворных знатоков» того времени были неискренни и льстивы. Этому как бы противополагается время Екатерины, как век прекрасный во всех отношениях:

Жалеем мы, что ты блаженства лишь начало
Воспел, что при тебе над нами воссияло.

Козодавлев представляет роль Ломоносова в царствование Екатерины именно так, как она сама хотела это представить:

Теперь-то бы тебе меж нами и пожить,
Чтоб Россов счастие вселенной возвестить.
Ты восхищался бы великою душою,
Которая творит нам счастие собою.

После этих строк автор «Письма» делает вполне логичный переход к непосредственным восторженным похвалам императрице:

Екатерина здесь, как будто некий бог,
Премудростью своей сим царством управляет и т. д.

---

[20] «Собеседник любителей российского слова», 1783, ч. I, стр. 76. О принадлежности «Письма» Козодавлеву и его издательской деятельности см.: М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. VI, СПб., 1882, стр. 340—341.

[21] О принадлежности его Козодавлеву см.: М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. VI, стр. 330—332.

Козодавлев, таким образом, действительно пытался как-то противопоставить екатерининское время прошлому. В связи с этим интересно обратить внимание на одно ранее не напечатанное стихотворение Ломоносова, помещенное в XI книжке «Собеседника» — «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привелегии для Академии, быв много раз прежде за тем же».[22] В этом переложении анакреонтического стихотворения «К цикаде» последние оригинальные ломоносовские строки выражают его жалобу на «усталость от безуспешных просьб» и «от тяжелых материальных обязательств».[23] Можно предположить, что Козодавлев рассматривал стихи как фактическую иллюстрацию к высказанной им мысли: если бы Ломоносов жил в век Екатерины, то ему не пришлось бы ничего просить и ни о чем заботиться.

Конечно, может быть, помещение нового стихотворения Ломоносова было просто связано с общим интересом и вниманием к его сочинениям в это время. Кстати, Козодавлев сам по поручению Академии наук (т. е. опять-таки с ведома Екатерины) именно с 1783 г. начал работать над изданием нового собрания сочинений Ломоносова. В основу Козодавлев взял издание 1778 г. Дамаскина, того самого, который, вероятно, выступил под именем Любослова и был так жестоко осмеян. В новом издании был сохранен тот же порядок произведений, приведены те же варианты. Однако, как указывает М. И. Сухомлинов, «важный недостаток этого издания заключается в неточности текста некоторых из произведений Ломоносова, впервые появившихся в печати».[24] Это и послужило поводом для довольно злой эпиграммы А. С. Хвостова на издателя:

О. (он) К. (Како) друг Крамзы, но только друг нахальный,
Кем изуродован, как бабкой повивальной,
Малерб российских стран, пресладостный певец.

Козодавлев действительно назвал Державина своим нелицемерным другом именно в том самом «Письме к Ломоносову», о котором уже выше шла речь.

Как известно, после «Фелицы» все надежды Екатерины обрести подходящего придворного стихотворца обратились на Державина, и Козодавлев, прекрасно понимая это, не только восхваляет

---

[22] «Собеседник любителей российского слова», кн. XI, стр. 150.

[23] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 8, Примечания, стр. 1149—1151.

[24] М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, т. VI, стр. 34—35.

певца Фелицы (что делали очень многие в «Собеседнике»), но и называет его последователем Ломоносова:

Из новых здесь творцов последователь твой,
Любимец Муз и друг нелицемерный мой,
Российской восхитясь премудрою царицей,
Себя назвав Мурзой, Ее назвав Фелицей,
На верх Парнаса нам путь новый проложил.[25]

Та роль, за которую не взялся Ломоносов, которую не сыграл до конца Петров, — эта роль предназначалась теперь для Державина — роль певца Екатерины. С Петровым же, не оправдавшим надежд, в том же «Письме Ломоносову» Козодавлев расправляется очень решительно, хотя и не называет его по имени. Безусловно, это к Петрову относятся следующие насмешливые слова:

Пусть выбирает всяк себе предмет по воле,
Не наполняя стих пустым лишь звоном слов,
С Олимпа не трудя без нужды к нам богов.
Иной летит наверх и бредит по-славянски.

Одам Петрова даже не придается никакого серьезного значения. Козодавлев прямо пишет:

Хоть после многие и сочиняли оды,
Но те же самые их вывели из моды.

Но — самое интересное — Козодавлев не допускает и мысли о сравнении подобных поэтов с Ломоносовым и возмущается, что они могут как-то посягать на его славу:

И думают они сравнятися с тобой,
Забыв, что их стихи лишь только звон пустой.[26]

Таким образом, автор «Письма» приходит к той самой точке зрения, которую выдвигали когда-то сатирические журналы 1769 г. и Н. И. Новиков, протестуя против восхвалений Екатериной Петрова.[27]

Теперь, когда появился Державин со своей «Фелицей», Екатерине уже совсем не нужен был Петров, а потому ее мнению о последнем в данный момент «Письмо» Козодавлева, видимо, нисколько не противоречило.

---

[25] «Собеседник любителей российского слова», ч. XIII, стр. 170—171.

[26] Там же, стр. 171.

[27] Но и в последующие годы многие поэты-сатирики прогрессивного направления (например, Д. П. Горчаков) еще выступали против официозных одописцев и даже против торжественной оды вообще (Г. В. Ермакова-Битнер. Вступительная статья в кн.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959 («Библиотека поэта». Большая серия. 2-е изд.), стр. 17—18.

Насколько важную роль играл теперь Ломоносов, можно судить также по статье О. П. Козодавлева «Рассуждения о причинах возвышения и упадка ... Собеседника». Статья появилась в последней XVI книжке и, видимо, должна была подвести какой-то итог деятельности издателей и сотрудников журнала. Характерно, что «Рассуждение» начинается с «истории Российского Парнаса». Это дает возможность автору еще раз четко сформулировать то, что уже неоднократно высказывалось на страницах журнала по поводу Ломоносова и его мнимых преемников. Козодавлев пишет: «Лет с тридцать тому назад Российский Парнас был во владении двух славившихся тогда стихотворцев». Под этим подразумеваются, конечно, Ломоносов и Сумароков. Но дальше автор статьи отдает явное предпочтение Ломоносову, который «одарен будучи обширным умом, пылким воображением и глубокими знаниями в науках, получил при размежевании Российского Парнаса самую большую часть оного в вечное себе владение».[28]

Не случайно, далее, указывается, что эти славные «стихотворцы» не оставили здесь «законных по себе наследников», т. е. отнимается всякое право у кого бы то ни было (в том числе, конечно, и у Петрова) считать себя продолжателем Ломоносова. Мало того, Козодавлев потом с насмешкой говорит о подражателях Ломоносова, оды которых, «наполненные именами баснословных богов, начали на читателей наводить скуку, и наконец служили оне и ныне служат пищею мышам и крысам».[29]

Только в следующей главе «Рассуждения» начинается история появления «Фелицы», и творчество Державина рассматривается как совершенно новый, высший этап в русской поэзии.

Таким образом, с «Собеседника» не только началась слава Державина, но почти официально было заявлено о конце славы Петрова, не оправдавшего надежд, которые на него возлагались.[30] А в связи с этим и Ломоносов теперь уже предстал в совершенно новом свете. Именно в «Собеседнике» была развита и укреплена новая правительственная точка зрения на Ломоносова как на непререкаемый авторитет в области поэзии, но при этом настойчиво подчеркивалось, что Ломоносов — это якобы придворный песнопевец царей, обращавшийся к ним не иначе, как с похвалами. Это было выгодно для Екатерины II, ей хотелось, чтобы это все выглядело именно так, потому что на примере Ломоносова нужно было

---

[28] «Собеседник любителей российского слова», кн. XVI, стр. 3—4.

[29] Там же, стр. 5.

[30] Быть может, с этим как раз и связано прекращение издания сочинений Петрова, начатого в 1782 г.

показать, по какому пути должны идти новые молодые стихотворцы, чтобы угодить императрице, добиться почестей и славы. И прежде всего это было программное указание, конечно, для Державина. Недаром ведь в «Послании» к Ломоносову О. П. Козодавлев как бы продолжает разговор с Державиным, начатый им еще в VIII книжке журнала, в «Письме к татарскому Мурзе», где автору «Фелицы» предлагалось писать еще подобные же стихи, угодные императрице.

Так для своих интересов Екатерина использовала славу Ломоносова, — использовала, но не создавала эту славу.

Д. Д. ШАМРАЙ

О ТИРАЖАХ «КРАТКОГО РОССИЙСКОГО ЛЕТОПИСЦА С РОДОСЛОВИЕМ»

При изучении истории русской литературы XVIII в. важным является установление степени популярности произведений в читательской массе.

С этой целью полезным и продуктивным бывает изучение истории издания книги. Такую попытку мы предприняли в отношении «Краткого летописца с родословием» М. В. Ломоносова.

Изучение хранящихся в Архиве Академии наук документов о работе Академической типографии в сочетании со сведениями, опубликованными П. С. Билярским в «Материалах для биографии Ломоносова», позволяет установить наличие 3 тиснений этой книги.

12 июня 1760 г. Академическая канцелярия (в присутствии одного только Ломоносова) определила: «...поданного от него, г-на советника, сочинения ево, краткого Российского летописца, напечатать 1200 экземпляров».[1]

3 июля 1760 г. типография получила ордер на печатание 2400 экземпляров,[2] а в ноябре 1760 г., судя по донесению фактора А. Лыкова, книга была набрана и напечатана.[3] 24 апреля 1761 г. Академической канцелярией было определено: «Краткий летописец, сочинение Ломоносова, напечатанное в числе 2406 экземпляров ... продавать по 25 копеек».[4] 8 мая 1761 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось объявление о продаже только что напечатанной книги в Академической книжной лавке.

Никаких других документов о печатании в 1760—1761 гг. исторического сочинения Ломоносова мы не имеем. Приведенные же документы свидетельствуют о том, что было осуществлено

[1] П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 456.

[2] Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, № 261, л. 54.

[3] В. Р. Свирская. Краткий российский летописец с родословием. Комментарий. В кн.: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 6, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 588.

[4] П. С. Билярский. Материалы..., стр. 511. В приведенной Билярским записи отсутствует ссылка фактора Лыкова на ордер № 655 от 3 июля 1760 г., на основании которого был выполнен заказ.

лишь одно издание «Краткого летописца», но удвоенным, по сравнению с первоначально предполагавшимся, тиражом в 2400 экземпляров. Этот тираж был определен ордером № 655 от 3 июля 1760 г., что не требовало особого делопроизводства, неизбежного в случае подготовки нового издания, и поэтому не отразилось в постановлениях Академической канцелярии.

Второе издание книги было осуществлено в 1766—1767 гг. 7 августа 1766 г., в ответ на донесение фактора новой Академической типографии, что все уже напечатано и дела больше нет, приказано было напечатать «Российского летописца» 600 экземпляров.[5] А 22 февраля 1767 г. Академическая комиссия дала распоряжение «*напечатанные вторым* (курсив мой, — *Д. Ш.*) тиснением Российского летописца 600 экземпляров принять в Книжную лавку».[6]

О наличии третьего издания свидетельствует приказ Академической комиссии комиссару Збоpомирскому от 22 июня 1775 г. принять от фактора Лыкова напечатанные академическим иждивением книги: 600 экземпляров первой книги «Собрания разных сочинений» покойного статского советника г. Ломоносова и 1200 экземпляров «Краткого российского летописца» его же, Ломоносова, сочинения. Продажная цена была назначена прежняя — 25 копеек.[7] Таким образом, за период с 1760 по 1775 г. было осуществлено три издания (тиснения) книги Ломоносова немалым для XVIII в. общим тиражом более 4200 экземпляров.

Оба последние издания, видимо, печатались с издания 1760 г., так как все экземпляры «Краткого летописца» имеют одинаковую выходную дату — 1760 г. По оформлению, однако, отчетливо выделяется группа экземпляров, где для раздела «Показание российской древности» использован набор с ударениями, а посвящение Павлу Петровичу украшено заставкой из корон. Виньетка на титульной странице таких экземпляров скомпанована из симметрично расположенных прямоугольных элементов. Жизнь Петра I здесь исчисляется верно — в 52 года и 8 месяцев.

Экземпляры другой группы не имеют перечисленных особенностей. Жизнь Петра I исчисляется в них неточно — в 52 года. Эти экземпляры, несомненно, принадлежат изданиям, вышедшим после смерти Ломоносова, в 1766 и 1775 гг. Ломоносов, правя корректуру, не мог допустить неточности в определении возраста Петра I. Кроме того, отсутствие заставки из корон, символизировавшей наследные права великого князя на престол, отражает официальную политику не начала 60-х годов, а более позднего времени, когда

[5] Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 537, ст. 218.
[6] Там же, д. 536, стр. 291.
[7] Там же, д. 546, стр. 363.

Екатерина стала серьезно бояться соперничества сына в государственных делах.

В связи со всем вышесказанным хочется отметить неточность, допущенную В. Р. Свирской, одним из комментаторов академического собрания сочинений Ломоносова.[8] Приняв на веру неточно опубликованные П. С. Билярским документы, она пришла к выводу о наличии 3 изданий в 1760—1761 гг. общим тиражом более 6000 тысяч экземпляров. На самом деле успех «Краткого летописца» не был таким феноменальным.

И все же 3 издания за 15 лет свидетельствуют о глубоком и устойчивом интересе читателей XVIII в. к фактам русской истории, изложенным рукой такого известного писателя, как Ломоносов. Множество экземпляров «Краткого российского летописца» бережно сохранялось в частных коллекциях и ныне влилось в наши книгохранилища. Около 20 экземпляров его находится, в частности, в Библиотеке Академии наук в Ленинграде.

---

[8] См. прим. 3. Следует также указать, что воспроизведенный в этом издании титульный лист «Краткого летописца» принадлежит не прижизненному, а одному из посмертных изданий.

П. Р. ЗАБОРОВ

ЛОМОНОСОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЖУРНАЛЕ 1820-х ГОДОВ

С января 1819 г. в Париже начал выходить новый журнал под названием «Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts». Основателем его и редактором был видный революционный деятель, писатель и публицист Марк Антуан Жюльен (1775—1848).[1]

В предпосланном первому выпуску журнала обширном введении Жюльен с большой отчетливостью сформулировал основную задачу издания и определил его план. «Сборник, построение, дух и цель которого мы сейчас охарактеризуем, — писал Жюльен, — был, осмелимся это сказать, необходим Франции, и ему предстоит удовлетворить одну из потребностей нашей эпохи».[2] По мнению Жюльена, эта потребность состояла в углублении и расширении человеческих знаний и в постоянном обмене «интеллектуальными ценностями», иными словами — в тесном духовном общении народов между собой.[3] Слишком большое количество всевозможных препятствий разделяет людей, распространяющих знание, и тех, кто к нему стремится. Особенно же много преград, полагает Жюльен, возникает на путях межнационального — промышленного, научного, литературного — обмена. По возможности способствовать постепенному уничтожению всех этих препятствий и преград, — так Жюльен понимал главную цель основанного им журнала.[4]

Этому благородному принципу журнал «Revue encyclopédique» неотступно следовал вплоть до октября 1831 г., когда он совершенно изменил направление, в значительной степени утратив при этом былую международную известность.[5]

В полном соответствии с намеченной программой журнал с первых дней его существования неизменно знакомит своих чи-

[1] «Литературное наследство», т. 29—30, М., 1937, стр. 539—544.
[2] «Revue encyclopédique», 1819, t. 1, стр. 5.
[3] Там же, стр. 6—9.
[4] Там же, 1822, t. 9, p. 8—9.
[5] О «Revue encyclopédique» см.: Ch.-M. Des Granges. La presse littéraire sous la Restauration. 1815—1830. Paris, 1907, стр. 81—84.

тателей с важнейшими культурными достижениями почти всех европейских стран и некоторых стран Америки и Азии. Существенное место в этих сообщениях принадлежит России, русской культурной и прежде всего литературной жизни. Наибольшее число помещенных в «Revue encyclopédique» статей и заметок «русского цикла» было, естественно, посвящено современным русским писателям и поэтам — Жуковскому, Батюшкову, Гнедичу, Козлову, Грибоедову, Баратынскому, Крылову и особенно Пушкину.[6] В то же время в ряде статей чаще попутно, но иногда и весьма обстоятельно характеризовалась также русская литература XVIII в. — творчество Сумарокова, Державина, Хераскова, Богдановича, Хемницера, Кострова, Капниста. Неоднократно упоминается там и «отец русской поэзии» Ломоносов.

Разумеется, это было не первое появление имени Ломоносова на страницах французской печати.[7] Еще в 1782 г. П.-Ш. Левек, автор «Истории России», писал о Ломоносове, называя его «гением, который один мог бы составить славу целого столетия», и в качестве иллюстрации приводил в сокращенном прозаическом переводе оду на восшествие на престол императрицы Елизаветы Петровны (1747 г.).[8] Год спустя Ломоносову — «человеку, наделенному необыкновенным поэтическим даром», посвятил несколько страниц в своей «Истории современной России» Н.-Г. Леклер, там же поместивший перевод «Петра Великого» (начало первой песни).[9] Первым русским поэтом назвал Ломоносова, рассуждая о «русском красноречии», Н.-Т. Дезессар.[10] Дифирамбическая оценка его творчества содержалась также в книге Ф. Пажеса.[11] Кроме того, отдельные сведения о Ломоносове были заключены в предисловии Паппадопуло и Галле к их антологии русской литературы, включавшей перевод шести его од и поэмы «Петр Великий».[12]

---

[6] М. П. Алексеев. Пушкин на Западе. Сб. «Пушкин. Временник Пушкинской Комиссии», М.—Л., 1937, № 3, стр. 105—110.

[7] A. Martin. Bibliographie francaise et italienne de la vie et de l'oeuvre de Michel Lomonosov. В кн.: Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время», т. VII. Пгр., 1915, стр. 199—201; П. Н. Берков. Изучение русской литературы во Франции. «Литературное наследство», т. 33—34, М., 1939, стр. 726—728.

[8] Levesque. Histoire de Russie. Paris, 1782, t. 4, стр. 535; t. 5, стр. 335—341.

[9] Leclerc. Histoire physique, morale, critique et politique de la Russie moderne, t. I. Paris, 1783, стр. 70—75, 130—143.

[10] Desessarts. Nouvelle bibliothèque d'un homme de goût, t. 4 (supplément). Paris, 1799, стр. 168—169.

[11] F. Pagès. Nouveau traîté de littérature ancienne et moderne, t. I. Paris, 1802, стр. 326—333.

[12] Choix des meilleurs morceaux de la littérature russe... traduits en français par M. L. Pappadopoulo et par le c-en Gallet. Paris, 1800, стр. VI—VII.

Наконец, в первые десятилетия XIX в. имя Ломоносова начинает проникать и во вского рода исторические, биографические и библиографические словари. Довольно подробно освещает деятельность поэта «Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique». Помимо неизбежного указания на производство Ломоносова незадолго до смерти в чин статского советника (во французском, искажающем смысл, переводе: «conseiller d'état»), в статье «Lomonozoff», составленной главным образом па основе трудов Левека и Леклера,[13] приводилось множество всевозможных данных о жизни и творчестве поэта, сообщались, между прочим, имена его учителей — Вольфа и Генкеля, перечислялись его занятия, давалась оценка некоторых его стихотворных сочинений, прежде всего од, «обеспечивших ему первое место среди русских писателей», и т. п.[14] Впрочем, «Dictionnaire universel», несомненно, представляет собой в этом отношении исключение: не только в словарях, относящихся к самому началу века,[15] но и в аналогичных изданиях 1810-х годов сведения о Ломоносове были наредкость скудными и неточными. В словаре Феллера, например, Ломоносов вообще рассматривался лишь как историк — автор «Древней российской истории от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года».[16]

Таким образом, знакомство с Ломоносовым во Франции XVIII—первых двух десятилетий XIX в. было все же весьма ограниченным. Сведения биографического характера, восходившие, как правило, к Левеку и Леклеру, почти не пополнялись; суждения о творчестве не отличались ни тонкостью, ни глубиной. Интерес к Ломоносову «Revue encyclopédique» был, следовательно, вызван стремлением полнее, нежели это делалось раньше, осветить замечательную фигуру «родоначальника русской литературы» (fondateur de la littérature russe). В большинстве своем отзывы и высказывания о Ломоносове появлялись в журнале в связи с изданием его произведений, преимущественно в иностранных переводах.

Первый по времени отклик такого рода, принадлежавший перу Шарля Огюста Кокереля (Coquerel), явился частью пространной статьи, посвященной только что вышедшей в свет «Российской

---

[13] Об этом см.: П. Н. Берков. Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке. «Язык и литература», 1930, т. 5, стр. 117—120.

[14] Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, t. X. Paris, 1810, стр. 204—205.

[15] Nouveau dictionnaire historique, t. VII. Lyon, 1804, стр. 261.

[16] Dictionnaire biographique et bibliographique portatif, t. II. Paris, 1815, стр. 338; Dictionnaire historique... par l'abbé F.-X. de Feller, t. 5. Lyon, 1818, стр. 402.

антологии» Джона Бауринга (1821 г.).[17] Ломоносов был представлен в этой антологии лишь «Вечерним размышлением о божием величестве» (кроме того, ему была ошибочно приписана державинская ода «Властителям и судиям»). Однако и этого Кокерелю оказалось достаточно, для того чтобы высоко оценить поэзию Ломоносова и почувствовать ее «смелость», «изящество» и «новизну». «В соответствии с хронологией, — писал Кокерель, — на первом месте находится Михаил Ломоносов, отец русской литературы. Он родился в 1711 году, в семье простого матроса и лишь благодаря собственным заслугам достиг звания начальника (directeur) Петербургского университета, где он долгое время и весьма достойно возглавлял кафедру химии. Академия наук издала на государственный счет его сочинения в шестнадцати томах, среди которых трактаты по оптике и физике, историографические труды, героическая поэма, а также множество других сочинений разных жанров. Смелость и изящество его произведений резко контрастируют с бесформенными творениями предшествующих лет. Именно он проложил новые пути. Он оказал русской литературе такую же услугу, какую некогда Корнель оказал нашему театру. Не создавая канонов, он учил лишь собственным примером».[18] По поводу «Вечернего размышления» Кокерель, между прочим, отмечал, что стихотворение это подчас приобретает слишком ученый характер, оказываясь где-то на грани науки и поэзии. «Однако же, — не мог не согласиться критик, — в нем имеется множество строф, исполненных величия».[19]

Обличительный тон оды «Властителям и судиям» поразил Кокереля. «Если вспомнить о времени создания этих стихотворений, — замечал он, — и если к тому же иметь в виду, что Ломоносов был при русском дворе в известном смысле тем, что в Англии называется „поэт-лауреат", этот отрывок, несомненно, покажется вдвойне примечательным».[20] К Ломоносову последние слова отношения не имели, но вывод, к которому приходил Кокерель на основе своих наблюдений над творчеством «невских поэтов», распространялся и на поэзию Ломоносова: «Русской музе всегда было чуждо раболепие; свое вдохновение она черпает из источника благородных и патриотических идей».[21]

Через несколько лет имя Ломоносова появляется в «Revue encyclopédique» снова. Неизменно помещая сведения почти обо

[17] См.: В. А. Десницкий. Западноевропейские антологии и обозрения русской литературы в первые десятилетия XIX века. В кн.: Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX веков. М.—Л., 1958, стр. 200—206.

[18] «Revue encyclopédique», 1821, t. 10, стр. 357.

[19] Там же, стр. 358.

[20] Там же.

[21] Там же, стр. 367.

всех русских — старых и новых — периодических изданиях, французский журнал обратил внимание и на выходивший в Петербурге с 1823 по 1825 г. под редакцией В. Григоровича «Журнал изящных искусств».[22] Впрочем, об инициативе «Revue encyclopédique» в данном случае можно говорить лишь условно: автором заметки об издании Григоровича, равно как и многих других очерков и статей, посвященных русской журналистике, был Сергей Дмитриевич Полторацкий, постоянный (с 1822 г.) корреспондент «Revue encyclopédique», впоследствии известный библиограф, длительное время сотрудничавший с Ж.-М. Кераром.[23]

«Журнал изящных искусств» публикует на своих страницах — в ряду прочих материалов — перевод отдельных мест из «Истории искусства древности» И.-И. Винкельмана, и в частности III главу I книги этого знаменитого труда. Содержавшаяся там мысль (кстати, заимствованная Винкельманом у Полибия[24]) об исключительной роли климата в развитии духовных способностей народа вызвала возражение Григоровича, который в своих примечаниях осторожно заметил, что «мнение сие может быть если не опровергнуто, то по крайней мере сильно оспариваемо».[25] Полторацкий в статье, напечатанной в 30-м томе «Revue encyclopédique», поддержал Григоровича. Почему, восклицал он, в современной Греции нет нового Фидия, Апеллеса, Гомера, Пиндара или Демосфена? И как объяснить тогда, что под северным небом родились Ломоносов, Державин, Дмитриев, Батюшков, Александр Пушкин, Томас Мур, лорд Байрон, Канова и Торвальдсен?[26]

Ломоносов оказывался, следовательно, первым среди «северных гениев», названных в подтверждение тезиса: «Гений присущ всем народам».[27]

В 1826 г. Ломоносов упоминается также в рецензии главного секретаря редакции «Revue» Эдма Жоашена Эро (Héreau), превосходного знатока русского языка и литературы, на «Русскую антологию» Э. Дюпре де Сен-Мора,[28] а затем уже в следующем году совсем в иной связи.

---

[22] Журнал выходил в 1823 г. (№№ 1—6) и 1825 г. (№№ 1—2).

[23] F.-M. Quérard. La France littéraire, t. XI. Paris, 1854—1857, стр. 478—484: А. Остроглазов. Сергей Дмитриевич Полторацкий. «Библиографические записки», 1892, № 1, стр. 15—24; Ф. Я. Прийма. С. Д. Полторацкий как пропагандист творчества Пушкина во Франции. «Литературное наследство», т. 58, М.. 1952, стр. 298—307.

[24] Polybius, éd. Casaubon, 1609, lib. 4, стр. 290.

[25] «Журнал изящных искусств», 1823, № 3 (ч. I), стр. 194.

[26] «Revue encyclopédique», 1826, t. 30, стр. 428.

[27] Сходную мысль еще в 1814—1815 гг. высказывал, между прочим, Батюшков в «Послании И. М. Муравьеву-Апостолу» (К. Н. Батюшков, Сочинения, М., 1955, стр. 234—235).

[28] «Revue encyclopédique», 1826, t. 32, стр. 381, 383.

С 1825 г. в России началось движение за сооружение в Архангельске памятника Ломоносову, «чтобы блеск славы его особенно отразился на тот край, где любовь к наукам вызвала его из среды сословия простых поселян, где он родился в низменной хижине рыбака».[29] Для этой цели по всей стране был предпринят сбор средств, широко поддержанный современной прессой.[30] В газетах и журналах печатались сообщения о поступлении средств, приводились списки жертвователей и т. п. Своеобразным «пожертвованием» явилась и ода Д. И. Хвостова «На сооружение памятника Ломоносову», вышедшая отдельным изданием,[31] все средства от распродажи которого поступили в фонд памятника — «торжественного свидетельства благодарности к заслугам гения, озарившего Россию».[32]

В 35-м томе «Revue encyclopédique» С. Д. Полторацкий известил французских читателей о выходе в свет сочинения Хвостова и о предполагавшемся памятнике Ломоносову, которого «по справедливости называют отцом русской литературы». Воздерживаясь, вслед за критиками русских журналов, от каких бы то ни было оценок произведения Хвостова, с его точки зрения, несомненно, лишенного всяких поэтических достоинств, Полторацкий в своей заметке говорил лишь о благородной цели, ради которой ода была написана.[33]

Последнее упоминание о Ломоносове в «Revue encyclopédique» относится к тому же 1827 г. Отметив, что в Варшаве «много занимаются переводом наиболее замечательных произведений русской литературы на польский язык», С. Д. Полторацкий писал далее: «Превосходный поэт, г-н Крушинский прочел на заседании Варшавского научного общества, которое состоялось в 1825 году, свой перевод оды Ломоносова под названием „Утреннее размышление о божием величестве“. Этот очень поэтичный перевод особенно замечателен удачным сочетанием стихотворного метра с рифмой. Для польской литературы это явилось новшеством, осуществить которое раньше неоднократно пытались, не достигая, однако, успеха».[34]

Ян Помиан Крушинский (1773—1845) был видным деятелем польской культуры, поэтом и переводчиком с латинского, итальянского, английского, французского, немецкого и русского язы-

[29] «Отечественные записки», 1825, ч. 22, № 61, стр. 328.

[30] См.: А. Г. Фомин. Опыт библиографического указателя литературы о М. В. Ломоносове. В кн.: Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время», т. VII. Пгр., 1915, стр. 27—29.

[31] На сооружение памятника Ломоносову в Архангельске, стихотворение графа Хвостова. СПб., 1825.

[32] «Отечественные записки», 1825, ч. 24, № 66, стр. 311.

[33] «Revue encyclopédique», 1827 t. 35, стр. 133—134.

[34] Там же, t. 36, стр. 802.

ков. Его перу принадлежали многочисленные переводы из Вергилия, Горация, Овидия, Альфьери, Тассо, Ариосто, Расина, Буало, Вольтера и др.[35] 6 мая 1825 г. на публичном заседании Варшавского научного общества, членом которого он был, Крушинский выступил с чтением сделанного им стихотворного перевода одной из ломоносовских од, выбранных из Иова (глава 38). В ежегоднике общества за 1825 г., где этот перевод был напечатан, указывалось на его художественное своеобразие: «Oda Łomonosowa o Bogu przełożna z Rossyiskiego na język Polski wierszem miarowym i rymowym».[36] Поскольку в 1825 г. ни о каких других выполненных Крушинским переводах сочинений Ломоносова не сообщалось, есть основание думать, что Полторацкий имел в виду именно этот перевод.[37]

Таким образом, в числе многих других русских писателей Ломоносов неоднократно фигурирует на страницах интереснейшего периодического издания Франции 1820-х годов — «Revue encyclopédique». Приводимые в нем данные о Ломоносове не всегда отличаются точностью, но по сравнению со старыми иностранными обзорами русской литературы и биографическими словарями начала века «Revue encyclopédique» вносит немало нового. Благодаря французскому журналу европейский читатель получил возможность не только несколько расширить круг сведений о «родоначальнике русской поэзии», но и как-то осмыслить его творчество. Вместе с тем «многогранный гений» Ломоносова послужил для «Revue encyclopédique» одним из важных аргументов в защиту излюбленной журналом мысли о том, что в мире не существует народов и стран, обреченных на вечное прозябание и духовный застой.

---

[35] О Я. Крушинском см.: «Zyciorysy znakomitych ludzi», t. 1. Warszawa, 1851, стр. 181—184: «Cmentarz powązkowski pod Warszawą, opisał K. Wł. Woiciski», t. 1. Warszawa, 1855, стр. 115—121: «S. Orgelbranda Encyklopedyja powszechna», t. VIII, Warszawa, 1900, стр. 640; «Wielka Encyklopedyja powszechna ilustrowana», t. XLI, Warszawa, 1908, стр. 194—195 (статья Мариана Дубецкого).

[36] «Roczniki towarzystwa królewskiego warszawskiego przyiacioł nauk», t. 18, Warszawa, 1825, стр. 336—341. Перевод: «Ода Ломоносова о боге, переведенная с русского языка на польский метрическим и рифмованным стихом».

[37] Перевод этот стал в известном смысле классическим. Он до сих пор печатается в польских антологиях русской поэзии. См., например: Dwa wieki poezji rosyjskiej. Warszawa, 1951, стр. 14—15 (первое издание антологии 1947 г.).

Т. А. ЛУКИНА

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О СЕСТРЕ ЛОМОНОСОВА М. В. ГОЛОВИНОЙ И ЕГО ПЛЕМЯННИКАХ М. Е. и П. Е. ГОЛОВИНЫХ

В настоящее время мы располагаем достаточными материалами, относящимися к биографии Ломоносова, но сведения о близких родственниках его все еще очень скудны.[1] Из письма Ломоносова к его сестре Марии Васильевне Головиной[2] видно, что он относился к сестре и ее семье с большой любовью и вниманием; особенно заботился он о сыне Марии Васильевны, Мишеньке (Михаиле Евсевьевиче Головине), взял его к себе в Петербург, когда ему было всего 8 лет, определил в Академическую гимназию и сам наблюдал за его учением. «Поверь, сестрица, — писал Ломоносов, — что я об нем стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный ... Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет».[3] М. Е. Головин оправдал надежды Ломоносова. Это был разносторонний ученый, работавший в области физики, астрономии, математики, кораблестроения, античной филологии; он был пылким просветителем, стремившимся к развитию отечественной науки и культуры.[4]

О последних годах жизни М. Е. Головина мы знаем, в сущности, очень мало. Известно только, что он подвергался несправедливым гонениям и притеснениям со стороны администрации

[1] См.: Б. Л. Модзалевский. Род и потомство Ломоносова. «Ломоносовский сборник», СПб., 1911, стр. 335—336; П. П. Пекарский. История имп. Академии наук в Петербурге, т. II. СПб., 1873, стр. 885—890 (далее: Пекарский, т. II); Н. А. Голубцов. Род М. В. Ломоносова и его потомство. «Ломоносовский сборник», под ред. Н. А. Голубцова, Архангельск, 1911, стр. 30—39; П. П. Свиньин. Потомки и современники Ломоносова. «Библиотека для чтения», 1834, т. II, № 2, отд. I, стр. 212—220.

[2] М. В. Головина была моложе своего брата на 25 лет. Она жила в селе Матигоры, неподалеку от Курострова; ее выдали замуж за крестьянина этого села Евсевия Федоровича Головина (Пекарский, т. II, стр. 885). Он был владельцем «медного дела кузницы». (Архангельский обл. архив, ф. 1, оп. 1, № 9365, лл. 1—4).

[3] М. В. Ломоносов, Сочинения, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 315—316, стр. 316—318 второй пагинации.

[4] Характеристику его научной деятельности см.: Б. Е. Райков. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. М.—Л., 1937, стр. 235—238; 2-е изд. М.—Л., 1947, стр. 348—355.

Академии наук в лице С. Г. Домашнева, а затем княгини Е. Р. Дашковой, в результате чего он был выпужден в 1786 г. покинуть Академию.[5] Публикуемые ниже письма М. Е. Головина 1786 и 1789 гг. помогают выяснить обстоятельства ухода его из Академии и проливают свет на косвенные причины его ранней смерти.

С 1782 г. адъюнкт Академии М. Е. Головин по приказанию директора Академии С. Г. Домашнева занимался составлением ежегодно издаваемого Академией наук на русском и немецком языках календаря.

С. Г. Домашнев, а после 1783 г. княгиня Дашкова относились к этой работе М. Е. Головина с мелочной придирчивостью; так, княгиня Дашкова отметила в Академическом собрании 7 ноября 1785 г., что подготовленный Головиным к печати календарь содержит «непростительные неправильности». Глубоко обиженный резкими выходками Дашковой, допущенными по отношению к нему из-за незначительных ошибок в календаре, М. Е. Головин подал прошение об отставке. Княгиня Дашкова сообщила в Академическом собрании, что она принимает отставку Головина.[6] Одновременно Головин обратился к собранию с просьбой о присвоении ему звания профессора, прежде чем он оставит Академию. Просьба эта была изложена в письме на имя академика И.-А. Эйлера, публикуемом впервые.

Высокоблагородный, глубокоуважаемый господин профессор!

Ваше высокоблагородие соблаговолили спросить меня через г. Корца,[7] приступил ли я к составлению календаря и желаю ли я держать корректуру произведений г. Ломоносова. На эти вопросы я имею честь вам ответить, что хотя я уже начал работать над календарем, но сделанная часть работы еще не заслуживает быть представленной Академии. Я сам передам начатое г. издателю.[8] Я охотно буду держать корректуру произведений г. Ломоносова, также постараюсь и в будущем быть полезным Академии. Между прочим, покорнейше прошу ваше высокоблагородие представить Академии, что она могла бы быть более милостивой, и напомнить ей о том, о чем было принято решение несколько лет назад, а именно, сделать меня профессором. Это послужило бы к ее и к моей чести. До тех пор, пока я оставался в Академии, я старался

[5] Об условиях работы его в Академии см.: В. Бобынин. Михаил Евсевьевич Головин. «Математическое обозрение», 1912, № 4, стр. 179 и сл., № 5, стр. 217 и сл.; № 6, стр. 278 и сл.; № 7, стр. 313 и сл., стр. 369 и сл.

[6] Протоколы Конференции, т. I, стр. 6.

[7] Секретарь Академического собрания.

[8] 6 февраля 1786 г. М. Е. Головин представил начало календаря на 1786 г. для передачи профессору С. Я. Румовскому.

делать все, что на меня возлагалось; обещаю делать то же и в будущем. Места, которые я по своей профессии занимал в Смольном институте, в Пажеском корпусе и в Народном училище,[9] до сих пор служили только чести Академии. Из этого можно усмотреть, что я не посрамлю Академии, если она исполнит мою покорнейшую просьбу. Впрочем, имею честь пребыть с глубочайшим уважением и искренним почтением

Вашего высокоблагородия
покорнейший слуга
М. Головин.

6 февраля 1786 г.[10]

Вероятно, на заседании 6 февраля 1786 г. академики говорили о необходимости как-то удержать М. Е. Головина при Академии, так как 13 февраля того же года секретарь И.-А. Эйлер заявил о согласии княгини Дашковой причислить Головина к классу заштатных адъюнктов.[11]

Звание это не давало М. Е. Головину никаких средств; с уходом из Академии материальное положение его резко ухудшилось. У него оставалась только работа в Комиссии об учреждении училищ,[12] начатая им еще в 1783 г. Помимо преподавательской деятельности с 1786 г., получив звание профессора учительской семинарии (он преподавал здесь математику), Головин много работал над составлением учебных пособий, перевел несколько учебников с немецкого языка (по физике, механике и математической географии).[13] По поручению Комиссии он составил «Краткое руководство к геометрии» (1785 г.) и «Краткое руководство к Гражданской архитектуре» (1789 г.), предпослав обоим учебникам интересные методические указания по преподаванию этих предметов и оценку их, в манере XVIII в., с точки зрения полезности в практической жизни.

---

[9] Здесь говорится о работе М. Е. Головина в Петербургском главном народном училище, которое было открыто в 1782 г.

[10] Архив АН СССР, ф. 1, оп. 2, 1786, февраль, Протокольные бумаги № 2. Подлинник, писанный рукой М. Головина на немецком языке. На письме помета: «Прочитано в Академическом собрании 6 февраля 1786 г.» (Протоколы Конференции, т. IV, стр. 9).

[11] Протоколы Конференции, т. IV, стр. 10.

[12] Эта Комиссия была учреждена в сентябре 1782 г. и начала свою деятельность с открытия в Петербурге главного народного училища и учительской семинарии при нем. Комиссия взяла на себя заботу о составлении учебных пособий.

[13] Характеристика деятельности М. Е. Головина по переводу и составлению учебников дана в книге: Б. Е. Райков. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России, изд. 2-е, стр. 348—355.

Составление учебников не давало, однако, прочного и постоянного заработка; нужда, лишения, сожаления о разрыве с Академией, несомненно, болезненно воспринятом Головиным, сильно подорвали его здоровье; в 1788—1789 гг. он был тяжело болен, пропустил много занятий в учительской семинарии; о бедственном положении ученого, к которому так несправедливо отнеслась администрация Академии, красноречиво повествует письмо его от 26 февраля 1789 г., недавно обнаруженное в деле «О напечатании Архитектуры гражданской сочинения проф. Головина для употребления учащихся».

Ваше превосходительство!
Милостивый государь!

Принят будучи под покров вашего превосходительства безо всяких моих заслуг перед вами, все излиянные на меня милости относить единственно должен я к добродетельной душе вашей, таковыми благотворениями услаждающейся.

Сколь велик ни был долг стараться заслужить все милости и сколь сердечно рвение мое к тому ни было, но не всегда силы человека соответствовать могут его желанию; если во мне оных когда недоставало, то молю вас, лучше всему другому припишите, чем доброй моей воле. Никакой гнев ваш не мог бы столько покарать меня, сколько в таковых случаях мучило меня собственное сознание своей слабости и лютейшее совести угрызение не быть милостей ваших достойным.

Приходя в себя, удвоивал труды и тщание свое, дабы наградить сугубо время пропущенное; в чем всегда сколько был счастлив и успешен, свидетельствуюсь всеми, учеников моих видевшими и слышавшими. Употребив на обучение учителей первого выпуска около трех лет, кончил с последним усугубленным старанием те же науки в полтора года, и если положить, что сей раз печатные книги немало трудов как учительских, так и ученических сокращали, то я представлял на то место пройденную мною в сие же время алгебру, тригонометрию сферическую, конические сечения и основания дифференциального и интегрального калькулюсов, как и такие предметы, на кои не токмо книг не было, но и коих преподавания от меня не требовалось; я же предприял оное единственно по усердию моему, поощряемый к сему благодеяниями Вашего превосходительства. Сверх сего не щадил и остального своего времени, но обращал оное на написание в пользу училищ Географии математической и на сочинение вновь Архитектуры гражданской.[14] Пересматри-

[14] До нахождения этого письма работа М. Е. Головина «Об архитектуре» считалась переводной, а не оригинальной.

вая также разные переведенные книги для будущих университетов, я участвовал в издании небесных глобусов, исправляя, одним словом, все возлагаемые на меня сверх должности дела с охотою, когда токмо в силах моих состояло.

При всех таковых трудах лишаюсь я, однако же, жалованья более, нежели целого года так, как бы я вовсе ничего не делал и как бы разосланные ныне по государству учители обучены были не мною. Буде были дни, мною пропущенные, то успехи учеников моих показывают, что были и другие, из которых я неотменно те пропуски должен был вознаградить. Не к тому привожу сие, чтобы совершенно оправдать себя надеялся, погрешности мои мне всех должны быть ощутительнее, но смею только представить сие вашему превосходительству для того, дабы показать, что претерпение мое таковому проступку, от которого, кроме меня же, никто вреда или урону не чувствует, не соразмерно. Но если строгость взыскания на мне должна быть явлена образом примерным, не взирая на то, что делу, на меня возложенному, помехи никакой от того не приключилось, и что ожиданию вашего превосходительства удовлетворил, смею сказать, совершенно, и ничем прочих моих товарищей не хуже, то, с другой стороны, справедливость будет требовать, дабы за труды, сверх должности и из одного усердия понесенные, в таковой же степени правосудия присуждено было воздаяние, в каковой то взыскание определяется.

Я в сем случае взываю токмо правый суд вашего превосходительства, дерзнул на всепокорнейшее сие объяснение в том чаянии, что, может быть, вашему превосходительству не все труды мои известны.

В том только уверить вас, еще, милостивый государь, смею, что нося на себе благодеяния ваши, не могу не рваться ревностию моей к должности, как единым средством заслуживать оные.

В прочем имею честь быть навсегда с глубочайшим моим высокопочитанием

Вашего превосходительства
милостивого государя
почтеннейшим и преданнейшим слугою
Михайло Головин.

1789 г.
Февраля 26 дня.[15]

---

[15] ЦГИАЛ, ф. 730, оп. 1, № 131, л. 4—5. Подлинник. На письме помета: «Получено февраля 27 1789». Адресовано, вероятно, П. В. Завадовскому, возглавлявшему в то время Комиссию об учреждении училищ.

По-видимому, Головин просил в этом письме, чтобы не удерживали жалованье за дни занятий в учительской семинарии, пропущенные им по болезни. Никаких сведений о том, что просьба его была удовлетворена, нет. Состояние здоровья его все ухудшалось, и 8 июня 1790 г. он умер, одинокий, в тяжкой нужде. Только через полгода добралась до Петербурга из Матигор его мать, сестра Ломоносова Мария Васильевна Головина, и нашла своего сына уже похороненным.

Большой интерес представляет недавно обнаруженное письмо Марии Васильевны, написанное вскоре после приезда ее в Петербург.

В фонде Комиссии об учреждении училищ, хранящемся в ЦГИАЛе, имеется особое дело «О напечатании Архитектуры гражданской сочинения проф. Головина для употребления учащихся».[16] В это дело и был случайно вложен интересный документ, который не только проливает свет на последние годы жизни М. Е. Головина, но и раскрывает неизвестный до сих пор образ замечательной женщины, близкой родственницы двух русских ученых. По всей вероятности, оно адресовано П. В. Завадовскому; письмо написано в эмоционально приподнятом, взволнованном тоне, выражающем искреннее человеческое горе.

Милостивый государь!

Бессчастная старуха, не осушавшая глаз своих по брате, украшавшем рода своего отчизну, рыдает ныне по сыне, долженствовавшем быть подпорою ея дряхлости и последним утешением. Ко стопам того благотворителя, коего милостию цвел он во дни свои, повергает себя злополучная сия мать, собравшая последние свои силы прибресть за тысячи верст узреть сыновний прах, дабы, согрев оный горячими своими слезами, отдать душе последний долг христианского поминовения и любви матерней. Преклоните, милостивый государь, благоутробие ваше к горести несчастной, раздираемой теперь сугубою печалею. Потеряв сына, лишается она всего своего в старости пропитания, а притом видит еще и самое малое оставшееся по нем имущество, на уплату долгов его не токмо истощающееся, но и недостающее. Не дерзаю и не знаю ничего о заслугах сына моего; ведаю токмо, что милости ваши далеко оные превышали. Взываю единственно милосердие и щедроту вашу, толико крат в жизнь благотворившую ему. Тысяща способов в деснице вашей разрешить сына моего на земли, да разрешен будет на небеси. Пусть само добро-

[16] ЦГИАЛ, ф. 730, оп. 1, № 131, 1789, на 15 листах.

детельное ваше сердце укажет вам одно. А я пролию пред господом и молитвы мои и слезы во вся дни, да сохранит благоденствие дому вашего в неисщетные годы.

Вашего превосходительства
милостивого государя
всепокорнейшая
Мария Головина.[17]

Образ Ломоносова все время стоит перед нами, когда мы читаем это письмо. Написанное через 26 лет после его смерти, письмо начинается воспоминанием о нем, как если бы он умер совсем недавно. Сестра Ломоносова глубоко сознавала истинную сущность патриотической деятельности своего брата и так же горячо любила свое отечество, как и он: любовь к родине должна была подсказать ей прекрасные слова о брате, «украшавшем рода своего отчизну».

М. Е. Головин умер 8 июня 1790 г., а мать его прибыла в Петербург зимой 1791 г., мужественно решившись на это трудное путешествие и, вероятно, вспоминая при этом, как когда-то, много лет назад, ушел из Холмогор по снежным северным дорогам ее старший брат.

Комиссия, правда, удовлетворила ее просьбу, определив выдать ей 200 руб. за все труды ее сына в области русского просвещения, но едва ли это улучшило материальное положение семьи Головиных.

В тот же день, 15 января 1791 г., в журнале «Комиссии об учреждении училищ» было отмечено, что «Комиссия, помятуя труды покойного, послужившего ей не токмо в приуготовлении учителей для народных училищ, но и в издании многих книг, и слыша при том, что за сочинение Гражданской архитектуры и Математической географии оный покойный профессор ничем награжден быть не успел, трудившись над оными довольное время, а паче над первою, которая хотя и к предметам учения его не принадлежала, но предпринята и сочинена им была из особого усердия его и всегдашней готовности ко всякому возлагаемому на него делу, определила выдать оной матери его за сии труды

[17] ЦГИАЛ, ф. 730, оп. 1, № 131, л. 6—6 об. На письме помета: «Получено 1791 января 15». Подлинник без даты, почерк не писарский, подпись и текст написаны одной рукой. Поскольку автографов Марии Васильевны не сохранилось, можно предположить, что писала она сама или кто-либо другой по ее просьбе, хотя обычно в таких случаях всегда указывалось, что за неграмотностью автора письма писал такой-то. Внизу 6-го листа приписка секретаря Комиссии: «Определение состоялось, и приказание дано о выдаче денег сего ж числа».

его 200 рублей, тем более, что оные книги уже напечатаны и в пользу училищ употребляются».[18]

О жизни Марии Васильевны в последующие годы мы почти ничего не знаем.

Имя ее встречается в письме архангельского губернатора Ахвердова князю Алексею Борисовичу Куракину от 7 августа 1798 г.: «...осмеливаюсь на несколько минут остановить внимание ваше на славном уроженце неважного Курострова, Российского Пиндара, Михайлы Васильевича Ломоносова, толико важные заслуги отечественной литературе оказавшего и прекрасным пеньем дел двух великих государей всеобщую любовь сынов и благодарность заслуживщего, сестра родная, 62-летняя вдова, живет во крестьянстве с сыном и внучатами, коим прилагается при сем список, в лежащей неподалеку от Курострова того же Холмогорского уезда Матигорской волости, куда была выдана в замужество за крестьянина Головина. Сия старушка есть мать профессора Санктпетербургской Академии наук Головина, который необыкновенными дарованиями начинал являться достойным Ломоносова племянником, но коего безвременная смерть пресекла успехи».[19] Далее Ахвердов просит ходатайствовать перед императором об освобождении потомства Ломоносова от рекрутства. Из этого документа мы узнаем, что Мария Васильевна в 1798 г. уже была вдовой и жила с сыном Петром.

Царское правительство, ничего не сделав для материального обеспечения семьи двух замечательных ученых, именами которых по праву гордится русский народ, 22 августа 1798 г. даровало семье Головиных освобождение от рекрутства[20] — милость, которой Петр Евсевьевич остался недоволен, так как односельчане стали завидовать ему и притеснять его.[21]

Дальнейшая судьба Марии Васильевны не известна. Не установлена даже дата ее смерти, колеблющаяся между 1807 и 1826 гг.[22]

---

[18] ЦГИАЛ, ф. 730, оп. 1, № 131, л. 7.

[19] «Вестник Европы», 1864, кн. II, № 8, стр. 315.

[20] Архив АН СССР, ф. 20, оп. 4, № 445, «Дело 10 октября 1798 г. 2 экспедиции 2 стола Архангельского губернского правления об исключении из подушного оклада и об освобождении от рекрутских наборов рожденного от сестры статского советника Ломоносова крестьянина Холмогорского уезда Петра Головина с детьми. По описи 43 № 3665/587, на 18 листах». Передано в Архив АН СССР из Архива Архангельского губернского правления.

[21] П е к а р с к и й, т. II, стр. 888—889.

[22] Б. Л. М о д з а л е в с к и й. Род и потомство Ломоносова, стр. 33 и сл.

Е. С. КУЛЯБКО

ЛОМОНОСОВСКИЙ ЮБИЛЕЙ 1911 г.

Двухсотлетний юбилей со дня рождения М. В. Ломоносова, отпразднованный в 1911 г. Академией наук, является весьма интересной страницей недавней истории. В апреле 1909 г., т. е. за два с половиной года до торжества, академик А. А. Шахматов выступил в Общем собрании Академии с предложением избрать Юбилейную комиссию для выработки программы празднования этого дня, столь знаменательного для истории русской науки.[1] В состав Юбилейной комиссии, образованной под председательством непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга, были избраны от Отделения русского языка и словесности академики В. И. Ламанский, А. А. Шахматов и А. И. Соболевский и от Физико-математического отделения академики Н. Н. Бекетов, Б. Б. Голицын и В. И. Вернадский.

По предложению Б. Б. Голицына и В. И. Вернадского Комиссия наметила следующую программу юбилейных мероприятий:

1) завершить к юбилею Сухомлиновское издание сочинений Ломоносова с перепиской;[2]

2) выпустить к тому же сроку дешевое издание наиболее капитальных естественнонаучных трудов Ломоносова с краткими примечаниями;

3) напечатать материалы для его биографии, не использованные П. С. Билярским и П. П. Пекарским;[3]

---

[1] Протоколы заседания Общего собрания Академии наук, 1909 г., апреля 11, § 98.

[2] План этого издания напечатан в «Записке М. И. Сухомлинова о предпринимаемом им издании сочинений Ломоносова» («Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. XLII, СПб., 1887, стр. IV—VI). Согласно этому плану, М. И. Сухомлинов и осуществлял свое издание.

[3] В связи со столетним юбилеем Ломоносова, отпразднованным в 1865 г., были изданы различные собрания архивных материалов о Ломоносове, в том числе капитальная работа П. С. Билярского «Материалы для биографии Ломоносова» (СПб., 1865) и П. П. Пекарского «Дополнительные известия для биографии Ломоносова» (СПб., 1865), а также составленное им же известное жизнеописание Ломоносова, опубликованное в 1873 г. в «Истории Академии наук» (т. II, стр. 259—892).

4) составить словарь языка Ломоносова как литературного, так и научного;

5) подготовить сборник статей о Ломоносове, предложив принять участие в нем высшим учебным заведениям страны;

6) издать научное жизнеописание Ломоносова с особым введением от Академии;

7) установить премии за лучшее сочинение на общую тему о Ломоносове как провозвестнике современных течений в области физико-химических наук и на частные темы о работах Ломоносова: а) по метеорологии и атмосферному электричеству, б) по вопросу о силе тяжести, в) по мореходству и г) по приборостроению;

8) составить библиографию о Ломоносове, русскую и иностранную, с привлечением помимо отечественных также и иностранных библиографов.

Кроме того, Комиссия признала желательным организовать при Библиотеке Академии наук специальный отдел, посвященный Ломоносову (Lomonosoviana) и устроить в юбилейные дни в Академии наук Ломоносовскую выставку. Для увековечения памяти Ломоносова было постановлено возбудить ходатайство о сооружении при Академии наук особого Ломоносовского института и о постановке памятника Ломоносову между Университетом и Академией наук.[4]

Эта программа, которой нельзя отказать ни в стройности, ни в широком размахе, начала быстро претворяться в жизнь. В 1910 г. в состав юбилейной Ломоносовской комиссии были введены новые члены: академики А. П. Карпинский и Ф. Н. Чернышев, профессор Б. Н. Меншуткин, А. И. Вилькицкий и Г. М. Князев.

Не завершенное к этому времени академическое издание «Сочинений М. В. Ломоносова» было продолжено Отделением русского языка и словесности в 1887 г. по предложению академика М. И. Сухомлинова.[5] По существовавшему в те времена обыкновению М. И. Сухомлинов работал над собранием сочинений единолично. В поисках новых ломоносовских материалов, желая обнародовать «все без изъятия» сочинения и письма Ломоносова, а кроме того, написать и его биографию, М. И. Сухомлинов с подлинно юношеским энтузиазмом (ему было тогда около шестидесяти лет) изучал многочисленные фолианты академического архива, усердно работал и в других архивах, вел обширнейшую

---

[4] Архив АН СССР, ф. 57, оп. 1, № 1, лл. 11, 13, 17, 107 и др.

[5] Оригинал этого предложения, датированного 16 марта 1887 г., хранится в делах Отделения русского языка и словесности (ф. 9, оп. 1, № 608, лл. 3—4).

переписку с самыми разнообразными учреждениями и лицами, разъезжал по провинциальным городам и даже побывал в Германии — в Дрездене и Фрейберге. За семнадцать лет он выпустил пять томов сочинений Ломоносова[6] и десять томов «Материалов для истории Академии наук».[7]

Значительная заслуга М. И. Сухомлинова состояла в том, что силой своего энтузиазма он сумел вовлечь в работу над Ломоносовым целую плеяду блестящих русских ученых своего времени, ведущих членов Физико-математического отделения Академии наук. По просьбе М. И. Сухомлинова рецензентом публиковавшихся им естественнонаучных работ Ломоносова выступили академики Н. Н. Бекетов, Ф. А. Бредихин, Б. Б. Голицын, М. А. Рыкачев и Ф. Н. Чернышев. Никто из них, кроме Н. Н. Бекетова, не занимался ранее изучением Ломоносова[8] или во всяком случае ничего не печатал о нем. Их отзывы были обнародованы М. И. Сухомлиновым в IV и V томах собрания сочинений Ломоносова. Некоторые из этих отзывов цитировались впоследствии в ломоносовской литературе, но общее их значение оценено еще недостаточно.

После смерти М. И. Сухомлинова выпуск очередных томов сочинений Ломоносова приостановился. Отделение русского языка и словесности, покончив с печатанием художественных произведений Ломоносова и его филологических работ, было очень мало заинтересовано в скорейшем выпуске чуждых ему по тематике томов этого издания и не располагало нужными для этого силами.

Лишь в начале 1903 г. Отделение постановило: «Просить академика В. И. Ламанского взять на себя заведывание редакцией последующих томов сочинений Ломоносова». В. И. Ламанский в молодости горячо и углубленно изучал биографию Ломоносова и историю Академии наук ломоносовского времени,[9] но с тех пор в течение сорока лет ни разу не возвращался более к этим темам. Учитывая преклонный возраст В. И. Ламанского, Отделение возложило на него номинальное заведывание редакцией, с тем чтобы он подыскал лицо, которое могло бы посвятить себя работе над этим изданием. На подыскание такого лица ушло четыре года

[6] Первый том вышел в 1891 г., второй — в 1893, третий — в 1895, четвертый — в 1898, пятый том, вполне подготовленный М. И. Сухомлиновым, вышел в свет через полгода после его смерти, в 1902 г.

[7] Материалы для истории императорской Академии наук, тт. I—X, СПб., 1885—1900.

[8] Н. Н. Бекетов. О трудах Ломоносова по физике (1747—1757). Речь, произнесенная в Харькове в 1865 году на столетнем юбилее со дня смерти Ломоносова. Речи химика. 1862—1903. СПб., 1908, стр. 20—26.

[9] См.: В. И. Ламанский. Ломоносов и Петербургская Академия наук. Материалы к столетней памяти его. 1765—1865 года апреля 4-го дня. М., 1865.

и только 2 февраля 1907 г. В. И. Ламанский довел до сведения Общего собрания Академии, что он «приступает к продолжению полного собрания сочинений Ломоносова».[10] Работа действительно наконец сдвинулась с места: ее повели профессор Б. Н. Меншуткин и бывший ученик В. И. Ламанского, близкое ему лицо, Г. М. Князев, преподаватель русской словесности в одном из петербургских реальных училищ.[11] Кое-что делал и сам Ламанский; сохранились известия, что в 1908 г., уже в возрасте 75 лет, он наведывался по ломоносовским делам в Архив Академии.[12]

В конце 1908 г. основной текст VI тома, а несколько позднее и VII тома был сдан в набор.[13] Трудно установить, чем был вызван необычайно медленный ход их печатания. Основной причиной затяжки была, очевидно, перегруженность Академической типографии, в то время еще маломощной. Сказывались, может быть, и трения, возникавшие по временам между Б. Н. Меншуткиным и Г. М. Князевым. Филолог не без основания критиковал переводы физико-химика, а физико-химик отвергал эту критику, ставя на вид филологу его неосведомленность в вопросах физики и химии.[14] К предстоящему двухсотлетию со дня рождения М. В. Ломоносова из состава трех неизданных томов его сочинений было отпечатано только три листа.[15]

Б. Б. Голицын, замещая непременного секретаря,[16] оказывался тем самым по тогдашним условиям единовластным распорядителем всех академических изданий и столь же самодержавным хозяином Академической типографии. Пользуясь этим, он добился перелома в ходе работы над собранием сочинений Ломоносова, предписав Типографии ускорить набор этого издания и поставить его в число изданий срочных.

Б. Н. Меншуткин и Г. М. Князев, кооптированные в члены Ломоносовской комиссии, подробно отчитывались в каждом заседании, обещая издать оба тома к сроку.[17]

Значительная часть переписки Б. Б. Голицына с членами Юбилейной комиссии касается издания научных работ Ломоносова. Академики В. И. Вернадский и Ф. Н. Чернышев согласились участвовать в издании и взяли на себя редакцию научных статей

---

[10] Архив АН СССР, ф. 1, оп. 1, № 216, Протокол Отделения русского языка и словесности, 25 января 1903 г.

[11] Жизнеописание Г. М. Князева (1858—1919), список его печатных трудов и отзыв академика П. А. Лаврова о его научной деятельности см.: Архив АН СССР, ф. 2, оп. 1926, № 40, лл. 242—245.

[12] Архив АН СССР, ф. 35, оп. 1, № 967.

[13] «Известия Академии наук», 1909, № 2, стр. 98.

[14] Архив АН СССР, ф. 327, оп. 2, № 140.

[15] Там же, ф. 57, оп. 1, № 1, л. 221, об.

[16] С. Ф. Ольденбург был в это время в научной командировке.

[17] Архив АН СССР, ф. 57, оп. 1, № 1, лл. 16 об, 19 об, 131 об.

Ломоносова по минералогии; редактирование и составление примечаний к научным работам Ломоносова по химии и физике было поручено Б. Н. Меншуткину, а по морскому делу — А. И. Вилькицкому.[18]

Физико-математическое отделение Академии и ее Общее собрание приняли предложенный Комиссией перечень Ломоносовских тем на соискание премий им. М. Н. Ахматова[19] в 1911 г. и поспешили его утвердить.[20]

За ученое жизнеописание Ломоносова были объявлены особые премии: большая премия в 2000 руб. и четыре малые премии по 500 руб. Большая премия назначалась за ученое жизнеописание Ломоносова с оценкой его деятельности как писателя, ученого и гражданина. Малые премии — за сочинения, обнимающие деятельность Ломоносова в области: 1) физики и химии, 2) минералогии, геологии, металлургии, 3) философии и словесности, 4) географии, статистики, политической экономии и русской истории.[21]

Во всех университетах обсуждалось небывалое в их практике предложение Академии об участии в выпускаемом ею Ломоносовском сборнике. Все архивы страны, пробужденные на время от привычной для них в те годы дремоты, принялись выявлять документы, имеющие отношение к Ломоносову. Помимо официальных запросов о ломоносовских документах, посланных Комиссией в петербургские и московские архивохранилища, непременный секретарь Академии обращался лично к ряду лиц с просьбой помочь в этом деле Комиссии. Сохранились отпуски писем Б. Б. Голицына к В. И. Вернадскому с просьбой выяснить, какие рукописи Ломоносова хранятся в Московском публичном и Румянцевском музеях,[22] к архангельскому вице-губернатору А. Ф. Шидловскому с запросом о ломоносовских документах, находящихся в архивах Архангельска и его губернии.[23] А. Я. Савич организовал поиски документов в архиве Министерства юстиции, А. И. Вилькицкий — в архивах Морского министерства и Глав-

---

[18] Там же, ф. 1, оп. 1, № 57, л. 99.

[19] Награды из капитала, завещанного Академии наук в 1885 г. М. Н. Ахматовым, присуждались ежегодно, каждым из трех отделений Академии (Физико-математическим, Историко-филологическим и Отделением русского языка и словесности) за сочинения по всем отраслям научных знаний и изящной литературы. На конкурс в 1911 г. были допущены только труды о сочинениях и деятельности Ломоносова.

[20] См.: Протоколы Физико-математического отделения от 3 февраля 1901 г., § 67; Протоколы Общего собрания от 6 февраля 1910 г., § 36; ф. 1, оп. 1, № 57, лл. 87—89.

[21] Архив АН СССР, ф. 57, оп. 1, № 1, л. 115.

[22] Там же, л. 26.

[23] Там же, л. 100.

ного гидрографического управления, С. А. Белокуров изъявил желание просмотреть документы в архиве Министерства иностранных дел и в других архивах Москвы, относящиеся ко времени пребывания Ломоносова в Славяно-греко-латинской академии. Выявлением архивных материалов для биографии Ломоносова занялись даже архивы Синода и Александро-Невской лавры.

Большое внимание было уделено составлению справочника, посвященного библиографии сочинений Ломоносова. Эта работа была возложена на библиографа П. А. Дилакторского, а после кончины последнего (10 декабря 1910 г.) поручена приват-доценту Петербургского университета Г. З. Кунцевичу. В широком масштабе развернулась и другая работа — по составлению библиографического указателя литературы на русском, немецком, английском, шведском и романских языках. Иностранные библиографы тщательно пересматривали полки всех наиболее значительных книгохранилищ Западной Европы в поисках упоминаний о Ломоносове.[24]

А тем временем сам Б. Б. Голицын и В. И. Вернадский усердно трудились над проектом «Ломоносовского института».

Воодушевление, владевшее Ломоносовской комиссией, не могло не вызвать вспышки активного сочувствия и в ее официальном председателе С. Ф. Ольденбурге, когда он в конце апреля 1910 г. вернулся к исполнению всех своих многосложных академических обязанностей. В первом же заседании Комиссии, происходившем под его председательством, он предложил дополнить юбилейную программу выпуском «Трудов и дней Ломоносова», т. е. хронологической канвы его жизни и деятельности.[25]

Но в том же заседании Комиссии впервые прозвучали и некоторые другие нотки. Тогда они никого, по-видимому, не встревожили, а между тем (теперь, зная последующее, мы видим это ясно) они предвещали близкий поворот деятельности Комиссии в совершенно иную сторону.

В апрельском заседании 1910 г. на обсуждение Юбилейной комиссии как бы невзначай был поставлен невиннейший на первый взгляд вопрос о сочинении кантаты в честь Ломоносова. Текст кантаты «милостиво» согласился написать сам «августейший» президент Академии, подвизавшийся на стихотворном поприще под псевдонимом К. Р., а сочинить музыку взялся

---

[24] Поиски документов велись в Парижской национальной библиотеке (Bibliothéque Nationale), Берлинской королевской библиотеке (Königliche Bibliothek), Британском Музее (British Museum), королевской библиотеке в Стокгольме (Kungl-Bibliothek).

[25] Архив АН СССР, ф. 57, оп. 1, № 1, л. 131 об.

чрезвычайно высокопоставленный сановник и царедворец А. С. Танеев.[26]

Последствия ничтожнейшего по существу эпизода с кантатой были далеко не ничтожны. По сохранившемуся делопроизводству Ломоносовской комиссии можно проследить, как переписка с архивами, университетами и библиографами, недавно еще живая и горячая, остывает мало-помалу, а затем и почти вовсе вытесняется суетливой корреспонденцией с «высочайшим» поэтом и «высокопревосходительным» композитором. Центр внимания Ломоносовской комиссии неприметно смещался: предметом главных забот был теперь уже не сборник ученых статей о Ломоносове и не исследовательский институт его имени, а баритоны и контральто «императорской» оперы, которым предстояло исполнять с эстрады Дворянского собрания[27] положенные на ноты великокняжеские вирши.

К возне из-за кантаты присоединились еще нервные пререкания с городской управой по высоко принципиальному вопросу о том, где ставить памятник Ломоносову — в средней ли части Университетской линии Васильевского острова (теперь Менделеевской) или же при выходе ее на набережную Большой Невы.[28] В итоге этого глубокомысленного спора, на который ушло много академических чернил, памятника не поставили нигде.

Когда приблизились юбилейные дни и прошел слух, что на Ломоносовском торжественном заседании будет, может быть, присутствовать Николай II,[29] на руководство Академии наук навалились новые заботы. Целый том составился из переписки непременного секретаря с более или менее «знатными обоего пола особами», заявившими — тогда весьма запальчиво и ядовито — о своем праве посмотреть на пышное зрелище и чрезвычайно обиженными тем, что о них не вспомнили при рассылке приглашений. До Ломоносова ли было при всех этих обременительных хлопотах, где каждый неловкий шаг грозил серьезными неприятностями. Имя Ломоносова было обращено в орудие совершенно определенной политики. Она-то и отвлекла устроителей юбилея от попытки углубить изучение Ломоносова.

На день 7 ноября по всем церквам российской империи была назначена заупокойная обедня и панихида по Ломоносову, правлениям и советам духовных учебных заведений Синод предложил

---

[26] Не следует смешивать этого дилетанта с композитором С. И. Танеевым.

[27] Так назывался тогда большой зал нынешней Филармонии в Ленинграде.

[28] Архив АН СССР, ф. 57, оп. 71, № 2, л. 33.

[29] Слух не оправдался: Николай II, напуганный убийством Столыпина, уклонился от появления в многочисленном собрании.

в этот день устроить соответствующие чтения, посвященные Ломоносову.

8 ноября в зале Дворянского собрания состоялось торжественное заседание Академии наук в честь Ломоносова. Заштатные чиновники, стремившиеся напомнить о себе, прибегали к самым разнообразным уловкам, чтобы просочиться в число приглашенных. Так, руководитель цензурного ведомства ухитрился получить билет под маркой гласного Петербургской городской управы; товарищ министра внутренних дел — под видом представителя одного из подчиненных ему губернских статистических комитетов; член Государственного совета Н. А. Зверев воспользовался в тех же целях своей прикосновенностью к Обществу плодоводства, а другой член Государственного совета Б. В. Штюрмер, стяжавший впоследствии такую позорную известность как премьер царского правительства, вторгся в число гостей в составе делегации Ярославской архивной комиссии.[30]

С вступительным словом выступил «августейший» президент Академии. Оркестр и хор исполнили торжественную кантату, после чего были прочитаны четыре доклада: профессором Б. Н. Меншуткиным «Ломоносов как естествоиспытатель», А. И. Соболевским «Ломоносов в истории русского языка», П. И. Вальденом «Ломоносов как химик» и профессором В. В. Сиповским «Литературная деятельность Ломоносова».[31] Затем последовало чтение адресов от учреждений и обществ.

Однако же более всего искривило и смяло программу чествования Ломоносова одно сверхпрограммное юбилейное предприятие, которое своим однобоким, непомерным ростом заглушило все остальное: это была затеянная Академией выставка.

Программа этой выставки была разработана особой Выставочной комиссией, в которую помимо членов Академии вошли и посторонние лица. Роль Академии в этом деле была далеко не первенствующей. Подлинными хозяевами выставки оказались очень влиятельные в ту пору искусствоведы, которые подвизались в редакции искусствоведческого журнала «Старые годы». Ломоносов, весь обращенный к будущему, был, разумеется, глубочайшим образом чужд этим ярым приверженцам прошлого. Его юбилей явился для них всего лишь удобным случаем показать только внешнюю красивость феодальной старины. На Академию же, которая опрометчиво обратилась к ним за помощью, они взвалили всю черную работу. Памятником этой работы служит уже не один

---

[30] См.: Список учреждений и обществ и их представителей, принявших участие в торжественном собрании имп. Академии наук 8 ноября 1911 года в память 200-летия со дня рождения М. В. Ломоносова. СПб., 1911.

[31] Архив АН СССР, ф. 57, оп. 1, № 3, лл. 164—173.

том, а целых восемь томов переписки все того же непременного секретаря Академии.[32]

Выставка называлась «Ломоносов и Елизаветинское время». Это название неточно: Ломоносову было отведено отнюдь не первое место. Посвященный ему отдел,[33] вернее сказать — подотдел, терялся среди двенадцати других, несравненно более роскошных отделов, которые навязывали вниманию посетителей показную сторону придворного и аристократического быта середины позапрошлого столетия. В Ломоносовском подотделе были представлены известные портреты и бюсты Ломоносова, а также портреты его покровителей, родственников и знакомых, рукописи его сочинений и его автографы, печатные издания его произведений, официальные документы, касающиеся его лично и его научной деятельности, мозаичные работы его и основанной им мозаичной фабрики, вещи, ему принадлежавшие, как то: диплом на звание профессора химии, выданный за подписью президента в марте 1751 г., грамота на землю в Копорском уезде при деревне Усть-Рудице, пожалованную ему императрицей Елизаветой, физические и астрономические инструменты,[34] серебряные часы (луковица) с двумя ключиками на шелковом шнурке, серебряное блюдо с выгравированными буквами на обороте, сочинения Германа Бургава,[35] бывшие настольной книгой Ломоносова, а также виды местностей, связанных так или иначе с его именем, и, наконец, некоторые иллюстрации, рисующие различные моменты его жизни. В путеводителе по выставке Ломоносовскому подотделу было уделено всего полстраницы из тридцати двух.[36]

Невыполнение юбилейной программы объясняется в значительной мере тем, что из рук ее авторов Б. Б. Голицына и

---

[32] Там же, №№ 5—12.

[33] Этот отдел носил название: «Ломоносов. Академия наук. Московский университет». Оформление его приняли на себя С. Ф. Ольденбург, А. А. Шахматов, Б. Л. Модзалевский, В. И. Срезневский и барон А. П. Штакельберг.

[34] Научные инструменты Ломоносова после его смерти были приобретены у его вдовы графом В. Г. Орловым и сохранились в имении графов Орловых-Давыдовых — Отраде Серпуховского уезда. Инструменты эти следующие: электрическая машина трения, кондуктор на изолирующей ножке для собирания электричества, с гребенкой и двумя колокольчиками для электрического звона, кондуктор на изолирующей подставке для собирания электричества с машины, лейденская банка, медный баллон с нагнетательным насосом, воздушный насос с двумя цилиндрами для разрежения газов, два Героновых шара с нагнетательным насосом, земная (подзорная труба), астрономическая труба-рефлектор.

[35] Elementa chemiae, quae anniversario labore ducuit in publicis, privatisque scholis, Hermannus Boerhaave. Lugduni Batavorum. MDCCXXXII, 2 тома.

[36] Путеводитель по выставке «Ломоносов и Елизаветинское время». СПб., 1912, стр. 16.

В. И. Вернадского ушло не только официальное, но и фактическое руководство Ломоносовской комиссией: их оторвали другие дела. Для Б. Б. Голицына 1909—1911 гг. были временами едва ли не наибольшего напряжения его многосторонней исследовательской, приборостроительной, преподавательской и научно-организационной деятельности, которая и отвлекала его от Ломоносова.[37]

Иначе сложились обстоятельства у В. И. Вернадского: юбилейный год оказался годом крупнейшей в его жизни перемены. Начало работы Ломоносовской комиссии застало его еще московским профессором, только наездами бывавшим в Академии наук. Он принимал участие в университетской жизни, которая вступала тогда в самую темную свою полосу: министр народного просвещения Кассо вел подкоп под Московский университет. Разгром Университета произошел, как известно, в 1911 г. В. И. Вернадский вместе со всеми лучшими представителями передовой профессуры подал в отставку в знак протеста против правительственных бесчинств и покинул Москву.

По всем вышеуказанным причинам, прямо или косвенно связанным, как мы видим, с политическими условиями времени, юбилей 1911 г. не мог дать и не дал того большого, что сулила программа Б. Б. Голицына и В. И. Вернадского. Но тем сравнительно небольшим, что было все-таки сделано тогда для изучения Ломоносова, мы обязаны прежде всего авторам этой программы, их почину и их энергии, как ни кратковременно было их руководящее участие в Юбилейной комиссии. В ряду исполнителей того, что они наметили, первое место принадлежит В. И. Вернадскому же, второе — Б. Н. Меншуткину.

Что же было выполнено из состава их программы и что осталось невыполненным?

Самого главного не сделали: VI и VII тома Сухомлиновского издания не вышли к юбилею.[38] Б. Н. Меншуткин, вспоминая почти четверть века спустя историю их печатания, объяснял неудачу 1911 г. главным образом тем, что не поспели будто бы к сроку оттиски зарисовок северных сияний.[39] Это неверно: они

[37] К этим именно годам относятся исследования Б. Б. Голицына по вопросу о колебании зданий, его работа над новым типом сейсмографа, его курсы лекций по сейсмометрии и акустике и статьи о постановке воздухоплавания в нашей стране. Одновременно он чрезвычайно активно участвовал в деятельности Международной сейсмической ассоциации, которая в 1911 г. избрала его своим председателем.

[38] Сообщение Г. М. Князева в Ломоносовской комиссии. (Архив АН СССР, ф. 57, оп. 1, № 2, лл. 260—261).

[39] Печатание их было поручено Главному гидрографическому управлению и было технически затруднено тем, что производилось с медных досок, гравированных еще при жизни Ломоносова. Эти доски принадлежат теперь Ломоносовскому музею и введены в его экспозицию.

были отпечатаны вовремя.[40] Дело было вовсе не в них и не в медлительности Академической типографии, а в нерасторопности редакторов издания: в конце мая 1911 г., т. е. за пять месяцев до юбилейной даты, когда основной текст обоих томов был уже целиком напечатан, редакторские примечания к нему еще не были сданы в набор.[41]

Вместо намеченного по плану дешевого издания наиболее капитальных естественнонаучных работ Ломоносова Академией наук был выпущен сборник под заглавием «Труды Ломоносова в области естественно-исторических наук». Из четырех участников этого издания один В. И. Вернадский оказался верен начальному замыслу (ему же, должно быть, и принадлежавшему): он напечатал в сборнике особо ценимую им работу Ломоносова «О слоях земных», снабдив ее кратким введением, где подвел отчетливый и внушительный итог заслугам Ломоносова как минералога. «Ломоносов, — подчеркивал при этом В. И. Вернадский,— правильно ввел в научную работу тот метод понимания природных процессов и их изучения, который ... вошел в науку ... в XIX столетии: метод единства геологического процесса, накапливания во времени явлений, ныне совершающихся в земной коре».[42]

Попытка Б. Н. Меншуткина последовать примеру В. И. Вернадского свелась к помещению в сборник выдержек из тех физико-химических работ Ломоносова,[43] которые были полностью опубликованы им же, Б. Н. Меншуткиным, семь лет назад, в 1904 г. Что же касается других двух участников сборника — Ю. М. Шокальского и Н. А. Иосса, то они, вопреки заданию Комиссии, дали вместо публикаций свои собственные статьи реферативного характера: первый о «Кратком описании путешествий по Северным морям»,[44] второй — о «Первых основаниях металлургии».[45]

Ни предусмотренных планом материалов для биографии Ломоносова, ни его писем, ни проектированной С. Ф. Ольденбургом хронологической канвы не только не выпустили, но даже и попыток не сделали приступить к их подготовке. Этот пробел был, правда, компенсирован тем, что к юбилею вышло жизнеописание

---

[40] Они были готовы к 1 февраля 1911 г. (Архив АН СССР, ф. 57, оп. 1, № 2, л. 2).

[41] Там же, л. 94.

[42] Труды Ломоносова в области естественно-исторических наук. 1711—1911. СПб., 1911, стр. 147.

[43] Там же, стр. 1—103.

[44] Там же, стр. 105—126.

[45] Там же, стр. 127—140.

Ломоносова, написанное Б. Н. Меншуткиным.[46] Его книга, для своего времени необыкновенно ценная, остается и по сей день лучшей научной биографией Ломоносова, хотя многие из содержащихся в ней фактических данных нуждаются теперь в некотором исправлении.[47]

Идея инициаторов академического сборника, не получив со стороны представителей высшей школы прямого отклика, оказала на них все же, по-видимому, некоторое косвенное воздействие: три университета — Московский, Варшавский и новорожденный Саратовский в связи с юбилеем 1911 г., издали свои ломоносовские сборники, которые уделяют естественнонаучной деятельности Ломоносова гораздо больше места, чем предшествовавшие юбилейные сборники подобного рода.[48] Они дали случай таким крупным ученым, как А. П. Павлов и В. П. Амалицкий, сказать свое веское слово о Ломоносове-геологе.

Из всех юбилейных предприятий 1911 г. лучше всего удались справочники, посвященные библиографии сочинений Ломоносова и о Ломоносове.[49] Несмотря на некоторые неизбежные в таких изданиях недочеты, они остаются и до сих пор полезнейшими пособиями. Однако к сроку они не поспели: один был выпущен в свет спустя четыре года, другой — спустя семь лет после юбилея, что значительно их обесценило. К моменту выхода из печати обе книги уже поустарели.

Не оправдал себя объявленный Академией наук конкурс на лучшее сочинение о Ломоносове. Представленные в 1912 г. на соискание премий сочинения были признаны Комиссией[50] не

---

[46] Б. Н. Меншуткин. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. СПб., 1911.

[47] В советские годы вышло третье издание упомянутой книги с дополнениями П. Н. Беркова, С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского (М.—Л., 1947).

[48] Празднование двухсотлетней годовщины рождения М. В. Ломоносова Московским университетом. М., 1912, И. В. Посадский. Памяти Ломоносова. Чествование памяти М. В. Ломоносова в Варшавском учебном округе 8 ноября 1911 г. Варшава, 1912. Кроме Варшавского университета, в сборнике приняли участие Варшавский политехнический институт, Варшавские высшие женские курсы и несколько местных ученых обществ. См. также: Ломоносовский день в Николаевском университете. Саратов, 1911.

[49] А. Г. Фомин, К. Дукмейер, Г. Эллис, А. Мартен и А. Иенсен. Материалы по библиографии о Ломоносове на русском, немецком, французском, итальянском и шведском языках. Пб., 1915; Г. З. Кунцевич. Библиография изданий сочинений М. В. Ломоносова на русском языке. Пб., 1918.

[50] Комиссия состояла из непременного секретаря и академиков И. И. Янжула, Ф. Н. Чернышева, А. С. Лаппо-Данилевского, В. И. Ламанского и В. М. Истрина. (Протоколы Общего собрания Академии наук от 14 января 1912 г., § 20 и от 3 ноября 1912 г., § 190; там же перечень представленных сочинений).

удовлетворяющими условиям, поставленным в правилах о премиях, и присуждение премий было отложено до 1914 г. К этому времени юбилейное настроение рассеялось без следа и 8 января 1914 г. непременный секретарь доложил Физико-математическому отделению Академии наук, что к назначенному сроку на соискание премий по Физико-математическому отделению не поступило ни одного сочинения.[51] По Отделению русского языка и словесности было представлено два труда: директора Уфимской частной мужской гимназии И. М. Белоруссова — «Словарь Ломоносовского языка» и рукопись труда Г. З. Кунцевича — «Библиография сочинений М. В. Ломоносова». Обе работы были премированы, первая суммой в 1000 руб., вторая — 500 руб.[52]

Так же печально сложилось дело и с проектом Ломоносовского института. Б. Б. Голицын и В. И. Вернадский не отступились от этого многообещавшего предприятия и после своего отхода от юбилейных дел. В развернувшейся по вопросу об Институте газетной полемике они одержали верх над представителями реакционной профессуры, которые пытались перелицевать проект на свой лад. Им удалось ценой настойчивых усилий добиться утверждения своего проекта и в законодательном порядке. Им посчастливилось после долгих поисков найти прекрасное место для постройки Института. Они спроектировали и самое институтское здание. Однако, невзирая на весь энтузиазм его авторов, проект был заморожен и к постройке Института так и не приступили.

Ломоносовский юбилей 1911 г. — наглядный пример характерного для того реакционного времени затаптывания здоровых побегов научной инициативы. И тем не менее он имеет чрезвычайно важное значение в истории изучения научной деятельности Ломоносова.

---

[51] Протоколы заседаний Физико-математического отделения от 3 января 1914 г., § 668.

[52] Отзыв о первой работе дан Д. К. Зелениным, о второй — академиком В. Н. Перетцем.

ПИСЬМО ЛОМОНОСОВА К ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ШУВАЛОВУ 1750 г.

(ПЕРЕВОД НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК АННЕМАРИ РАУ) [1]

Die schöne Sommerzeit nimmt Abschied nun mit Glänzen,
Reichtum und Schönheit schenkt in Fülle sie der Welt.
Die Hoffnung lohnt das Volk jetzt mit der Freude Kränzen;
Für alle die Natur ein reiches Festmahl hält.
Die reifen Früchte schwer der Bäume Zweige drücken,
Den Sonnenstrahlen hell ihr Rot entgegenlacht.
Es lockt ihr Reiz die Hand, sie eilends abzupflücken;
Daβ unsre Hand sie brach, die Frucht noch süβer macht.
Die Schönheit ringsumher sowie auch die Genüge
Läβt es nicht zu, daβ nur der Felder Herr allein
An ihrem nützlichen Cepränge sich vergnüge,
Ihr Reiz lädt zum Besuch selbst Göttinnen dort ein.
Von Gold und Silbers Glanz, aus der Paläste Mitte
Elisabeth hinaus es auf die Felder zieht;
So, liebenswerter Freund, folgst Du nun ihrem Schritte
Dorthin, wo Ceylons Pracht im Norden ihr erblüht,
Wo Kunst und Meisterschaft, die die Natur bezwingen,
Den Herbst begaben mit des Frühlings zartem Strahl
Und hoch das Wasser in die Lüfte lassen springen,
Ob erdwärts Schwere auch und Flieβkraft es befahl.
So viel Vergnügungen und Freuden Dich zerstreuen,
Dies Deine Blicke doch nicht vom Parnasse zieht.
Wie sehr die Lorbeern Dich der Musen Ruβlands freuen,
Man aus der Liebe, die Du für sie hegst, ersieht.
Wenn an den Orten, wo Annehmlichkeit regieret,
Du auf die Felder schaust und schaust die Früchte an,

---

[1] Переводчица данного стихотворения Аннемари Рау (Иена, ГДР) уже известна советским литературоведам своим хорошим, точным переводом «Письма о пользе стекла», помещенным в «Wissenschaftliche Zeitschrift» Иенского университета (1958/59, Ges. — u. Sprachwiss. Reihe, № 1). Ее перу принадлежат переводы из Пушкина, Державина, Тютчева и других поэтов XVIII—первой половины XIX в., пока еще не опубликованные. Было бы очень желательно увидеть в печати хотя бы небольшой сборник переводов талантливой поэтессы.

Dann denke, daß mein Geist die Ruhe nie verspüret,
Und denke meiner Müh und meiner Arbeit dann.
Beim Feuer muß ich in den Wänden mich verschließen;
Mein Trost kann nur, daß ich vom Sommer schreibe, sein;
Vom Sommer schreibe ich und kann ihn nicht genießen,
Und nur ein Traumbild schließt all meine Freuden ein.
Jedoch der Sommer mit dem Frühling mich beglücket,
Und ihre Schönheit selbst im Winter mich belebt,
Wenn Deine Freundlichkeit mir meinen Geist entzücket,
Die zum Parnasse zu erheben ich bestrebt.

Я. М. БОРОВСКИЙ

IN MICHAELIS LOMONOSOVI DIEM NATALEM DUCENTESIMUM QUINQUAGESIMUM

Quinquaginta annis annos cumulasse ducentos
Te, decus o nostrum, canimus. Si condere laudem,
Si modo te dignam possemus menteque celsa!
Totum namque tuo complexus pectore mundum
Quaecumque ima latent oculis incognita nostris
Protraxti lucem in claram ratione sagaci
Ipse tuum multo praecurrens tempore tempus.
Monstrasti faceret quid saepe liquescere corpus
Et rursum e liquido solidi vim colligere omnem,
Cur aer levis abstrusis inferne fodinis
Manaret magno ceu concita flumina tractu,
Atque cometarum caudae quidnam sibi vellent.
Notitiem vani dimittens iure phlogisti
Certam vidisti calidi causam esse vaporis
Quod varie celeri motu corpuscula parva
Versentur quibus e constet quod nascitur omne:
Haec vario sensus ita nostros afficere ictu
Vt praestent nobis discernere frigida caldis.
Idem tu stellam Veneris, dum proxima Terrae
Inter eam ac Solem recta se congrua confert
Sedula circumiens Solem interiore meatu,
Hanc, inquam, observans multum trahere aera secum
Et spissam nubem obscuret quae debile filum
Prudens ante alios fidenter colligis unus.
Nec satis est tibi naturae scrutare profunda
Qua generosa sitis noscendi ducat eunti,
Sed mage vitalem converti cognita ad usum,
Artibus ingenuis homines ditescere cordi est.
Inde amor ille tuus musivae prodiit artis
Cuius tot formas, tot clara creata videmus.
Quorum operum insigne est exemplum nobilis illa,
Vrbis honor nostrae, pugnae ferventis imago,
Vrget ubi medios hostes iam Conditor ipse,
Vincere iam properat, iam magnam vindicat urbem,

Imperii sedemque novam et tutamen adauctum.
Idem carminibus reseras insueta viarum
Commodiore sono mulcens aures animosque
Suavibus et numeris formosa poemata vestis.
Splendor inest ibi versicolor caeli borealis
Quem populi perhibent hiberno sole carentes,
Flammantesque per astra furunt immensa procellae,
Atque infiniti quot sunt miracula mundi
Versibus ornatis pariter splendentibus edis.
Denique sermonis patrii cognoscere leges,
Iustam dicendo scribendoque indere normam,
Quod tamen haud pauci certant agitantque priores,
Nulli continget quam tu praeiveris ante.
Terque quaterque igitur meritam nunc sume coronam
Quam tibi sancta offert patriae reverentia gratae,
Inter et insignes laurus oleamque nitentem
Flores, en, nostros ne dedignare modestos.

Я. М. БОРОВСКИЙ

К ДВУХСОТПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА

(ПЕРЕВОД П. Н. БЕРКОВА)

Двести промчавшихся лет и еще пятьдесят, к ним примкнувших,
Славлю, о наша краса! О если бы сил мне достало,
Если бы мог я найти, чтоб хвалить тебя, должные речи!
Ибо могучим умом весь мир необъятный ты обнял,
Все, что непознанным здесь от нашего взора скрывалось,
Острою мыслью познав, осветил ты и сделал понятным,
Век тот, в котором ты жил, на много веков обогнавши.
Ты нам сумел объяснить законы, по коим в растворы
Твердое тело порой переходит, порою обратно;
Также и то, почему с неистовой силою воздух
Из рудников глубины поднимается в вечном движеньи;
Что представляют собой хвосты у комет быстролетных,
И, справедливо изгнав флогистон, ни к чему не потребный,
Верную ты теплоты причину найти догадался
В быстром и разном всегда вращенье мельчайших частичек,
Из каковых состоит все то, что рождается в мире:
Разною их быстротой и движеньем подвигнуты, чувства

Холод от жара во всем легко и всегда отличают.
Также Венеры звезду, в то время, когда между Солнцем
И меж Землею она — Земле ближайшая в небе —
Неутомимый свой бег свершала и зрилась на Солнце,
Эту звезду, говорю, наблюдая внимательным оком,
Ранее всех остальных над нею пары водяные
Ты увидав, заключил, что есть вкруг нее атмосфера.
Мало, однако, тебе, что проникнул ты в тайны природы
Жаждой познания к ним благородною вечно влекомый:
Большего ты пожелал — обратить на потребу живущим,
Все, что сумел ты познать, чтобы жизнь облегчилась наукой.
Вот откуда твоя любовь к мозаичному делу,
Столько ты в коем творил и оставил созданий преславных.
Высший из всех образцов трудов твоих в этом искусстве,
Города нашего честь, — картина жарчайшего боя.
Видим: вот гонит врагов, окружен их толпой, Основатель,
Вот помогает разить, вот спасает свой город великий,
Царства могучий оплот, империи новой столицу.
Также ты русским стихам путь открыл, им неведомый прежде,
Слух и людские сердца лаская гармонией звуков,
В сладкий размер ты облек стихов своих дивные строки:
В них переливчатый свет, что лишенные зимнего солнца,
Северным люди зовут сияньем, описан тобою,
Также пылание бурь на далеких, огромных светилах;
Сколько великих чудес таит беспредельность вселенной,
Ты рассказал нам в стихах, сколь украшенных, столь
и блестящих.
И, наконец, языка ты родного постигнул законы,
Как говорить и писать, нам пример показал совершенный;
Хоть не один и не раз до тебя это сделать пытался,
Только на долю твою быть первым и в этом досталось.
Так возложи на себя венок, столь тобой заслуженный
И благодарной твоей отчизной тебе подносимый!
Но средь лавровых листов, средь лоснящихся веток оливы
Взор благосклонный простри на цветы эти скромные наши.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО М. В. ЛОМОНОСОВА

Утверждено к печати

Институтом русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР

Редактор издательства *Н. П. Рычкова*. Художник *С. Н. Тарасов*

Техн. редактор *В. Т. Бочевер*. Корректоры *К. И. Видре* и *Л. Я. Комм*

Сдано в набор 27/XII 1961 г. Подписано к печати 23/III 1962 г. РИСО АН СССР № 90—110В. Формат бумаги 60×90 1/16. Бум. л. 10. Печ. л. 20=20 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 21,13— Изд. № 1604. Тип. зак. № 461. М-37163. Тираж 2700. *Цена 1 р. 42 к.*

Ленингр. отд. Издат. Акад. наук СССР, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издат. Акад. наук СССР, Ленинград, В-34, 9 лин., д. 12

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА» ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Бунин М. С. Мозаика М. В. Ломоносова «Полтавская баталия» 1961. 95 стр. Цена 37 к.

Вавилов С. И. Михаил Васильевич Ломоносов. Сборник статей и речей. 1961. 148 стр. Цена 52 к.

Глинка М. Е. Михаил Васильевич Ломоносов. Опыт иконографии. 1961. 131 стр. Цена 82 к.

Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. 1961. 488 стр. Цена 1 р. 39 к.

Кузнецов Б. Г. Творческий путь Ломоносова. 1961. 376 стр. Цена 1 р. 28 к.

Ломоносов

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В десяти томах

Том. 2. Труды по физике и химии (1747—1752). 1951. 726 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 3. Труды по физике (1753—1765). 1952. 604 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 4. Труды по физике, астрономии и приборостроению. 1955. 830 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу. 1954. 746 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 6. Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. 1954. 689 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 7. Труды по филологии. 1952. 926 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 8. Поэзия. Ораторская проза. Надписи. 1959. 1280 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 9. Служебные документы. 1955. 1018 стр. Цена 2 р. 50 к.

Том 10. Служебные документы. Письма. 1957. 934 стр. Цена 2 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА» ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Макеева В. Н. **История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова.** 1961. 173 стр. Цена 1 р. 08 к.

Морозов А. А. **М. В. Ломоносов. Путь к зрелости.** Научно-биографическая серия. 1962. 486 стр. Цена 2 р. 89 к.

Радовский М. И. **Михаил Васильевич Ломоносов и Петербургская Академия наук.** 1961. 336 стр. Цена 1 р. 56 к.

Соловьев Ю. И., Ушакова Н. Н. **Отражение естественно-научных трудов М. В. Ломоносова в русской литературе XVIII и XIX веков.** 1961. 95 стр. Цена 34 к.

Ченакал В. Л. и др. **Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова.** 1961. 436 стр. Цена 2 р. 30 к.

Заказы на книги просим направлять по следующим адресам:

Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10 *отдел «Книга—почтой»*
Москва, ул. Горького, 6. *Магазин № 1*
Москва, 1-й Академический проезд, 55/5. *Магазин № 2*
Ленинград, Д-120. Литейный пр., 57
Свердловск, ул. Белинского 71-в
Киев, ул. Ленина, 42
Харьков, Горяиновский пер., 4/6
Алма-Ата, ул. Фурманова, 129
Баку, ул. Джапаридзе, 13
Ташкент, ул. Карла Маркса, 29

При получении заказа книги будут направлены в Ваш адрес наложенным платежом. Пересылка за счет заказчика.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
71	4 снизу	Слова	Слово
95	16 сверху	к этой	в этой
113	20 »	задого	задолго
114	26 снизу	а ограда	а не ограда
123	11 сверху	описательской	описательной
126	13 »	Дрожайший	Дражайший
142	15 снизу	рассуждениях	рассуждения
160	21 »	С Бальтийской	С Балтийских
192	16 »	не считал	считал
203	7 сверху	считаю	читаю
207	7 снизу	облащись	облещись
244	8—9 сверху	содержащавшего	содержавшего

Литературное творчество М. В. Ломоносова